

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1980

11



1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1980 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — И дольше века длится день, роман	3
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СОНАТА — Юрий Окулев, Светлана Сомова, Юрий Сорокин, Михаил Шлаин, Инна Клемент. Стихи	186
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ КУРТ БАХМАН. Окончание. Перевел с немецкого А. Грищенко	191
ПУБЛИЦИСТИКА	
МИХАИЛ САДОВЯНУ — О всемирном значении классической русской и советской литературы. Перевел с румынского М. Розенфельд	220
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>К 100-летию со дня рождения Александра Блока</i>	
ИМАНТ ЗИЕДОНИС — Путь поэта	224
ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ — Вечный юноша	226
И. РОДНЯНСКАЯ — Муза Александра Блока	230
Н. В. ЛОЩИНСКАЯ — Блок и его родные. Последние годы. По архив- ным материалам	246
«...СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ ЕСТЬ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СТИ- ХИЯ». Александр Блок в переписке с деятелями русской культуры	256
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ

Роман

О Т А В Т О Р А

Общезвестно: трудолюбие — одно из неизменных мерил достоинства человека.

В этом смысле Едигей Жангельдин, Буранный Едигей, так еще называют его знающие люди, поистине настоящий труженик. Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он связан со своей эпохой, насколько я могу полагать, накрепчайшим образом и в том его сущность — он сын своего времени.

Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу — фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере. Образ Буранного Едигея — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.

Однако я далек от абсолютизации самого понятия «труженик» лишь потому, что он «простой, натуральный человек», усердно пашет землю или пасет скот. В столкновении вечного и текущего в жизни человек-труженик интересен и важен настолько, насколько он личность, насколько велика его духовная нагрузка, насколько сконцентрировано в нем его время. Вот я и пытался поставить Буранного Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем.

Буранный Едигей не только труженик от природы и по роду занятий. Он человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо, и живут, только потребляя.

Людей же трудолюбивой души будто соединяет некое братство — они всегда способны отличить один другого и понять, а если не понять, то задуматься. Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакое не давало никогда. Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос.

Должно быть, самое трагическое противоречие конца XX века заключается в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом.

В условиях сегодняшнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека.

Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет.

Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера взаимного недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества.

Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем.

Достаточно припомнить «культурную революцию» в Китае, манипуляцию сознанием народа, низведшую диалектику многосложности жизни до уровня нескольких цитат из так называемых красных книжечек Мао, судьбу народа, обладающего древнейшей традицией, на фоне сегодняшней гегемонистской политики китайского руководства, чтобы убедиться в сопряженности этих явлений. Как ни парадоксально это может показаться, но сопрягаются и другие вещи: отрицание — или фальсификация — прошлого и самодовольный, чванный шовинизм, которому необходимо возводить вокруг себя китайскую стену, ибо только за ней может поддерживаться миф о превосходстве одного народа над всеми другими.

Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями. И вместе с тем впервые в своей писательской практике прибегаю к использованию фантастического сюжета. И то и другое для меня не самоцель, а лишь метод мышления, один из способов познания и интерпретации действительности.

Разумеется, события, связанные с описаниями контактов с внеземной цивилизацией, и все то, что происходит по этой причине, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Нигде на свете не существуют в действительности сарозекские и невадские космодромы. Вся «космологическая» история вымышлена мной с одной лишь целью — заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на земле.

Страшный парадокс этого мира: в древней Греции прекращались войны на время Олимпийских игр, а сегодня Олимпиада стала для некоторых стран поводом для «холодной войны».

Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал: «Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему». Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический ли реализм Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика — при всей их разности все они убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав «правила игры», показывает их философски обобщенно, до предела стараясь раскрыть потенциал развития выбранных его черт.

Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями — экономическими, политическими, идеологическими, расовыми.

Вот я и хочу, чтобы сарозекские метафоры моего романа напомнили еще раз трудящемуся человеку о его ответственности за судьбу нашей земли...

И книга эта — вместо моего тела,
И слово это — вместо души моей...

Григор Нарекаци, «Книга скорби», X век.

I

Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам. Выслеживая запутанные до головокращения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, к той темнеющей равнопротяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжело содрогая землю окрест, проносились громыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.

К вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля и, свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных, густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.

Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту чудовищную силу землепроминающей тяжестиловесности и яростности движения составов и все-таки, преодолевая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.

Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях...

В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то невнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежащий. То была игра воздушных течений, то было к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывал в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затавкать от смутного предощущения некой общей беды. Но голод заглушал даже этот предупредительный сигнал природы.

Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.

В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени. По ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скучная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезла — кто куда, кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира...

С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Выждала, вслу-

шиваясь, и потрусилась к железнодорожной насыпи, бесшумно перебежая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль откосов, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткнулась на что-то маломальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок — разило дурманом. После того как два раза закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.

А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встречалось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лисица неумолимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.

Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чахом свете высокой мглистой луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лисица нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с пути. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чувала — вот-вот налетит на находку, хотя неотвратно надвигались издали всевозрастающим грозным приступом железный лязг и перестук сотен колес. Лисица замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных пугом локомотивов, когда мощные прожекторы, осветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.

Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и пронеслось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног...

Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженный состав.

Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом, с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробиваясь, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под

скоростного товарняка (то следовал зеленой улицей литерный состав — поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:

— Ты чего?

Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял — он так и думал.

— Пошли сюда от ветра. — Он повел ее в будку.

Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло к старости, но в этот раз оттого, как задышалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в маленькой, начисто выбеленной железнодорожной будке вдруг резко обнаружил никогда уже не обратимые морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня», — пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала — только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом.

— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они вошли в будку.

— И ты садись, — сказала она мужу.

Они сели.

— Что случилось?

— Казангап умер.

— Когда?

— Да вот только что заглянула — как он там, думаю, может, чего требует. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже. — Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневших и истончившихся веках, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. — Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер — некому, оказалось, глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог подумать! Так и помер человек... — Она собиралась сказать — как собака на дороге, но промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.

Слушая жену, Буранный Едигей, так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вер-

нулся с войны, сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?

— Что будем делать теперь? — промолвила жена.

Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.

— Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хоронить будем.— Он привстал с места, как человек, уже принявший решение.— Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А сейчас слушай меня.

— Слушаю.

— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, не важно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь и никакую собаку ни за какие деньги не затащить было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его — волос не хватит на голове... Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай...

— Слушаю.

— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу — восемь домов, по пальцам перечесть... Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.

— А если ругаться начнут?

— Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой!

— Что еще?

— Забегу вначале к дежурному, сегодня Шаймерден сидит диспетчером, передай ему что и как и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!

— Скажу, скажу,— отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею.— А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер...

Едигей нахмурился отчужденно при этих словах, еще больше посуровел. Не отозвался.

— Какие ни есть, но дети есть дети,— продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.

— Да знаю,— махнул он рукой.— Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя будь моя воля, я бы их близко не допустил!

— Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься...

— А я что, мешаю? Пусть едут.

— А как сын не поспеет из города?

— Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять что к чему...

— Ну, если так, то еще ладно,— неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила: — Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь...

— Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.

— Да, так-то оно, конечно,— все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.

И они замолчали.

— Ну, ты не задерживайся, иди,— напомнил было Едигей.

Жена, однако, имела еще что сказать:

— А дочь-то его — Айзада горемычная — на станции с мужем своим, забудьгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.

Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.

— Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого... До Айзеды тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно — и от Айзеды и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается... Иди и делай, как я сказал.

Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:

— Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, я потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме и рядом никого, как можно... Так и скажи...

И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор — к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии Укубалу, точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не упомнишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.

«Стало быть, старость уже на плечах сидит, — подумалось ему. — Вот и дожили — старик и старуха!» И хотя здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый — шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», — сказал Едигей себе не без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях на его место — обходчика путей и ремонтного рабочего, стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболел или уходил в отпуск. Разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность? Но вряд ли. Поди таких сыщи среди нынешней молодежи.

Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы... И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Тот все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо — не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется — трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются — господи, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится — и делу тамам¹: рассчитывается и уезжает куда подальше...

На Боранлы-Буранном только двое укоренились тут на всю

¹ Тамам — конец.

жизнь — Казангап и он, Буранный Едигей. А сколько перебивало других между тем! О себе трудно судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь сорок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа... Нет теперь его, нет Казангапа...

Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг — звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загулял по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами.

Едигей не уходил в будку. Задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности, пережидали ночь. И среди них различил Едигей своего двугорбого, крупноголового нара — самого сильного, пожалуй, в сарозеках и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, Буранным Каранаром. Едигей гордился им, редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому как Каранар оставался атаном — в молодости Едигей его не кастрировал, а потом не стал трогать.

Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара домой, поставить под седло вище. Пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы...

А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примостившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами, их было шесть сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа, да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочей надобности, в центре ветровая и она же универсальная электронасосная и при случае ручная водочка, появившаяся здесь в последние годы, — вот и весь поселок Боранлы-Буранный.

Весь как есть при великой железной дороге, при великой Сары-Озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов... Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут сарозекские вьюги, заваливая дома по окнам сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея... Потому и назывался этот степной разъезд Боранлы-Буранный, и надпись висит двойная: Боранлы — по-казахски, Буранный — по-русски...

Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители — и пуляющие снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми ножами, и прочие, — пришлось им с Казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах — какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело — на одну атаку, на один бросок гранаты под танк... Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх, это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной крутовертью и что ради этого можно не задумываясь отдать к чертям эту жизнь, только бы не слышать, как режут в степи паровозы — им дороге давай!

Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли... Никому и дела нет теперь до того. Было — не было. Теперешние путей-

цы прибывают сюда наездами, шумливые типы — контрольно-ремонтные бригады, так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы — и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! А среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо было — такие муки брать на себя, зачем было гробить себя, с какой стати! Нам бы такое — ни за что! Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы — и на другое место, на худой конец, на стройку-матку двинулись бы или еще куда, где все как положено. Столько-то отработали — столько-то плати. А если аврал — собирай народ, гони сверхурочные... «На дурняка выезжали на вас, старики, дураками и помрете!..»

Когда встречались такие «переоценщики», Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное, а Едигей — тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил.

А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье-бытье насколько хватало разума и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней — с сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось: уехал в город к сыну на жительство и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить... И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать...

Едигей поспешил в будку, услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало, зашипело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался.

— Едике, алло, Едике,— просипел Шаймерден, дежурный по разъезду,— ты слышишь меня? Отзовись!

— Я слушаю! Слышу!

— Ты слышишь?

— Слышу, слышу!

— Как слышишь?

— Как с того света!

— Почему как с того света?

— Да так!

— А-а... Стало быть, старик Казангап того самого!

— Чего того самого?

— Ну, умер, значит.— Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова.— Ну как сказать? Стало быть, завершил, того самого, ну, это самое, свой путь.

— Да,— коротко ответил Едигей.

«Вот хайван² безмозглый,— подумал он,— о смерти даже не может сказать по-людски».

Шаймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел:

— Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь... У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник, того самого, от этого не подымется, как я думаю...

— А я думаю, понятия у тебя никакого нет! — возмутился Едигей.— Что значит голову не морочь! Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек

² Хайван — скотина.

умер, нельзя, не положено ни у кого оставлять покойника одного в пустом доме.

— А откуда ему знать, того самого, один он или не один?

— Зато мы знаем!

— Ну ладно, не шуми, того самого, не шуми, старик!

— Я тебе объясню.

— Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать, все равно ночь кругом.

— Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду приносить.

— Молиться? Ты, Буранный Едигей?

— Да, я. Я знаю молитвы.

— Вот те раз — шестьдесят лет, того самого, советской власти.

— Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!

— Ну ладно, молись, того самого, только не шуми. Пошлю за Эдильбаем, если согласится, то придет, того самого, заступит вместо тебя... А сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную...

И на том Шаймерден отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинец на ноги.

Тем временем сто семнадцатый встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав — одни цистерны. Они разминулись, один — на восток, другой — на запад...

Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над сарозеками чуть ярче, наполняясь некой добавочной, постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись сарозеки, только контуры верблюдов — и среди них двугорбый великан Буранный Каранар — да смутные очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шурился вокруг сором.

Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убежать.

— Ты чего тут! — пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лисица не испугалась. — Ты смотри! Я тебя! — И притопнул ногой.

Лисица отскочила подальше и села, оборотившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла? Станным показалось Едигею ее поведение. А почему не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки прорисится. Едигей нашарил на земле камень покрупней. Примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову! Чужь какая-то? Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Сабитжан рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ.

Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть

с первого раза — вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты говорить мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что ж делать, какой есть.

Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что каждый человек когда-то, еще до своего рождения, побывал до этого птицей, или зверем каким-нибудь, или насекомым. Поэтому у них грех убить любую животину, пусть даже змея, кобра, встретится на пути, не тронет, а лишь поклонится и уступит дорогу.

Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису: а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лису, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак! — укорял он себя, пристыживая. — И как может такое придуматься? Тьфу ты! Оглупел вконец!»

И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь:

— Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда — там собаки. Ступай с богом, иди себе в степь.

Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме.

Между тем на разъезд снова входил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения — летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист:

— Эй, Едиге, Буранный, ассалам-aleyкум!

— Алеким-ассалам!

Едигей задрал голову, чтобы лучше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более на Кумбеле пересмена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет.

Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано.

Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава. Едигей взгляделся, то был Эдильбай.

Пока Едигей сдал смену, пока они с Длинным Эдильбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Боранлы-Буранный вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим да зятьям как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне — под Кызыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в

тот же совхоз, муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери родились при нем на Боранлы-Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине, старшая сзади — и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал Каранар от Боранлы-Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют... Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа...

Потом он шел и думал о том, что утром перво-наперво надо пригнать с выпаса своего Каранара, очень он нужен будет. Умереть не просто, а похоронить человека чѣсть по чести в этом мире тоже нелегко... Обнаруживается всегда, что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок.

Именно в тот момент в воздухе что-то колыхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стороне, где располагался, насколько ему было известно, Сарозекский космодром, что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел — в космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозекцы, о существовании космодрома Сары-Озек-1, то было отсюда километрах в сорока или чуть поменьше, знал, что туда заброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Тогрек-Там, и рассказывали даже, что в той стороне в степи возник большой город с большими магазинами, слышал бесконечно по радио, в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах. Все это происходило где-то поблизости, во всяком случае на концерте самодеятельности в областном городе, где жил Сабитжан, а город этот находился куда дальше — около полутора суток езды поездом, — детишки хором пели песенку о том, что они самые счастливые дети на свете, потому что дяди космонавты уходят в космос с их земли; но поскольку все, что окружало космодром, считалось закрытой зоной, то Едигей, живя не так далеко от этих мест, довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И вот впервые наблюдал воочию, как стремительно вздымалась в бушующем напряженном пламени, озаряя округу трепещущими сполохами света, космическая ракета в темную, звездную высь. Едигею стало не по себе — неужто в том огнище сидит человек? Один или двое? И почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не видел момента взлета, ведь сколько раз уже летели в космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы корабли улетали днем. При солнечном свете с такого расстояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рванулся ночью? Значит, к спеху или так положено? А возможно, он поднимается от земли ночью, а там сразу попадает в день? Сабитжан как-то рассказывал, словно бы сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабитжана. Сабитжан все знает. Очень уж хочется ему быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в областном городе работает. Ну не прикидывался бы. К чему? Кто ты есть, тем и будь. «Я с тем-то был, с большим человеком, я тому-то то-то сказал». А Длинный Эдильбай рассказывал — попал он к нему как-то раз на службу. Только и бегаёт, говорит, наш Сабитжан от телефонов к дверям кабинета в приемной, только успевает: «Слушаюсь, Альжапар Кахарманович! Есть, Альжапар Кахар-

манович! Сию минуту, Альжапар Кахарманович!» А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками погоняет. Так и не поговорили между собой толком... Вот такой он, говорит, оказался, наш землячок борандинский. Да бог с ним, какой уж есть... Жаль только Казангапа. Он ведь очень переживал за сына. До самых последних дней не говорил о нем ничего худого. Переехал даже было в город к сыну да снохе на житье, сами же его упросили, сами же увозили, а что получилось... Ну, это отдельный разговор...

С такими мыслями уходил Едигей той глубокой ночью, проводив космическую ракету до самого полного ее исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда огненный корабль, все сжимаясь и уменьшаясь, канул в черную бездну, превратившись в белую туманную точку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные, противоречивые чувства. Восхищаясь увиденным, он в то же время понимал, что для него это постороннее дело, вызывающее и удивление и страх. Вспомнилась при этом вдруг та лисица, которая прибежала к железной дороге. Каково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот смерч в небе. Не знала, наверно, куда себя девать...

Но сам-то он, Буранный Едигей, свидетель ночного взлета ракеты в космос, не подозревал, да и не полагалось ему знать, что то была экстренный, аварийный вылет космического корабля с космонавтом — без всяких торжеств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным происшествием на космической станции «Паритет», находившейся уже более полутора лет по совместной американско-советской программе на орбите, условно называемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо всем этом. Не подозревал он и о том, что это событие коснется и его, его жизни, и не просто по причине нерасторжимой связи человека и человечества в их всеобщем значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем более не знал он и не мог предполагать, что некоторое время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с Сары-Озека, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с космодрома американский корабль с той же задачей, на ту же станцию «Паритет», на ту же орбиту «Трамплин», только с обратным ходом обращения.

Корабли были срочно посланы в космос по команде, поступившей с научно-исследовательского авианосца «Конвенция», являвшегося плавучей базой Объединенного советско-американского центра управления программы «Демидург».

Авианосец «Конвенция» находился в районе своего постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объединенный центр управления — Обценупр — в это время напряженно следил за выходом обоих кораблей на орбиту «Трамплин». Пока все шло успешно. Предстояли маневры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была наисложнейшая, стыковка должна была происходить не последовательно, одна вслед за другой с необходимым интервалом очередности, а одновременно, совершенно синхронно с двух разных подходов к станции.

«Паритет» не реагировал на сигналы Обценупра с «Конвенции» уже свыше двенадцати часов, не реагировал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на стыковку... Предстояло выяснить, что произошло с экипажем «Паритета».

II

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

По сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

От разъезда Боранлы-Буранный до родового найманского кладбища Ана-Бейит было по меньшей мере километров тридцать в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться, случаем, в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от Кыйсыксайской пади на Ана-Бейит. Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем случае тридцать верст в один конец да столько же в другой. Но кроме самого Едигея, никто из нынешних боранлинцев толком и не знал, как туда добираться, хотя слышать слышали о том старинном Бейите, о котором рассказывали всякие истории, то ли были, то ли небылицы, но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Боранлы-Буранном, придорожном поселочке из восьми домов, когда умер человек и предстояли похороны. До этого несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа старушка Букей покоилась на станционном погосте в Кумбеле — умерла в тамошней больнице несколько лет назад, ну и решили тогда на станции и схоронить. Везти покойницу в Боранлы-Буранный не было смысла. А Кумбель — самая большая станция в Сары-Озеках, к тому же дочь Айзада проживает там да зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но тогда жив был Казангап, он сам решал, как ему поступить.

А теперь думали-гадали, как быть.

Едигей, однако, настоял на своем.

— Да бросьте вы неджигитские речи, — урезонил он молодых. — Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите, там, где предки лежат. Там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовится будем. Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше двинемся...

Все понимали — Едигей имел право принять решение. На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая: «Хорошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты приехал!» — точно бы его приезд мог воскресить Казангапа. И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе, у дверей осиротевшей мазанки казангаповской. Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабитжан вырос у него на глазах, мальчонкой был, любимцем отца был, возили его учиться в кумбельскую школу-интернат для детей железнодорожников, как выпадало свободное время, наезжали проведать — то попутным составом, то верхами на верблюдах. Как он там в общежитии, не обидел ли кто, не натворил ли дел каких недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителя... А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, везли верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы только не опоздал на занятия.

Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как сон. И вот

теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве — пучеглазый и улыбчивый, а теперь в очках, в расплющенной шляпе, при затрепанном галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным, большим работником, а жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники, как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей да знакомства или родства, а кто он — сын какого-то Казангапа с какого-то разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчастный-то! Но теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но теперь и такого нет...

А потом слезы унялись. Перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий не хоронить приехал отца, а лишь бы только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрее уехать. Стал он мысли такие высказывать — к чему, мол, тащиться в эдакую даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько просто-ра — безлюдная степь Сары-Озек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю: избавление от мертвого в закопании скором. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где быть зарытым, в деле таком чем быстрее, тем лучше.

Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе и времени в обрез, известное дело, начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство и город есть город...

Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места, сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только:

— Места-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких где попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому? — И замолчал, и его молча слушали боранлинцы. — Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела.

И пошел с потемневшим, неприязненным лицом подалее от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч — Буранным прозвали еще и потому, что характером был под стать тому. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабитжаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукуются, возмущаются — приехал, мол, сынок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достатке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора десятка — тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно, а потом и старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются...

Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрякивая, пригнанный им с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что раза два приходил Каранар с гуртом воды

напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей, и вот теперь выражал свое недовольство — свирепо разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая история — снова неволя, а к ней надо привыкать.

Едигей подошел к нему раздосадованный после разговора с Сабитжаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось — Сабитжан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрее отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлениях к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто готовили и уже начали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы — топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабитжан мешался тут, отвлекая от дел, разглагольствовал о том, о сем, кто на какой должности в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько не смущало. Чудно, ей-богу! У нее, видите ли, какая-то конференция, а на ней должны присутствовать какие-то зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат получить в лучшем виде для поступления в институт. «Что за люди пошли, что за народ! — негодовал в душе Едигей. — Для них все важно на свете, кроме смерти!» И это не давало ему покоя: «Если смерть для них ничто, то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл, для чего и как они живут там?»

Едигей в сердцах накричал на Каранара:

— Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо, как будто там тебя сам бог слышит? — Крокодилом обзывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях, когда уж совсем выходил из себя. Это приезжие путевцы придумали Буранному Каранару такую кличку за зубатую пасть его и злой норов. — Ты у меня докричишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!

Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился. Залюбовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До головы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту достаточного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, внушая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, верблюд все же подчинился воле хозяина, и когда наконец, сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и успокоился, Едигей начал работу.

Оседлать верблюда по-настоящему — это большая работа, все равно что дом построить. Седло сооружается каждый раз заново, сноровка должна быть, да и силы немалые, тем более если седлаешь такого громадного верблюда, как Каранар.

Каранаром, то есть Черным нармом, он прозывался неспроста. Черная патлатая голова с черной, росшей до загривка мощной бордой, шея понизу вся в черных космах, свисающих до колен густой дикой гривой — главное украшение самца, — пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни, на спине. И в завершение всего, черный кончик кучего хвоста. А все остальное — верх шеи, грудь, бока, ноги, живот, — наоборот, было светлое, светло-каштановой масти. Тем и пригож был Буранный Каранар, тем и славен — и статью и мастью. И сам он в ту пору находился в самой атановской зрелости — третий десяток шел Каранару от роду.

Верблюды долго живут. Оттого, наверно, детенышей рожают на пятом году и затем не каждый год, а лишь в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше всех среди животных — двенадцать

месяцев. Верблюжонка, самое главное, выходить в первые год-полтора, чтобы уберечь от простуды, от сквозняка степного, а потом он растет день ото дня, и тогда ничто ему не страшно — ни холод, ни жара, ни безводье...

Едигей знал толк в этом деле — содержал Буранного Каранара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы — черные горбы на нем торчали как чугунные. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок, в те годы первоначальные, когда вернулся Едигей с войны да обосновался на разъезде Боранлы-Буранном. А сам Едигей молодой был еще — куда там! Знать не знал, что пребудет здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился — сивым стал. Даже брови и те побелели. В лице, конечно, изменился. А телом не потяжелел, как бывает в таком возрасте. Как-то само по себе получилось — вначале усы отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без бороды, все равно, что голым ходить. Целая история минула, можно сказать, с тех пор.

Вот и сейчас, оседлывая Каранара, лежащего на земле, приструнивая его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет да и огрызался, рывкая, как лев, поворачивая черную патлатую голову на длинющей шее, Едигей между делом припоминал сегодня, что было да как было в те годы. И отходил душой...

Долго он возился, все укладывал, улаживал сбрую. В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Каранара лучшей выездной попоной, вещь старинной работы, с разноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Каранара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой Укубалой. Выпал теперь такой случай...

Когда Буранный Каранар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен. И даже возгордился своей работой. Каранар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабитжан, пусть поймут: похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестное событие и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играют музыку, выносят знамена, у других палат в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут...

А он, Буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на Каранаре, убранном попоной с кистями, путь на Ана-Бейит, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию... И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая великие и пустынные сарозеки. И с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного...

Пусть все знают, что быть посему, и для этой цели его Каранар готов — оседлан и обряжен сбруей.

Пусть все видят. Едигей повел Каранара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, Буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, Длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабитжана в сторону:

— Пошли-ка в тенок потолкуем.

Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не стал угаривать, высказался напрямик:

— Ты вот что, Сабитжан, возблагодари бога, что есть такой Буранный Едигей на свете, друг твоего отца. И не мешай нам похоронить человека как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли!

— Это мой отец, и я сам знаю...— начал было Сабитжан, но Эдильбай перебил его на полуслове:

— Отец-то твой, да только вот ты сам не свой.

— Ну ты скажешь,— пошел на попятную Сабитжан.— Ладно, давай не будем в такой день. Пусть будет Ана-Бейит, какая разница, просто я думал — далековато...

На том разговор их закончился. И когда Едигей, поставив Каранара всем напоказ, вернулся и сказал боранлинцам: «Да бросьте вы неджигитские речи. Хоронить такого человека будем на Ана-Бейите...» — то никто не возразил, все молча согласились...

Вечер и ночь того дня коротали все сообща, по-соседски, во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада сарозеков. Великая, сумеречная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чай пили у дымящих самоваров да разговоры всякие вели о том, о сем... Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Ана-Бейит. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается при кончине престарелого человека, что уж больно тужить...

А на разъезде Боранлы-Буранном, как всегда, приходили и уходили поезда — сходились с востока и запада и расходились на восток и запад...

Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на Ана-Бейит, и все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач. Особенно Укубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду: что ж, мол, теперь делать, за умершим вслед не умрешь, надо примириться с судьбой. Но Айзада не унималась.

Так оно бывает зачастую — смерть отца явилась для нее поводом выплакаться, излить принародно душу, все то, что давно не находило открытого выхода в слове. Плача в голос, обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по-бабьи на свою несладкую судьбину, что некому ее ни понять, ни приветить, что не удалась ее жизнь с молодых лет, муж — пропойца, дети с утра до вечера околачиваются на станции без призора и строгости и потому превратились в хулиганов, а завтра, может, и бандитами станут, поезда начнут грабить, старший вон выпивать уже начал, и милиция уже приходила, предупредили ее — скоро дело дойдет до прокуратуры. А что она может поделать одна, а их шестеро! А отцу хоть бы что...

А тому и действительно было хоть бы что, муж ее сидел себе опустившийся и смутный, с грустным, отрешенным видом, все же на похороны тестя приехал, и молча курил себе вонючие, бросовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал: покричит-покричит баба и устанет... Но тут некстати вмешался брат — Сабитжан. С того и началось. Сабитжан стал совестить сестру: где это видано, что это за манера, зачем она приехала — отца хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплакивать казахской дочери своего почтенного отца? Разве великие плачи казахских женщин не становились легендами и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили слезами. А умершему воздавалась хвала и все его достоинства возносились до небес,— вот как плакали прежние женщины. А она? Развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо и худо на свете!

Айзада только этого вроде и ждала. И вскричала она с новой силой и яростью. Ах ты какой умный и ученый выискался! Ты, мол,

вначале свою жену научи. Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не приехала и не показала нам плач величальный. А уж ей-то негрешно было бы и воздать должное отцу нашему, потому как она, бестия, и ты, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили старика до ниточки. Мой муж, какой он ни алкоголик, но он здесь, а где твоя умная-разумная?

Сабитжан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душить Сабитжана...

С трудом удалось боранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Едигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строго-настрого: если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь никому оставаться, не посмотрю ни на что, пеняйте на себя...

Да, вот такая нехорошая история вышла накануне похорон. Сильно был мрачен Едигей. И опять напряженно сошлись брови на хмуrom челе, и опять терзали его вопросы — откуда они, дети их, и почему они стали такими? Разве об этом мечтали они с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в кумбельский интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, чтобы не остались прозябать на каком-нибудь разъезде в сарозеках, чтобы не кляли потом судьбу: вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот... Почему, что помешало им состояться людьми, от которых не отворачивалась бы душа?..

И опять Длинный Эдильбай выручил, чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение Едигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Едигею. Дети умершего родителя всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И куда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они ни оказались. Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Эдильбай пригласил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать, пойдёмте почаюем, посидим у нас...

В доме у Длинного Эдильбая Едигей попал будто в иной мир. Он и прежде заезжал сюда по-соседски и каждый раз оставался доволен, душа его наполнялась отрадой за эдильбаевскую семью. Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь, потребность была такая — точно бы он должен был восстановить в этом доме некие утраченные силы.

Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим, как и другие, получал не больше других, жил, как и все, в половине сборно-щитового домика из двух комнат да кухни, но совсем иная жизнь царила здесь — чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других, в эдильбаевских пиалах Едигею казался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная и дому хозяйка, и дети как дети... Поживут в сарозеках сколько смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда...

Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках, и первый раз за день почувствовал, что и устал и проголодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого столика наземного остальные гости, негромко переговариваясь о том, о сем...

Настоящий разговор возник потом, странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждениям и своему неведению на этот счет. Но он при том не испытывал внутреннего укора — для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далеким, почти магическим,

чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было насто-роженно-почтительное, как к появлению некоей могучей безликой во-ли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И, однако, зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме Длинного Эдильбая.

Сидели они вначале, пили шубат — кумыс из верблюжьего моло-ка. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли сарозекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказа-лась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию, но в этот раз не стал и тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увле-каться — завтра предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его то, что другие, особенно Сабитжан, налегали, запивали водку шуб-атом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых коней, хорошо идут в одной упряжке — поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало по крайней мере то, что муж Айзады пока воздерживался от водки, алкоголику сколько надо-то, окосел бы враз, но он пил только шубат, видимо, понимал все-таки, что это уж слишком — валяться в дым пьяным на похоро-нах тестя. Однако насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо.

Так сидели они в разговорах о разностях, когда Эдильбай, потчюя гостей шубатом — руки у него длинющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора, — вспомнил вдруг, протягивая очеред-ную чашку Едигею с того края стола:

— Едике, вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо! Огромная! Как дышло! Вы видели?

— Ну еще бы! Рот разинул! Вот это сила! Вся в огне полыхает и все вверх, вверх, ни конца ей, ни края! Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел.

— Да и я впервые своими глазами увидел, — признался Эдильбай.

— Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и недавно не могли увидеть, — решил подшутить Сабитжан над его ростом.

Длинный Эдильбай на это лишь усмехнулся вскользь.

— Да что я, — отмахнулся он. — Смотрю и сам себе не верю — сплошь огонь гудит в вышине! Ну, думаю, еще кто-то двинулся в кос-мос. Счастливого пути! И давай быстрее крутить транзистор, я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях как на митинге вроде выступает. Аж мурашки по коже! Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это, кого лично видел я в полете. Но так и не узнал.

— А почему? — опережая всех, подивился Сабитжан, многозна-чительно и важно приподнимая брови. Он уже начал пьянеть. Распа-рился, покраснелся.

— Не знаю. Ничего не сообщили. Я «Маяк» все время на волне держал, ни слова не сказали даже...

— Не может быть! Тут что-то не так! — вызывающе усомнился Сабитжан, быстро запивая еще глоток водки шубатом. — Каждый пол-ет в космос — это мировое событие... Понимаешь? Это наш престиж в науке и политике!

— Не знаю почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже...

— Хм! — покрутил головой Сабитжан. — Будь я на месте, на служ-бе своей, я бы конечно знал! Обидно, черт возьми. А, возможно, тут что-то не то?

— Кто его знает, что тут то, что не то, а только мне лично обидно, ей-богу,— чистосердечно выкладывал Длинный Эдильбай.— Для меня он вроде свой космонавт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился. То-то будет радости. Вдруг где и встретимся, приятно ведь было бы...

Сабитжан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой:

— А-а, я понимаю! Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента.

— Как это? — покосился Эдильбай.

— Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или на выход на орбиту, и пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио и в газетах. А если нет, то могут и не информировать. Просто научный эксперимент.

— А я-то думал,— Эдильбай огорченно поскреб лоб,— что живой человек полетел.

Все примолкли, несколько разочарованные сабитжановским объяснением, и, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг:

— Стало быть, как я понял, Джигиты, в космос ушла ракета без человека? А кто ей управляет?

— Как кто? — изумленно всплеснул руками Сабитжан и торжественно глянул на невежественного Едигея.— Там, Едике, все по радио делается. По команде Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракеты. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать... Это, кокетай³ дорогой, не на Каранаре ехать по сарозекам, очень там все сложно...

— Вот оно что, скажи,— невнятно проронил Едигей.

Буранному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении радио — это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело: он исполняет указания — делай так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабитжан свои познания. Вот, мол, вы ничего не знаете, да еще считаете меня никчемным, а зять, алкоголик последний, душить меня даже кинулся, а я больше всех вас понимаю в таких делах. «Ну и бог с тобой,— подумал Едигей.— На то мы тебя учили всю жизнь. Должен же хоть что-то знать больше нас, неучей». И еще подумалось Буранному Едигею: «А что, если такой человек у власти окажется — заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных нипочем не потерпит. Он пока на побегушках состоит, и то как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь, в сарозеках...»

А Сабитжан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить боранлинцев, возможно, с тем чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах после позорного скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и дело пригублял водку, полглотка да еще полглотка, да все запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные боранлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет.

³ Кокетай — ласкательно-уменьшительное и в то же время снисходительное обращение.

— Вот посудите сами,— говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным завораживающим взором,— мы, если иметь понимание, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю. Прежде люди верили в богов. В древней Греции жиди они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги?! Придурки. Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились, а изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы. Сказки. А наши боги — они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей сарозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит, никто не знает, и не положено, не полагается каждому встречному Мыркынбаю-Шыйкымбаю руку совать: здорово, мол, как живешь? Но они настоящие боги! Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап! То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого доби́лась, исходя из высших интересов.

— Постой, постой, как чуть — сразу высшие интересы! — перебил его Длинный Эдильбай.— Ты вот что скажи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду? Так это уже повсюду есть!

— Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки! Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиоволны — так называемые биотоки — будут постоянно воздействовать на тебя, на твое сознание. И куда ты тогда денешься?

— Вон как?

— А ты дума! Человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому порядку. Надо, чтобы ты пел,— сигнал — будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал,— сигнал — будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал,— будешь работать, да еще как! Воровство, хулиганство, преступность — все забудется, только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека — все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв, то есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость. С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества.

— Высших интересов? — не без ехидства уточнил Длинный Эдильбай.

— Вот именно, государственные интересы превыше всего.

— А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как?

— Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни на есть раскрасавицу — ты даже глазом не поведешь. Потому что биотоки отрицательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен. Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь — в огонь прыгнет, надо с парашютом — глазом не мигнет, надо взорваться с атомной миной под танком — пожалуйста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан биоток бесстрашия — и все, никаких страхов у человека... Вот как!..

— Ох и врать же горазд! Ну несешь! Чему тебя столько лет учили? — искренне удивлялся Эдильбай.

Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали головами, вот, мол, заливает парень, но, однако же, продолжали слушать — чертовщину несет, но занимательно, неслыханно, хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел, запивая понемногу водку шубатом, какой с него спрос, пусть болтает. Где-то что-то слышал человек, а что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать. Да, но Едигею вдруг стало по-настоящему страшно — неспроста каркает наш болтун, беспокоился он, ведь он это где-то вычитал или слышал краем уха, ведь он все узнает с лёта, где что неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами, как боги?..

Сабитжан же выдавал без удержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты.

— Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь! Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай,— и с концом. Прямо над Бермудским треугольником самолета как не было, исчез. Не стало его, и все! А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без бермудских треугольников, живи на собственной земле, при собственном здоровье. Давайте вышьем за наше здоровье!

«Ну пошло! — ругнулся про себя Едигей.— Сейчас он свою любимую присказку вспомнит. Эх, наказание! Как только выпьет, нет ему тормозов!» Так оно и вышло.

— Вышьем за наше здоровье! — повторил Сабитжан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще сияясь придать выражению лица своего некую многозначительную важность.— А наше здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как! Не такие уж мы простые, мы государственные люди! И еще я хочу сказать...

Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце — то ли порожнее ведро, то ли еще что-то пугалось под ногами,— он с ходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангап! — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды.— Что же это — и смерть не смерть и горе не горе! Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, и хоть бы что! Придумал себе эту чертову присказку—государственное здоровье, и вот так каждый раз. Ну, дай-то бог завтра все честь по чести соблюсти, а как схороним да первые поминки справим, ноги его больше не будет, избавимся, кому он здесь нужен и кто ему нужен?!»

А все-таки порядочно, оказывается, засиделись в доме Длинного Эдильбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночных сарозеков. Погода обещала быть на завтра, как обычно, ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина, озноб прошибает. Оттого и засушливые степи кругом — трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживают. Колючки разные, полынь большей частью да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится, его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг Буранного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь оттого была иная. Стада, табуны, отары бродили по сарозекам.

Давно, наверно, это было, возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы — жуаньжуаны, от которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в сарозеках столько люду. Недаром же Елизаров говорил: сарозеки — позабытая книга степной истории... Он считал, что история Ана-Бейитского кладбища тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, историей признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги еще не писались, тогда как быть?..

Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в сарозеках о своем море, а незадолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал, оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает Арал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангап сказал: «Сколько стоит земля — стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает, что уж тут говорить о человеческой жизни». И еще он сказал тогда: «Ты меня схорони на Ана-Бейите, Едигей. А с морем я вижу последний раз!»...

Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и пошел в казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, Укубала и с ними другие женщины. Боранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вместе да подсобрать в чем, если потребуется.

Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял наготове оседланный и обряженный в попону с кистями Буранный Каранар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку.

— Ну и здоров же ты!

Уже у самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая отчего, вчерашнюю ночь. Как прибежала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал кинуть в нее камнем и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну...

III

В этот час на Тихом океане, в северных его широтах, было уже утро, восьмой час утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем. И, кроме воды и неба, в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же именно здесь на борту авианосца «Конвенция» разыгрывалась пока никому за пределами корабля не известная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции «Паритет».

Авианосец «Конвенция» — научно-стратегический штаб Обценупра по совместной планетологической программе «Демидург», — медленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, не изменил своего постоянного местопребывания южнее Алеутских островов в Тихом океане, а, наоборот, еще точнее скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско.

На самом научном судне тоже произошли некоторые изменения. По указанию Генеральных соруководителей программы, американского и советского, оба дежурных оператора блока космической связи — один советский, другой американский, — принявших информацию

о чрезвычайном происшествии на «Паритете», были временно, но строго изолированы во избежание утечки сведений о случившемся...

Среди персонала «Конвенции» было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения и пользовалось статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец.

К одиннадцати часам дня с интервалом в пять минут ожидалось прибытие на «Конвенцию» ответственных комиссий обеих сторон, облеченных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира.

Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Такой выбор места был не случаен. Как никогда прежде на этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демидург», ибо даже местонахождение судна, на котором претворялся в жизнь сообща разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества.

Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся, таким образом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радио-телефоно-телевизионную связь с Невадским и Сарозекским космодромами. На авианосце базировались восемь, по четыре от каждой стороны, реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Обценупру в его повседневных связях с материками. На «Конвенции» были два паритет-капитана — советский и американский: паритет-капитан 1-2 и паритет-капитан 2-1; каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж соответственно дублировался — помощники паритет-капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды...

По той же системе была построена структура научно-технического персонала Обценупра на «Конвенции». Начиная от Генеральных соруководителей программы от каждой стороны — Главных паритет-планетологов 1-2 и 2-1, все последующие научные работники всех специальностей также соответственно дублировались, представляя в равной степени обе стороны. Потому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите «Трамплин», называлась «Паритет», отражая суть земных взаимоотношений.

Всему этому, разумеется, предшествовала большая, разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демидург».

Программа «Демидург» ставила колоссальнейшую задачу космологических проблем века — изучение планеты Икс с целью использования ее минеральных ресурсов, таящих в себе немислимые по земным представлениям запасы внутренней энергии. Сотня тонн иксианской породы, почти свободно лежащей на поверхности звездного тела, при соответствующей обработке могла высвободить столько внутренней энергии, сколько потребовалось бы в преобразованном виде в качестве электричества и тепла всей Европе на целый год. Такова оказалась энергетическая природа материи на Иксе, возникающая в особых условиях Галактики под воздействием длительной планетарной эво-

люции, на протяжении многих миллиардов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неоднократно доставлявшиеся космическими аппаратами с поверхности Икса, об этом же говорили результаты экспедиций, совершивших несколько раз кратковременные высадки на эту красную планету нашей Солнечной системы.

Решающим же фактором в пользу проекта освоения Икса оказалось то, чего не было ни на одной другой известной науке планете, включая Луну и Венеру,— наличие свободной воды в недрах столь пустынной с виду Иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе подтвердилось буровыми пробами. По расчетам ученых, под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщиной в несколько километров, удерживаемый в неизменном состоянии ниже расположенными пластами холодных каменистых пород.

Именно наличие такого огромного количества воды на Иксианской звезде обеспечивало реальность программы «Демидург». Вода в данном случае являлась не только источником влаги, но и исходным материалом синтезирования других элементов, необходимых для поддержания жизни и нормального функционирования человеческого организма в инопланетных условиях, прежде всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производственной точки зрения вода играла основную роль в технологии первичной флотации иксианской породы перед загрузкой ее в транскосмические контейнеры.

Обсуждался вопрос, где следует извлекать иксианскую энергию: на орбитальных станциях в космосе, чтобы затем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам, или же непосредственно на самой Земле. Время еще терпело.

Уже готовилась большая экспедиция по долговременной высадке группы буровиков и гидрологов, которым предстояло оборудовать постоянный и автоматически управляемый приток воды из недр Икса в систему водопроводов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, применяя терминологию альпинистов, главным базовым лагерем на пути к Иксу. На «Паритете» уже были сооружены необходимые конструкции для причаливания, разгрузки и погрузки транспортных «челноков», которые будут курсировать между Иксом и «Паритетом». Со временем, с достройкой блоков, на «Паритете» могли бы разместиться более ста человек в весьма комфортабельных условиях, включая постоянный прием телевизионных передач с Земли.

В этом большом космическом предприятии добыча и анализ иксианской воды были бы первым актом производственной деятельности, когда-либо осуществляемой человеком вне пределов своей планеты...

И этот день близился. И все шло к тому...

На Сарозекском и Невадском космодромах завершались последние приготовления к гидротехнической операции на Иксе. «Паритет», находясь на орбите «Трамплин», был готов к принятию и переброске на Икс первой рабочей группы космических целинников.

По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации...

И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившихся на орбите «Трамплин» с долгосрочной космической вахтой на «Паритете», бесследно исчезли...

Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было сигналы — ни в установленное время сеансов связи, ни в прочее время. Впечатление было угнетающее — кроме датчиков, постоянно обозначающих местонахождение станции, и канала коррекции ее движения, все остальные системы радио-телевизионной связи бездействовали.

Время шло. «Паритет» не отзывался ни на какие обращения к нему. Тревога на «Конвенции» возрастала. Строились всякие догадки и предположения. Что с ними, с паритет-космонавтами? В чем причина

их молчания? Не заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной пищей? И вообще живы ли они?

Наконец было использовано последнее средство — был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающее действие.

Над программой «Демиург» нависала серьезная опасность. И тогда Обценупр на «Конвенции» прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К «Паритету» были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами — с Невадского и Сарозекского космодромов.

Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на «Паритет» космонавтов-контролеров, было ошеломляющим: обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закоулка, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет-космонавтов. Их здесь не было — ни живых, ни мертвых...

Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившихся свыше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они! Не выбрались же в открытый космос!

Сеанс обследования «Паритета» проходил при прямой радиотелевизионной связи с «Конвенцией», при непосредственном участии обоих Генеральных соруководителей — Главных паритет-планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов Обценупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи:

«Паритет». Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем.

«Конвенция». Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции?

«Паритет». Нет. Все выглядит, как и положено, все в порядке. Все на своем месте.

«Конвенция». Не попадались ли вам на глаза следы крови?

«Паритет». Абсолютно нет.

«Конвенция». Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет-космонавтов?

«Паритет». Да, кажется, все на своем месте.

«Конвенция». А все-таки?

«Паритет». Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книги, часы, проигрыватель и всякие другие вещи — все на месте.

«Конвенция». Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге?..

«Паритет». Ничего такого на глаза не попадалось. Хотя постойте! Вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему...

«Конвенция». Читайте, что там написано!

«Паритет». Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенных рядом столбцами на английском и русском языках...

«Конвенция». Читайте, что вы медлите!

«Паритет». Заголовок — «Послание землянам». А в скобках — объяснительная записка.

«Конвенция». Стоп. Не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы.

«Паритет». О'кей!

В этом месте диалог между орбитальной станцией и Обценупром

был приостановлен. Посовещавшись между собой, Генеральные соруководители программы «Демиург» попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи. Вот текст, оставленный паритет-космонавтами на орбите «Трамплин»:

«Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию «Паритет» при весьма необычных обстоятельствах, на неопределенное время, возможно на бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием, мы считаем своим неременным долгом объяснить мотивы нашего поступка.

Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт, равного которому трудно что-либо представить во всей истории человеческой культуры, позволяет нам рассчитывать по крайней мере на понимание...

Некоторое время тому назад мы стали улавливать среди бесчисленного множества радиоимпульсов, исходящих из космического окружения и в значительной степени от самой земной ионосферы, насыщенной нескончаемыми шумами и помехами, один направленный радиосигнал в узкочастотной полосе, который, будучи самым узким и потому легко выделяемым, заявлял о себе регулярно, всегда в одно и то же время и всегда с одинаковыми интервалами. Поначалу мы не обращали на него особого внимания. Но он продолжал настойчиво напоминать о себе, систематически исходя из строго определенной точки Вселенной, строго ориентируясь, судя по всему, на нашу орбитальную станцию. Теперь мы определенно знаем: эти искусственно направленные радиоволны поступали в эфир и прежде, задолго до нашей вахты, третьей по счету, ведь «Паритет» находится на орбите «Трамплин» в дальнем космосе вот уже более полутора лет. Трудно объяснить, почему, должно быть по чистой случайности, мы первыми заинтересовались подачей этого сигнала из Вселенной. Как бы то ни было, мы стали наблюдать, фиксировать, изучать природу этого явления и постепенно, все больше убеждаясь, пришли к выводу об искусственном его происхождении.

Но не так скоро свыклись мы с этой мыслью. Сомнения не покидали нас все это время. Как могли мы утверждать существование внеземной цивилизации, опираясь лишь на один факт искусственного, как мы полагали, радиосигнала, исходящего из неведомых глубин вселенского мира? Нас удерживало то обстоятельство, что все предыдущие попытки науки, неоднократно предпринимавшиеся с самой минимальной задачей — обнаружения хоть каких-либо признаков жизни, в самой простейшей форме, хотя бы на сопредельных планетах, — как известно, оказались удручающе бесплодными. Поиски внеземного разума считались маловероятным, а позднее попросту нереальным, утопическим занятием, поскольку с каждым новым шагом в исследовании космических пространств этих шансов даже в теоретическом плане становилось все меньше, если не сказать, что они свелись практически к нулю. Мы не отваживались заявлять о своих догадках. Мы не собирались оспаривать повсеместно утвердившуюся идею уникальности, беспрецедентности, единственности как биологического феномена живой жизни лишь на планете Земля. Делиться своими сомнениями на этот счет мы не считали себя обязанными, поскольку в программу наших рабочих обязанностей по орбитальной станции такого рода наблюдения не входили. Честно говоря, не хотелось, кроме всего прочего, оказаться в положении того космонавта, которому однажды примерещился коровий мык в полете, луг у реки и пасущееся стадо на нем, и с тех пор он стал прозываться «коровьим космонавтом».

А когда еще один случай явился последним доказательством существования в мире разумной жизни помимо земной, для нас было уже поздно. Мы пережили скачок сознания, переворот, преобразование в своих представлениях о мироустройстве и обнаружили вдруг, что стали мыслить совсем иными категориями, чем до этого. Качественно новое осмысление структуры мироздания, открытие нового обитаемого пространства, существование еще одного мощного очага умственной энергии подвели нас к выводу, что до поры до времени нам необходимо воздержаться оповещать землян о нашем открытии, исходя из новых понятий заботы о Земле. Мы пришли к этому решению в интересах самого современного общества.

Теперь о существе дела. Как это произошло.

Любопытства ради мы решили однажды послать ответный радиосигнал примерно в том же спектре частоты, направив его в ту точку Вселенной, откуда постоянно проистекали загадочные регулярные радиоимпульсы. Произошло чудо! Наш сигнал был немедленно принят! Он был уловлен и понят! В ответ на нашей принимающей полосе заработал еще один дубль рядом с прежним, а затем еще один — то было приветственное трио, три синхронных радиосигнала из Вселенной несколько часов кряду, как торжествующий марш, несли с собой ликующую весть о разумных существах вне нашей Галактики, обладающих высочайшей способностью контакта с себе подобными существами на сверхдальних расстояниях. То была революция в наших представлениях о космической биологии, в наших познаниях строения времени, пространства, расстояний... Неужели мы уже не одни на свете, не единственные в своем роде в невообразимо пустынной бесконечности мира, неужели опыт человека на Земле не единственное обретение духа во Вселенной?

Чтобы проверить реальность обнаружения внеземной цивилизации, мы послали по радио формулу массы земного шара, того, на чем изначально возникла и покоится ныне наша жизнь. В ответ мы получили расшифровку — в свою очередь примерно такую же формулу массы их планеты. Из этого мы сделали вывод, что та обитаемая планета достаточно больших размеров и с вполне приемлемой силой притяжения.

Так мы обменялись первыми знаниями физических законов, так мы впервые вступили в контакт с внеземными носителями разума.

Инопланетяне оказались активными партнерами в смысле углубления и сближения наших связей. Их стараниями наши контакты быстро насыщались все новым содержанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают летательными аппаратами, скорость движения которых равна скорости света. Все это и другие вещи мы узнавали благодаря тому, что оказались в состоянии обмениваться мыслями поначалу путем математических и химических формул, а затем они дали нам понять, что умеют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех пор как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают наши языки с помощью мощной аудиоастрономической аппаратуры, глубоко прослушивающей Галактику. Улавливая систематическую радиосвязь между космосом и Землей, они умудрились путем сопоставлений и анализа расшифровать для себя значение наших слов и фраз. В этом мы убедились сами, когда они попытались объясниться с нами на английском и русском языках. Для нас это было еще одним невероятным, ошеломляющим открытием...

А теперь о самом главном. Мы отважились посетить эту планету внеземной цивилизации. Лесная Грудь — так примерно расшифровали мы для себя название их планеты. Лесногрудцы сами пригласили нас, это их идея. И мы по зрелом размышлении решились. Они объяснили нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость света, достигнет нашей орбитальной станции за двадцать шесть—двадцать семь часов.

За такое же время лесногрудцы обязуются доставить нас назад, как только мы того пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский летательный аппарат обладает способностью герметического примыкания к любому предмету любой конфигурации и конструкции. Это, должно быть, какое-то свойство электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое лучшее будет для нас, если их летательный аппарат примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, через который мы могли бы переместиться к ним из орбитальной станции. Таким же способом мы намерены вернуться назад, разумеется если путешествие в Лесногрудию благополучно завершится...

Итак, мы оставляем на борту «Паритета» свое послание, если угодно, объяснительную записку, открытое письмо, обращение... Не в том суть... Мы достаточно трезво понимаем, на что идем и каково бремя ответственности, которую мы возложили на себя. Мы осознаем, что судьбе угодно оказалось предоставить именно нам наивысшую возможность сослужить такую службу человечеству, выше которой мы не представляем себе ничего...

И, однако, самым мучительным было для нас преодоление чувства долга, связанности, обязанности, дисциплины, наконец... Того, что воспитано в каждом из нас давними традициями, законами, общественными нормами морали. Мы покидаем «Паритет», не ставя в известность вас, руководителей Обценупра, и вообще никого из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с кем и ни в какой форме не потому, что пренебрегаем правилами общественной жизни на Земле. Для нас это было темой самых тяжелых размышлений. Мы вынуждены поступить таким образом, ибо нетрудно представить себе, какие настроения, противоречия, страсти разгорятся, как только придут в движение силы, которые даже в каждом лишнем хоккейном голе видят политическую победу и преимущество своей государственной системы. Увы, мы слишком хорошо знаем нашу земную действительность! Кто может поручиться, что возможность контактов с внеземной цивилизацией не станет еще одним поводом для мировой междоусобицы землян?

На Земле трудно или почти невозможно отстраниться от политической борьбы. Но находясь продолжительное время — многие дни и недели — в дальнем космосе, откуда земной шар кажется не больше автомобильного колеса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что нынешний энергетический кризис, доводящий общество до неистовства, до отчаяния, приближающего иные страны к желанию схватиться за атомную бомбу, — это всего лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны в состоянии были договориться, что важнее...

Из опасения растревожить, осложнить и без того чреватое опасностями положение землян мы осмелились взять на себя небывалую ответственность — выступить перед лицом носителей внеземного разума от имени всего человеческого рода, в соответствии со своими убеждениями и совестью. Мы надеемся и чувствуем внутреннюю уверенность, что выполним свою добровольную миссию достойным образом.

Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем, чтобы не нанести ущерба программе «Демидург» — этому величайшему начинанию в геокосмической истории человечества, пострадавшему нашими странами в результате долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов сотрудничества. И все-таки разум восторжествовал — и мы добросовестно служили нашему общему делу в меру своих сил и способностей. Но соизмерив одно с другим и не желая подвергать программу «Демидург» испытаниям ввиду вышеизложенных опасений, мы выбрали свое — мы покидаем временно «Паритет», с тем чтобы по возвращении продолжить нашу вахту. Если же мы исчезнем навсегда или же если ру-

ководство сочтет нас недостойными продолжать нашу вахту на «Паритете», то заменить нас будет не так сложно. Всегда найдутся нужные парни, которые будут работать не хуже нас.

Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда знаний и вековая мечта человека открыть себе подобные разумные существа в иных мирах, с тем чтобы разум объединился с разумом. Однако никому не известно, что таит в себе опыт внеземной цивилизации — благо или зло для человечества? Мы постараемся быть объективными в своих оценках. Если же мы почувствуем, что наше открытие несет в себе нечто угрожающее, нечто разрушительное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю никакой беды.

И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет как лучезарный бриллиант в черном море пространства. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и отсюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда, что все люди, которые живут на свете, все они наши сестры и братья, и без них мы не смеем и мыслить себя, хотя, мы знаем, на самой Земле это далеко не так...

Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько часов нам предстоит покинуть орбиту «Трамплин», и тогда Земля скроется из виду и ее уже не будет видно. Инопланетяне-лесногрудцы уже в пути. Скоро они прибудут. Через несколько часов. Осталось совсем мало. Ждем.

И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень просим вас всех, кто будет иметь отношение к этому делу, передать наши письма по назначению...

PS. Справка для тех, кто прибудет на «Паритет» на наше место. В вахтенном журнале мы указали прямо-передаточный канал и частоту радиоволн, с помощью которых мы вступали в контакт с инопланетянами. При необходимости мы будем связываться с вами по этому каналу и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяснить из имевших место радиообщений с лесногрудцами, самый удобный и единственный способ связи — это бортовые системы орбитальной станции, так как радиосигналы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле, не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой преграды — мощной ионизированной сферы в атмосферном окружении Земли.

Вот все. Прощайте. Нам пора.

Идентичный текст послания составлен на двух языках — на английском и русском.

Паритет-космонавт 1-2.
Паритет-космонавт 2-1.
Борт орбитальной станции «Паритет».
Третья вахта. 94 сутки.

Ровно в назначенный срок, в одиннадцать часов по дальневосточному времени, на палубу авианосца «Конвенция» один за другим приземлились два реактивных самолета с особоуполномоченными комиссиями на борту — от американской и советской сторон.

Члены комиссий были встречены строго по протоколу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сразу после обеда членам комиссий предстояло собраться в кают-компании на закрытое совещание в связи с чрезвычайным положением на орбитальной станции «Паритет».

Но совещание, едва начавшись, было внезапно прервано. Космонавты-контролеры, находившиеся на «Паритете», передали Обценупру на «Конвенцию» первое сообщение, полученное ими от паритет-космонавтов 1-2 и 2-1 из соседней Галактики, с планеты Лесная Груда.

IV

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежат великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измеряются применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Что ни говори, а до родового найманского кладбища Ана-Бейит все же не рукой подать — тридцать верст, и то если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сарозекам.

Буранный Едигей поднялся в тот день рано. Да он и не спал толком. На рассвете только подремал малость. А до этого был занят — соборовал покойного Казангапа. Обычно это делают в день захоронения, незадолго до выноса, перед общей молитвой в доме умершего — перед джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью накануне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь, двинуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не считать того, что Длинный Эдильбай воду подтепленную подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторонился покойника. Жутковато, конечно, ему было. Едигей сказал ему на это как бы ненароком:

— Ты, это самое, присматривайся, Эдильбай. Пригодится в жизни. Коли люди рождаются, то и хоронить приходится.

— Да я-то понимаю, — неуверенно отозвался Эдильбай.

— Вот и я об этом же. Скажем к слову, завтра я помру. Так что, и соборовать никого не найдется? Так и затолкаете меня в какую-нибудь яму?

— Ну почему же! — смутился Эдильбай, присвечивая лампой и пытаясь освоиться возле покойника. — Без вас здесь неинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подождет.

Часа полтора ушло на соборование. Но зато Едигей остался доволен. Омыл покойника как полагается, руки-ноги выправил и уложил как полагается, белый саван скроил и обрядил в него Казангапа как полагается, не жалея на то полотна. А между делом показал Эдильбаю, как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок. Выбрился начисто, усы подправил. Они у него были, как и брови, густые, сильные усы. Только вот седина пошла перемержку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои солдатские, ордена да значки ударнические надраил, нацепил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню.

Так и ночь проходила. И все дивился Буранный Едигей самому себе — тому, как запросто и спокойно все это проделывал. А скажи ему кто прежде, не поверил бы, что с руки будет и такое прискорбное занятие. Стало быть, на роду предписано так — хоронить Казангапа суждено ему. Судьба.

Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали Едигея после контузии, в конце сорок четвертого. Снаружи вроде бы все в порядке — руки-ноги на месте, голова на плечах, да только голова-то была точно не своя. Шум стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколько шагов — зашатается, голова кругом, тошнит. А сам весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается. И язык временами не подчиняется — слово выговорить тоже большая работа. Крепко трянуло его взрывной волной от немецкого снаряда. Убить не убило, но и жить так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Молодой, здоровый с виду, а вернется домой на Аральское море — что будет делать, на что годится? На счастье, врач попался хороший. Он даже не лечил

его, а только осмотрел, прослушал, проверил, как сейчас помнится — здоровенный рыжий мужик в белом халате и колпаке, ясноглазый, носатый, весело похлопал его по плечу, посмеялся.

— Видишь ли,— говорит,— браток, война скоро кончится, а не то бы вернул я тебя в строй немного погодя, повоевал бы ты еще. Да ладно уж. Как-нибудь без тебя дождем до победы. Только ты не сомневайся — через годик, а то и меньше все будет в порядке, здоров будешь, как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока собирайся, езжай в свои края. И не тужи. Такие, как ты, сто лет проживут...

Дело, оказывается, говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто — годик. А как вышел из госпиталя — в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай — да двинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах, в поездах — народу тьма, кто силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился. Почитай через месяц скитаний ночью остановился поезд на станции Аральск. «Пятьсот седьмой, веселый» прозывался тот «славный» поезд, никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах...

А тогда и тому был рад. Слез впотьмах с вагона как с горы, остановился растерянно, а вокруг ни зги, лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной, аральский ветер! Морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь...

Дыхание перехватило — со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на зааральских просторах. Вот и снова родные края!

Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангельди, расстояние до которого было изрядное. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлопающей полосы на песке. Скрытое тьмой, море угадывалось по неясным бликам, по гребням волн, возникающим шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная — белела одиноким пятном за облаком в вышине.

Вот и свиделись, выходит.

— Здравствуй, Арал,— прошептал Едигей.

А потом присел на камень, закурил, хотя доктора очень не советовали ему курение при его контузии. Позже он бросил это дурное дело. А тогда разволновался — что там дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море выходить — надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в шланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид не инвалид, а вообще никуда не годится. И прежде всего голова для рыбацкого дела не годна, это было ясно.

Едигей собирался уже было встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее.

— Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя? Арстан? Жолбарс? Борибасар?⁴ А-а, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну молодец, молодец! Только не всегда море выбрасывает к ногам

⁴ Арстан, жолбарс, борибасар — лев, тигр, волкодав.

снуую рыбку. Ну что ж делать! Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не дошел немного до этого города, так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю-гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали... Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли... Постой, тут вот леденцы есть, для сынишки везу, он у меня бегаёт уже, должно быть...

Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки — вот и весь багаж.

Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внимательно, преданно глядя обнадуженно засветившимися глазами.

— Ну а теперь прощай.

Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции, близился рассвет, надо было не задерживаясь пробираться в свой аул Жангельди.

Только к полудню того дня добрался в Жангельди, все время идя берегом моря. А до контузии часа за два пробежал это расстояние. И тут его сразила страшная весть — сыночка-то, оказывается, давно уже нет в живых. Когда Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не судьба — умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. Заболел краснухой-корью и не вынес жара внутреннего, сторел, оборвался. Писать отцу на фронт об этом не стали. Куда писать и зачем писать? На войне и без того хватает горького хлеба. Вернется живой — узнает по приезде, погорюет, переживет, рассудили по-своему родственники и Укубале рассоветовали сообщать об этом. Молодые, мол, вот война кончится, народите еще детей, бог даст. «Ветка обломалась — не беда, главное, чтобы ствол чинары остался цел». И еще соображения были, вслух не высказанные, но всеми понимаемые: если что, война есть война, если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой простится в последнее мгновение с белым светом — мол, остался дома отпрыск, род на том не пресекался...

А Укубала за все казнила только себя. Плачем исходила, обнимая вернувшегося мужа. Ведь она ждала этого дня с надеждой и с болью неиссякающей, изводясь в мучительном повинном ожидании. Рассказывала она вся в слезах, что старухи ее сразу предупредили: мол, у ребенка краснуха, штука эта коварная, надо дите потеплее завернуть в одеяла стеганные из верблюжьей шерсти, да держать в полной темноте, да поить все время водицей остуженной, а там, как бог даст, если выдержит жар, то выживет. А она, невезучая бейбак⁵, не послушалась аульных старушек. Попросила у соседей телегу да повезла больного ребенка на станцию к докторше. А когда добралась до Аральска на телеге той трясуцей, то было уже поздно. Сторел мальчонка в пути. Докторша ругала ее на чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послушать старушек...

Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того часа. Не предполагал он прежде никогда, что затоскует с такой силой по малому дитю, по первенцу своему, которого толком и не понянчил. И от этого еще больнее было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыбки дитячьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоминании о которой сердце долго ныло.

С того и началось. Опостылел Едигею аул. Некогда здесь, на суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбой араль-

⁵ Бейбак — несчастливица.

ской промышляли. Артель стояла. Тем и жили. А теперь остался всего десяток мазанок под обрывом. Мужчин никого — всех подчистую война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим, чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому стало выходить в море.

Укубала тоже могла уехать к своим, родом она была из степных племен. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а вернется Едигей с фронта — никто тебя задерживать не станет, возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение Жангельди. Но Укубала наотрез отказалась: «Буду ждать мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут, старые да малые есть, помогать им буду, продержимся сообща».

Правильно она поступила. Да только Едигей с первых дней стал говорить, что неумогу ему теперь без дела оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родственники Укубалы, прибывшие повидаться с Едигеем, предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас при отарах в степи. А там, здоровье пойдет на поправку, займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь... Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что в тягость будет. День-два погостить у близких жениных родственников куда ни шло. А потом, если ты не работага, кому ты нужен станешь.

И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая подходящая работа для Едигея — охранником, сторожем или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать. Должны же пойти навстречу инвалиду-фронтовику.

С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не связанные. На первых порах на станциях разных ночевали. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать. А с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется, перебивались разной случайной работой на железной дороге. Укубала тогда выручала — здоровая и молодая, она и работала большей частью. Едигей как мужчина с виду вроде здоровый подражался на разгрузку и погрузку разную, а Укубала дело делала.

Таким образом очутились они однажды, уже в середине весны, на большой узловой станции Кумбель. Уголь разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным путям прямо на задние дворы деповского хозяйства. Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрей освободить платформы, а потом на тачках перевозили на-гора, ссыпали в бурты, огромные как дома. Запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едигей накидывал грабаркой тот уголь на тачку, а Укубала отвозила тачку вверх по настилу, там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз. Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала, как ломовая лошадь, катила на-гора из последней мочи тяжелый, не по бабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше, жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене приходилось, задыхаясь в черной пыли, делать вместо него то, что полагалось делать ему. Тяжко было ему смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете угля, только белки глаз да зубы светятся. А сама вся мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе прежней, разве допустил бы он такое! Сам один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены.

Когда они покидали свой опустевший рыбацкий аул Жангельди,

надеясь, что Едигею как раненому фронтовику подыщется какая-нибудь работа подходящая, одного не учли они: что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно. И всем им предстояло приспособиваться заново к жизни. Хорошо еще Едигей пребывал при своих руках и ногах. А сколько увечных — безногих, безруких, на костылях и протезах — слонялось тогда по железным дорогам. Долгими ночами, когда, устроившись где-нибудь в углу в переполненном, смрадном станционном помещении, они пережидали ночь, Укубала, заранее испросив прощение, обращала свои безмолвные благодарности богу за то, что муж находится рядом не покалеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безысходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. Безногие, безрукие, битые-перебитые люди в донашиваемых шинелях и разной рвани, на колясках под задницей, на костылях, при поводырях, бездомные и неприкаянные кочевали по поездкам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содрогая душу пьяным ором и плачами... Что ждало впереди каждого из них, чем было возместить не возмещаемое ничем? И лишь за одно то, что такая беда обошла ее стороной, а ведь могла и не обойти, за то, что муж вернулся пусть и контуженный, но не изувеченный, Укубала готова была отработать всему свету самым тяжким трудом. И потому она не роптала, не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда, казалось, всякому терпению приходил конец.

Но Едигею от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то тверже определиться в жизни. Не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли: а что, если сказать себе «таубакель»⁶ и податься куда в город, а там как повезет? Только бы здоровье вернулось, только бы оклематься от этой проклятой контузии. Тогда еще можно было бы и побороться, постоять за себя... По-всякому могло, конечно, обернуться и в городе, возможно, и приспособились бы со временем и стали бы они горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было решиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай...

В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском угольном задворье появился однажды какой-то верховой казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так по крайней мере казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попасться на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожним мешком под мышкой.

— Эй, браток, — обратился он к Едигею, проходя мимо, — будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала. Привычка у них дурная — дразнят, бьют скотину. А то и распутать могут для потехи. А я сейчас, ненадолго отлучусь.

— Иди, иди, присмотрю, — пообещал Едигей, орудуя грабаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой.

Пот лил с лица непрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку, что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду. Как-то он уже видел их проделки — до того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плевать да гоняться за ними. А им удовольствие только от этого, и, как первобытные охотники, с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин...

И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись шумная ватага оборванцев примчалась гонять в футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силы по верблюду стреноженному. Верблюд от них, а они

⁶ Таубакель — было на казахском.

мячом по бокам бухают кто сильнее да кто ловчей. Кто попадет — ликует, точно гол забил...

— Эй вы, а ну прочь отсюда, не приставайте! — помахал им грабаркой Едигей. — А то я вам сейчас!

Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверно, или слишком устрашающим был вид угольного грузчика, а вдруг он к тому же пьяный, тогда несдобровать, и побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда сколько душе угодно, Едигей только для виду пригрозил грабаркой, на самом деле в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться. Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унижительно быть маломощным, большим, никудышным. Голова все время кружилась. И пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. Укубала то и дело порывалась принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее на верх бурта. Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело...

Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу и уже собираясь отправляться в путь, он подошел к Едигею перекинуться словом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангап с разъезда Боранлы-Буранный...

Они оказались земляками. Казангап рассказал, что он тоже происходил родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их.

Тогда еще ни у кого не возникло и мысли, что эта встреча предопределяет всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Боранлы-Буранный, жить и работать там. Бывает такой тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было, напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким уроком. С виду он был самый обычный казах в повыгоревшей, долго ношенной одежде, принявшей удобные для него формы. Штаны из дубленой козьей шкуры тоже были на нем неспроста — удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам — относительно новая, береженная для выездов форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, и сапоги хромовые, ношенные много лет, были тщательной поддаты и прошиты дратвой во многих местах. Что он коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца и постоянного ветра коричневому лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся преждевременно от трудов, плечи его могуче обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя роста он был среднего. Удивительные у него были глаза — карие, всепонимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура.

Казангапу тогда уже много лет под сорок. А вполне возможно, так казалось оттого, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородака придавали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего доверие он внушал рассудительностью речи. Укубала сразу прониклась уважением к этому человеку. И все, что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда, контузия еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить. Я, говорит, сразу приметил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не оклеп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь. Сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить вво-

лю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди по край нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит: ты, мол, старожил здешний, заводи к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, и у нас житье не рай. В тяжком месте пребываем — кругом сарозеки, безлюдье да безводье. Воду привозят в цистерне на неделю. И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степи, в бурдюках ее привозить, утром уедешь, к вечеру только вернешься. А все равно, говорил Казангап, лучше в сарозеках быть на своем отшибе, чем так мытариться по разным местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет, покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете на жизнь. А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете — подадитесь куда получите...

Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, благо сборы у Едигея и Укубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички — и в путь-дорогу. Что им стоило тогда — решили попытать и такое счастье. А как потом оказалось, то была их судьба.

На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до Боранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров десять, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого такыра — иссохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась — заболачивалась, размякала, становясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по сарозекам Елизарова, с которым впоследствии Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек.

А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направлялся с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Боранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь.

Великие, безбрежные пространства недолговерменно зеленеющих по весне сарозеков оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Устюртское плато, но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием сарозеков, кто способен был соразмерить величие пустыни с собственным духом. Да, сарозеки велики, но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках.

Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в сарозеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упростили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда: «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы поберечь, не спорь, не задерживай, путь далек впереди...» Верблюд был молодой, еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое шагали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем едигеевском Каранаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее,

за три с половиной — четыре часа резвого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда до Боранлы-Буранного лишь поздно ночью.

Но путь тот в разговорах да в разглядывании незнакомых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по дороге о здешнем житье-бытье — рассказывал о том, как попал сюда, в сарозекские края, на железную дорогу. Лет-то ему было не так много, оказывается, тридцать шестой пошел в том году, перед окончанием войны. Родом он был из приаральских казахов. Его аул Бешагач отстоял от Жангельди в тридцати километрах по побережью. И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор прошло много лет, он ни разу не наведалься в свой Бешагач. Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по ликвидации кулачества как класса, и тот вскоре умер в пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что никакой он не кулак, что попал он под перегиб и что напрасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но было уже поздно. Семья — братья, сестры — разбрелась тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с тех пор как в воду канули. Казангапа, тогда молодого парня, особо ретивые активисты все принуждали выступать на собрании с осуждением отца, чтобы он сказал принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его был правильно осужден как чуждый элемент, что он отрекается от такого отца и что таким, как его отец, классовым врагам нет места на земле и повсюду им должна быть неременная гибель.

Пришлось Казангапу податься в очень дальние края, чтобы избежать того позора. Целых шесть лет проработал он в Бетпак-Дале — в Голодной степи под Самаркандом. Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать под хлопковые плантации. Люди нужны были позарез. Жили в бараках, рыли канавы. Землекопом был, трактористом был, бригадиром был, грамоту почетную получил Казангап за ударный труд. Там и женился. В Голодную степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон. Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с семьей брата на бетпак-далинские работы. А получилось, что суждено им было встретиться. Поженились в Бетпак-Дале и решили вернуться на родину Казангапа, на Аральское море, к своим людям, на свою землю. Но только не продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на «максимах»⁷, а когда еще одну пересадку стали делать, на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских земляков и понял из разговоров, что не следует ему возвращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправляли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангап возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался, теперь у него была грамота самого Узбекистана. Не хотелось видеть людей, торжествовавших в злоглумлении над ним. Им пока все сошло с рук, и как было после всего этого спокойно здороваться, делать вид, что ничего не произошло!

Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал, что, кроме него, об этом все уже давно думать забыли. За долгие-долгие годы, последовавшие после приезда в сарозеки, лишь дважды дал он почувствовать, что для него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его, в другой раз Едигей неловко пошутил.

В один из приездов Сабитжана сидели они все за чаем, беседы вели, новости городские слушали. Рассказывал среди прочего Сабитжан, посмеиваясь, что те казахи да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в Синьцзян, теперь снова возвращаются. Там их Китай так прижал в коммунах — есть запретили людям дома, только из общего бака три раза в день, и большим и малым в очереди с мисками. Китайцы им такого показали, что бегут они оттуда как ошпарен-

⁷ «Максимы» — так назывались эшелоны, предназначенные для перевозки людей.

ные, побросав все имущество. В ноги кланяются, только пустите назад.

— Что тут хорошего? — помрачнел Казангап, и губы его задрожали от гнева. С ним такое случалось крайне редко, и так же редко, если не сказать — почти никогда, не говорил он таким тоном с сыном, которого обожал, учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в большие люди. — Зачем ты смеешься над этим? — добавил он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову крови. — Это же беда людская.

— А как же мне говорить? Вот странно! — возразил Сабитжан. — Как есть, так и говорю.

Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с чаем. Его молчание становилось невыносимым.

— И вообще, на кого обижаться? — удивленно пожимая плечами, заговорил Сабитжан. — Не понимаю. Еще раз повторяю — на кого обижаться? На время — оно неуловимо. На власть — не имеешь права.

— Знаешь, Сабитжан, мое дело — по мне, то, что мне по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни, сын, я думал, ты своим умом уже дошел, так вот запомни. Только на бога не может быть обиды — если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался, — а за все остальное на земле есть и должен быть спрос! — Казангап встал с места и, не глядя ни на кого, сердито, молча вышел из дома, ушел куда-то...

А в другой раз, уже много лет спустя после кумбельского исхода, когда обосновались, обжились в Боранлы-Буранным, когда народились и выросли дети, загоняя под вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошутил, глядя на умножившихся с ягнятами овец:

— Разбогатели мы с тобой, Казаке, впору хоть раскулачивать нас заново!

Казангап метнул на него резкий взгляд, и усы даже оцетинились.

— Ты говори, да не заговаривайся!

— Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?

— Этим не шутят.

— Да брось ты, Казаке. Сто лет прошло...

— В том-то и дело. Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь...

Но в тот день, когда они держали путь по сарозекам из Кумбеля в Боранлы-Буранный, до этих разговоров было еще очень далеко. И еще никто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Боранлы-Буранный, много ли, мало ли там сумеют они продержаться, приживутся ли или пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о житье-бытье, и в разговоре Едигей поинтересовался, как получилось, что Казангап на фронт не попал, или болезнь какая нашлась?

— Нет, слава богу, здоровый я, — отвечал Казангап, — никаких болезней у меня не было, и воевал бы я, думаю, не хуже других. Тут вышло все по-другому...

После того как не решился Казангап возвращаться в Бешагач, застряли они на станции Кумбель, деваться было некуда. Снова в Голодную степь — далеко слишком, да и с какой стати, не стоило тогда уезжать оттуда. На Арал опять же раздумали. А начальник станции, добрая душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей на проходящий товарняк до разъезда Боранлы-Буранный. Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая пара. Записку написал начальнику разъезда. И не ошибся. Как ни тягостно оказалось даже по сравнению с Голодной степью — там народу было полно, работа кипела, — как ни страшно было в безводных сарозеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на перегонах, хотя делать приходилось все,

что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная жизнь, Казангапа и его молодой жены Букей, на безлюдном сарозекском разъезде Боранлы-Буранный. Правда, раза два в те годы хотели было они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к станции или к городу, но пока они собирались, тут и война началась.

И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих...

Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафоров, а навстречу столько же гудков... Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом...

И ни конца, ни края — откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проносился на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами и годами. И все на запад — туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть...

Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. Потребовали на войну. С Кумбеля передали повестку — явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застонал — забирали лучшего путейщика, их и так-то было на Боранлы-Буранном полтора человека. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина... Паровозы ревут у семафоров... Засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого — враг под Москвой...

И уже вступала на порог первая военная зима, ранняя, поспешающая сумерками, мгlistая, пробирающая холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел. Сперва редкой порошей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия сарозек, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся настом, сарозекские ветры. То были пока начальные, пробные ветры, потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги, перерезавшей из края в край Серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске? Билась жилка — двигались, двигались поезда в ту и другую сторону...

Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один, без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее рук. К тому времени Айзада уже родилась. И они пошли, возможно последний раз оставляя по себе рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напоследок довел ее до стрелочной будки, перед тем как сесть на попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торопил, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взобрался к нему, паровоз дал длинный гудок и, набирая скорость, проследовал, перепадая колесами на стыке, через стрелку, где, открыв им путь, стояла Букей, туго повязанная платком, перепоясанная, в мужниных сапогах, с флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний раз помахали друг другу... Промелькнули — лицо, взгляд, рука, семафор...

А поезд тем временем уже мчался, оглашая громыханием молочное заснежье сарозек, молча наплывающих и молча проносящихся

по сторонам как белый сон. Ветер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного степного снега... Казангап старался подольше задержать в легких этот зимний дух сарозекских просторов и понял, что ему отныне эта земля не безразлична...

На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили всех в ряды, делали переключку и распределяли по вагонам. И вот тут-то случилась странная история. Когда Казангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из работников военкомата догнал его на ходу.

— Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из строя! Иди за мной!

Как сказано, так и поступил Казангап.

— Я Асанбаев!

— Документы!.. Правильно: Он самый. А теперь за мной.

И они пошли назад на станцию, где размещался пункт сбора, тот человек сказал ему:

— Вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой. Езжай к себе. Понял?

— Понял,— ответил Казангап, хотя ничего не понял.

— В таком разе топай, не толкайся тут. Ты свободен.

Казангап остался в гудящей толпе провожающих и отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг нестерпимо жарко стало ему от догадки, мелькнувшей в глубине сознания. Ах вот оно что! И он стал пробиваться через пробку людей к дверям начальника сбора.

— Куда ты, куда лезешь? — закричали те, что тоже хотели попасть к начальнику.

— У меня срочное дело! Эшелон уходит, срочное дело! — И пробился.

В накуренной до сизой мглы комнате, среди телефонов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший человек поднял перекошенное лицо от стола, когда Казангап сунулся к нему.

— Ты чего, по какому вопросу?

— Я не согласен.

— С чем не согласен?

— Отец мой был оправдан как попавший под перегиб. Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оправдан как середняк.

— Постой-постой! Чего тебе надо-то?

— Если меня не берете по этой причине, то это неправильно.

— Слушай, не пори хреновину. Кулак, середняк — кому теперь дело до этого! Ты откуда свалился? Ты кто такой?

— Асанбаев с разъезда Боранлы-Буранный.

Начальник стал заглядывать в списки.

— Так бы и сказал. Морочишь тут голову. Средняк, бедняк, кулак! На тебя бронь! По ошибке вызвали. Есть приказ самого товарища Сталина — железнодорожников не трогать, все остаются на местах. Давай не мешай тут, гони на свой разъезд и дело давай...

Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Боранлы-Буранного. Теперь они снова приближались к железнодорожной линии, и уже слышны были гудки пробегающих в ту и другую сторону поездов и можно было различить составы вагонов. Издали среди сарозеков они выглядели игрушечными. Солнце медленно угасало позади, высвечивая и одновременно затеняя чистые лога и холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохранявшей остатки зимней влаги.

— Вон наш Боранлы! — указал рукой Казангап, оборачиваясь к

Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом Укубале.— Теперь немного осталось, скоро доберемся, бог даст. Отдохнете.

Впереди, там, где железная дорога делала чуть заметный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько домиков, а на запасном пути дожидался открытия семафора проходящий состав. И дальше и по сторонам чистое поле, пологие увалы — немое, немереное пространство, степь да степь...

Сердце Едигея упало — сам приморский степняк, привыкший к аральским пустыням, он не ожидал такого. От синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вырос, к мертвенному безморью! Как тут жить-то?!

Укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла несколько шагов, не убирая руки. Он понял. «Ничего,— говорила она,— главное, чтобы здоровье твое вернулось. А там поживем — увидим...»

Так приближались они к месту, где предстояло им, как оказалось потом, провести долгие годы — всю остальную жизнь.

Вскоре солнце угасло, и уже в темноте, когда ясно и четко обозначилось в сарозекском небе множество звезд, они добрались до Боранлы-Буранного.

Несколько дней жили у Казангапа. А потом отделились. Дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых рабочих, и с того началась их жизнь на новом месте.

При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых порах, безлюдье сарозеков пользительными для Едигея оказались две вещи — воздух и верблюжье молоко. Воздух был первозданной чистоты, другой такой девственный мир найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил, дал им на подой одну из двух верблюдиц.

— Мы тут с женой посоветовались что к чему,— сказал он,— нам своего молока хватает, а вы берите себе на подой нашу Белоголовую. Она верблюдица молодая, удоиная, вторым окотом идет. Само ухаживайте и сами пользуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он ваш, мы с женой так порешили — это тебе, Едигей, от меня на развод, для начала. Сбережешь — стадо вокруг него завяжется. Надумаете вдруг уезжать — продашь, деньги будут.

Детеныш у Белоголовой — черноголовый, крошечный, с малюсенькими темными горбиками — родился всего полторы недели назад. И такой трогательно глазастый — огромные, вышуклые, влажные глаза его светились детской лаской и любопытством. Иногда он начинал забавно бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее, когда оставался в загончике, почти человеческим, жалобным голоском. Кто мог бы подумать — это и был будущий Буранный Каранар. Тот самый неутомимый и могучий, который станет со временем знаменитостью округи. С ним окажутся связанными многие события в жизни Буранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном присмотре. Крепко привязался к нему Едигей. Возился с ним всякое свободное время. Он и прежде, еще на Арале, имел навыки в этом деле, и теперь они оченьгодились. К зиме маленький Каранар заметно подрос, и тогда с наступлением холодов сшили ему теплую попонку, застегивающуюся на подбрюшье. В этой попонке он был совсем смешной — только голова, шея, ноги да два горбика были снаружи. В том одеянии он ходил всю зиму и начало весны — круглые сутки в степи под открытым небом.

К зиме того года Едигей почувствовал, как постепенно возвращались к нему силы. Даже не заметил, когда перестала голова кружиться. Незаметно исчез постоянный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе. А в середине зимы при больших заносах на дороге он уже мог наравне со всеми выходить на аврал. А потом настолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы напористый, забыл

даже, как худо да туго было совсем недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжебородого доктора.

В минуты благодушия Едигей, бывало, шутил, обращаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею:

— Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон как попрос на молоке Белоголовой, а я от контузийной немощи избавился, кажется. Дай бог, чтоб навсегда. Разница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал да шубат делал...

Много лет спустя, когда Буранный Каранар достиг такой славы в сарозеках, что приехали какие-то люди специально фотографировать его, а это было, уже когда война забылась, дети учились, когда на разъезде появилась собственная водоканалка и проблема воды, таким образом, была окончательно решена, а Едигей уже дом поставил под железной крышей, — словом, когда жизнь после стольких лишений и мытарств вошла наконец в свое достойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда и вышел один разговор, который Едигей долго помнил потом.

Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомендовались, конечно же, был редким, если не единственным случаем в истории Боранлы-Буранного. Шустрые, словоохотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на посулы — с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать во всех газетах и журналах Буранного Каранара и его хозяев. Шум и суэта вокруг Каранару не очень нравились — он раздраженно покрикивал, скрипел зубатой пастью и недоступно задира голову, чтобы его оставили в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигей, чтобы он умирал верблюда, поворачивал его то так, то эдак. А Едигей, в свою очередь, всякий раз звал детей, женщин и самого Казангапа, чтобы, стало быть, не один он, а все вместе были засняты, полагал, что так будет лучше. Фотокоры охотно мирились с этим, щелкали разными аппаратами. Самый коронный номер был, когда на Буранного Каранара насели все ребята, двое на шею, а еще человек пять на спину, а посередине сам Едигей, — вот, мол, какой силы верблюдище! То-то было шума и веселья! Но потом фотокорреспонденты признались, что для них важно заснять атана самого по себе, без людей. Пожалуйста, какой разговор!

И тогда фотографии стали снимать Буранного Каранара, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как могли и умели, а потом с помощью Едигей и Казангапа стали делать обмеры — замеры в холке, обхват груди, обхват запястья, длину корпуса и все записывали, восхищаясь:

— Великолепный бактериан! Вот где гены отлично сработали! Классический тип бактериана! Какая мощная грудь, отличный экстерьер!

Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы, но пришлось спросить, что означали эти непонятные для него слова, «бактериан» например. Оказалось, так называется в науке древняя порода двугорбых верблюдов.

- Значит, он бактериан?
- Редкой чистоты. Алмаз.
- А зачем вам все эти обмеры?
- Для научных данных.

Насчет газет и журналов приезжие, конечно, пыль пустили в глаза боранлинцам для пущей важности, но через полгода прислали бандеролью учебник, предназначенный для зоотехнических факультетов по верблюдоводству, на обложке которого красовался классический бактериан — Буранный Каранар. И фотоснимков прислали целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям можно судить — счастливое, отрадное было время. Невзгоды послевоенных лет

оставались позади, дети еще не вышли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость еще крылась за горами.

В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и устроил славное пиршество для всех боранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал на разъезд передвижной вагон-магазин орса, в котором привозили все что душе угодно. Лишь бы деньги были. Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее и прочее. И надо же, когда все есть, то не очень-то покупали. Зачем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже исчез с путей...

А тогда славно посидели, пили даже за Буранного Каранара. И в разговоре выяснилось, что гости прослышали о Каранаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал им, что в сарозеках живет его друг Буранный Едигей и что он хозяин самого красивого верблюда на свете — Буранного Каранара! Елизаров, Елизаров! Отличный человек, знаток сарозеков, ученый... Когда Елизаров приезжал в Боранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров было ночами напролет...

За тем сидением поведали они гостям, то Казангап, то Едигей, продолжая и дополняя друг друга, сарозекское предание об истории прародительницы здешней породы верблюдов, о знаменитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на кладбище Ана-Бейит. Вот ведь откуда вел свой род Буранный Каранар! Боранлинцы надеялись, что, может быть, в газете какой напечатают об этой старинной истории. Гости с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он считал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что было, как он говорил, в ту историческую действительность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал немало степных преданий из прошлого...

Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый был Едигей. Оттого и сказал не подумав. Выпил ведь все-таки с гостями. Но что сказано, то сказано.

— А что, Казаке, признайся, — сказал он Казангапу, — не жалеешь ли, грешным делом, что подарил мне сосунком Каранара?

Казангап глянул на него с усмешкой. Видимо, не ожидал такого. И, помолчав, ответил:

— Все мы люди, конечно. Но знаешь, есть такой закон, дедами еще сказанный: мал иеси кудайдан⁸. Это дело от бога. Так суждено. Именно твоим должен быть Каранар и именно ты его хозяином. А попади он, скажем, в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может, и не выжил бы, окошел и мало того что еще могло приключиться. Упал бы с обрыва. Тебе он должен был принадлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и неплохие. И от этой же матки, от Белоголовой, от которой Каранар. А у тебя он был один-единственный, даренный... Дай бог, чтоб сто лет тебе он служил. Только напрасно ты так думаешь...

— Ну извини, извини, Казаке, — застыдился Едигей, сожалея, что ляпнул такое.

И в продолжение их разговора поделился Казангап своим наблюдением. По преданию, золотая matka Акмая принесла семерых детенышей — четырех маток, трех самцов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, белоголовые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каштановой масти. Оттого Каранар и уродился таким. От белоголовой матки черный верблюд. Это первый признак его происхождения от Акмаи, и с тех пор кто его знает, сколько лет прошло, две-

⁸ Хозяин скотины от бога.

сти, триста, пятьсот или больше, но в сарозеках род Акмаи не переводится. И нет-нет да появится такой верблюд-сырттан⁹, как Буранный Каранар. А Едигею просто-напросто повезло. На его мужицкое счастье, народился Каранар и попал в его руки...

А когда пришло время что-то делать с Каранаром — или кастрировать, или держать его в оковах, потому что стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убегал, пропадал где-то по несколько суток,— Казангап прямо сказал Едигею, когда тот стал советовать с ним:

— Это дело твое. Хочешь спокойной жизни — оскопи. Хочешь славы — не тронь. Но тогда бери на себя весь ответ, если что. Хватит сил и терпения — подожди, перебунтует года три и будет потом за тобой ходить.

Не тронул Едигей Буранного Каранара. Нет, не посмел, рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были моменты — умывался кровавыми слезами...

V

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Рано утром все было готово. Наглухо запеленатое в плотную кошму и перевязанное снаружи шерстяной тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в прицепную тракторную тележку, предварительно подостлав на дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вечеру, не позднее пяти-шести часов, успеть вернуться с кладбища. Тридцать километров в один конец да столько же в другой да там само захоронение — вот и получается, что поминки справлять придется где-то только около шести вечера. С тем и отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам. И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и обряженного еще со вчерашнего вечера Каранара, Буранный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся. Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым, сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, сивоусый и сивобровый Едигей был в лучшем наряде — хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в черном пиджаке поверх белой рубашки и на голове выходная железно-дорожная фуражка. На груди его поблескивали все боевые ордена, медали и даже значки ударника пятилеток. Все это ему шло и придавало внушительность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть Буранный Едигей на похоронах Казангапа.

На проводы собрались все боранлинцы от мала до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины не переставая плакали. Как-то само собой вышло, Буранный Едигей сказал собравшимся:

— Мы сейчас отправляемся на Ана-Бейит, на самое почитаемое старинное кладбище в сарозеках. Покойный Казангап-ата заслужил этого. Он сам завещал похоронить его там.— Едигей задумался, что сказать еще, и продолжил:— Стало быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде ровно сорок четыре года. Можно сказать — всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в

⁹ Сырттан — сверхсущество, например сверхсобака, сверхволк.

цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда шли и путь им был всегда готов. Он честно отслужил свой век на Боранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем и незачем ехать. Да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И мы все сделаем как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь, по возвращении все собирайтесь на поминки, зову от имени его детей, вот они — сын и дочь его...

Хотя Едигей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись. Боранлинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач — то голосили вслед Айзада и Укубала...

И когда смолкли позади выкрики и они вшестером, все дальше уходя от железной дороги, углубились в сарозеки, Буранный Едигей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе и он знал, что надо делать.

Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом сарозекские просторы. Пока еще было прохладно в степи и ничто внешне не отягощало их движения. В целом мире привычно и недоступно парили в выси только два коршуна да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щербеча и трепыхая крыльшками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят», — отметил про себя Едигей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек. И опять вспомнилась ему почему-то та лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам — не идет ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимающейся той ночью над сарозеками в космос. Удивляясь странным мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был далек...

Восседая на своем Каранаре, Буранный Едигей ехал впереди, указывая направление на Ана-Бейит. Широким, размашистым тротом шел под ним Каранар, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека Каранар был особенно красив на ходу. Голова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги, длиннющие и сухожильные, стригли воздух, неумоимо отмеряя шаги по земле. Едигей сидел между горбами прочно, удобно, уверенно. Он был доволен, что Каранар не требовал понуканий, шел, легко и чутко улавливая указания хозяина. Ордена и медали на груди Едигея слегка позванивали на ходу и отсвечивали в лучах солнца. Но это ему не мешало.

Следом за ним катился трактор «Беларусь» с прицепом. В кабине возле молодого тракториста Калибека сидел Сабитжан. Вчера он все же порядочно выпил, занимая боранлинцев всякими байками о радиоуправляемых людях и всякой другой болтовней, а теперь был подавлен и молчалив. Голова Сабитжана болталась из стороны в сторону. Едигей опасался, как бы не разбились его очки. В прицепной тележке рядом с телом Казангапа сидел, пригорюнившись, муж Айзады. Он щурился на солнце и изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алкоголик на сей раз проявил себя с лучшей стороны. Ни капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех делах и при выносе покойника особенно усердствовал, подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примоститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет, — сказал он, — я буду сидеть рядом с тестем, сопроводить его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил и все боранлинцы. И когда выезжали они с места, то больше всех и громче всех плакал именно он, сидя в прицепной тележке, придерживая войлочный сверток с телом умершего. «А что, вдруг человек возьмется

за ум да бросит питы! Какое счастье было бы для Айзады и детей», — обнадежился даже Едигей.

Эту маленькую и странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал колесный экскаватор «Беларусь». В его кабине ехали Эдильбай и Жумагали. Черный, как негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно он управлял этой машиной на разных путевых работах. На Боранлы-Буранном он появился сравнительно недавно, и еще трудно было сказать, надолго ли задержится здесь. Рядом с ним, возвышаясь на целую голову, ехал Длинный Эдильбай. Всю дорогу они о чем-то оживленно разговаривали.

Надо отдать должное начальнику разъезда Оспану. Это он выделил на похороны всю наличную технику, которой располагал разъезд. Правильно рассудил молодой начальник разъезда — если ехать в такую даль да еще вручной копать могилу, вряд ли они успеют обернуться к вечеру, ведь яму нужно копать очень глубокую и с боковой нишей, по мусульманскому обычаю.

Поначалу Буранного Едигея это предложение несколько озадачило. Ему и в голову не приходило, чтобы вздумалось кому могилу копать не собственными руками, а с помощью экскаватора. Сидел он при этом разговоре перед Оспаном, хмурия лоб в раздумье, полный сомнений. Но Оспан нашел выход, убедил старика:

— Едике, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего не смущало, начните вначале копать вручную. Ну, скажем, первые лопаты. А потом экскаватором в два счета. Грунт в сарозеках ссохшийся, как камень, сами знаете. Экскаватором углубитесь сколько надо, а под конец опять вручную возьметесь, отделку, так сказать, завершите. И время сэкономите и соблюдете все правила...

И вот теперь по мере удаления в сарозеки Едигей находил совет Оспана вполне разумным и приемлемым. И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так они и поступят, бог даст, достигнув Ана-Бейита. Так и следует — выберут на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной Каабы, начнут для затравки заступом да лопатами, которые они везут с собой в прицепе, а когда чуть углубятся, пустят экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку — казанак — и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрее и верней.

С этой целью они следовали в тот час по сарозекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких логах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин, — впереди Буранный Едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь» со скрепом бульдозерным впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади.

Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, Едигей, к своему великому изумлению, только сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те на! При выезде из Боранлы-Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экий хитрец! Как приметит, что Едигей на Каранаре отправляется куда-то, уж он выберет момент, примкнет в попутчики. Вот и в этот раз возник как из-под земли. Бог с ним, решил Едигей. Гнать его назад было уже поздно, да и не стоило терять время из-за собаки. Пусть себе бежит. И словно бы отгадав мысли хозяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку Каранара. Едигей пригрозил ему кнутовищем. Но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу. Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умным, спокойным взором, рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен.

Между тем разные мысли навещали Едигея по пути на Ана-Бейит. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все о том же, о житье-бытье былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде, другие-то не очень задерживались на Боранлы-Буранном, как приходили, так и уходили. Им с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать по разъезду всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко — молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего.

Однажды на заносах двое суток не покладая рук бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно — не то слово: лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться — и опять за это гиблое сарозекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колеса с верхом. Трое из новоприбывших рабочих к ночи в тот день ушли. Обматерили сарозекскую жизнь на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались, а наутро, когда пошли поезда, свистнули на прощание:

— Эй, дуrolомы, хрен вам в зубы!

Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их, а так случилось, подрались они на том заносе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало неважно работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом оставались вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут, твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а Едигей на волокуше погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег, хоть убей, вконец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.

— Хватит, Казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода, — проговорил Едигей, хлопая одна о другую смерзшимися рукавицами.

— Погода какая была, такой и будет. Все равно наша работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять.

— Да что мы, не люди?

— Не люди — волки да разное зверье — по норам сейчас попрятались.

— Ах ты гад! — взъярился Едигей. — Да тебе хоть подохни, и ты сам здесь подохнешь! — И двинул его по скуле.

Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хорошо еще коचेгар выпрыгнул из паровоза, разнял вовремя.

Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сыщешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоронить. Осталось упрятать покойника под землю с прощальными словами над ним — и на том аминь!

Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя полузабытые молитвы, чтобы выверить заведенный порядок слов, восстановить точнее в памяти последовательность мыслей, обращенных к богу, ибо только он один, неведомый и незримый, мог примирить в сознании человеческом непримиримость начала и конца, жизни и смерти. Для того, наверно, и сочинялись молитвы. Ведь до бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет человек с тех пор, как мир стоит, — не согла-

шаясь, примиряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и говорится в них все то же — чтобы не роптал понапрасну, чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные тысячелетиями, как слитки золота,— последние из последних слов, которые обязан произнести живой над мертвым. Таков обряд.

И думалось ему еще о том, что независимо от того, есть ли бог на свете или его вовсе нет, однако вспоминает человек о нем большей частью, когда приспичит, хотя и негоже так поступать. Оттого, наверное, и сказано — неверующий не вспомнит о боге, пока голова не заболит. Так оно или не так, но молитвы все-таки знать надо.

Глядя на своих молодых попутчиков на тракторах, Буранный Едигей искренне сокрушался и сожалел — никто из них не знал никаких молитв. Как же они будут хоронить друг друга? Какими словами, объемлющими начало и конец бытия, заключат они уход человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить»? Или еще какую-нибудь ерунду?

Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах в областном городе. Диву дался Буранный Едигей — на кладбище все равно что на собрании каком: перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же — кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил, а потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познания людей от века в той череде бытия и небытия, как будто бы до этого никто не умирал на свете и после того как будто никто не должен был умереть. Несчастные, они были бессмертны! Так и заявляли вопреки очевидному: «Он ушел в бессмертие!»...

Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты Буранного Каранара ему, седоку, все было видно впереди на далекое расстояние. Он старался держать путь по сарозекам на Ана-Бейит как можно прямее, допуская отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было миновать рытвины.

И все шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо, но они преодолели уже треть пути... Буранный Каранар рысил неутомимым тротом, чутко улавливая повеления хозяина. За ним следовал, таракта, трактор с прицепом и за прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь».

И, однако же, впереди их ждали непредвиденные обстоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало, имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек...

Авианосец «Конвенция» находился в тот час на своем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско.

Погода на океане не изменилась. В течение первой половины дня все так же ослепительно сияло солнце над бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на горизонте не предвещало каких-либо атмосферных изменений.

На самом же авианосце все службы находились в напряжении — в полной рабочей готовности, включая авиакрыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких конкретных причин для этого в реальном окружении не было. Причины были за пределами Галактики.

Поступившие на борт «Конвенции» через орбиту «Трамплин» сообщения от паритет-космонавтов с планеты Лесная Грудь привели руководителей Обценупра и членов особоуполномоченных комиссий в полное смятение. Замешательство было настолько сильным, что обе стороны решили вначале провести раздельные совещания, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь затем только собраться для общих суждений.

Мир еще не знал о беспрецедентном в истории Вселенной открытии — о существовании внеземной цивилизации на планете Лесная Грудь. Даже правительства сторон, поставленные в известность в строго секретном порядке о самом происшествии, не имели сведений пока о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную точку зрения компетентных комиссий. На всей территории авианосца был установлен строгий режим — никто, включая авиакрыло, не имел права покидать свое место. Никто ни под каким предлогом не имел права покидать судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к «Конвенции» в радиусе пятидесяти километров. Самолеты, пролетавшие в этом районе, изменяли курс, чтобы не подойти ближе чем на триста километров к месту нахождения авианосца.

Итак, общее заседание сторон было прервано и каждая комиссия совместно со своими соруководителями программы «Демииург» обсуждала донесения паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, переданные ими с неизвестной науке планеты Лесная Грудь.

Слова их прибыли из немыслимой астрономической дали:

«Слушайте, слушайте!

Мы ведем трансгалактическую передачу для Земли!

Невозможно объяснить все то, что не имеет земного названия. Однако много общего.

Они человекоподобные существа, такие же люди, как мы! Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработала модель гоминида по универсальному принципу! Это прекрасные типы гоминидов-инопланетян! Смуглая кожа, голубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми пушистыми ресницами.

Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах, когда они примкнули к нашей орбитальной станции. Они улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе.

И мы перешагнули из одной цивилизации в другую.

Винтовой летательный аппарат отчалил, и со скоростью света, которая фактически никак не ощущалась внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток времени, во Вселенную. Первое, на что мы обратили внимание и что принесло нам неожиданное облегчение, это отсутствие состояния невесомости. Каким образом это достигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские и английские слова, они произнесли первую фразу: «Вел ком наш Галактик!» И тогда мы поняли, что при проявлении известной чуткости сможем обмениваться мыслями. Эти голубоволосые существа высокого роста, около двух метров, — их было четверо-пятеро мужчин и женщина. Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими формами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных арабов. С первых минут мы почувствовали к ним доверие.

Трое из них — пилоты летательного аппарата, а один мужчина и женщина — знатоки земных языков. Это они впервые изучили и систематизировали путем радиоперехвата в космосе английские и русские слова и составили земной словник. К моменту нашей встречи они освоили значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов. С помощью этого лингвистического запаса и началось наше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминающем испанский.

Через одиннадцать часов после отлета от «Паритета» мы вышли за пределы нашей Солнечной системы.

Этот переход из одной Галактики в другую совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь. Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по курсу (видимо, таково было в тот момент расположение и состояние иносистемных тел) постепенно высветлялось алеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалось вдали в безграничное световое пространство. Тем временем мы миновали: по

пути несколько планет, затемненных в тот час с одной стороны и освещенных с другой. Множество солнц и лун пронеслись в обозримых пространствах.

Мы как бы выносились из ночи в день. И вдруг — влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исходящий от великого и могучего Солнца в неведомом доселе небе.

— Мы в нашей Галактике! Вот светит наш Держатель! Скоро покажется наша Лесная Грудь! — объявила женщина-лингвист.

И действительно, в неизмеримой высоте новой Вселенной мы увидели новое для нас Солнце, именуемое Держателем. По интенсивности излучения и величине своей Держатель превосходил наше Солнце. Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем, что сутки на планете Лесная Грудь составляют двадцать восемь часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего.

Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следующий раз или по возвращении на «Паритет», а сейчас лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окружена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, на расстоянии пяти-шести тысяч метров от поверхности, — лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный полет — это зрелище невиданной красоты: горы, хребты, холмы сплошь в ярко-зеленом покрове, между ними реки, моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в окраинных, полюсных, — огромные пятна безжизненных пустынь, там стоят пыльные бури. Но самое большое впечатление произвели на нас города и поселения. Эти острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высоком уровне урбанизации. Даже Манхаттан не может идти ни в какое сравнение с тем, что являет собой градостроительство голубоволосых обитателей этой планеты.

Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют собой особый феномен разумных существ во Вселенной. Период беременности — одиннадцать лесногрудских месяцев. Продолжительность жизни велика, хотя сами они считают главнейшей проблемой общества и смысла существования удлинение жизни. Они живут в среднем сто тридцать — сто пятьдесят лет, а кое-кто доживает и до двухсот лет. Население планеты — свыше десяти миллиардов жителей.

Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематизированно изложить все, что касается образа жизни голубоволосых и достижений данной цивилизации. Поэтому фрагментарно сообщаем о том, что больше всего поразило нас в этом мире.

Они умеют добывать энергию — солнечную, или, вернее, держательную, — преобразуя ее в тепловую и электрическую с высоким коэффициентом полезного действия, превышающим наши гидротехнические способы, а также, что исключительно важно, они синтезируют энергию из разности дневных и ночных температур воздуха.

Они научились управлять климатом. Когда мы совершали обзорный полет над планетой, летательный аппарат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман в местах их скопления. Нам стало известно, что они способны влиять на движение воздушных масс и водных течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют процесс увлажнения и температурный режим на поверхности планеты.

Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с которой, насколько нам известно, мы еще не сталкивались на Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны управлять климатом. Они пока не знают дефицита в производстве продуктов питания. Это при таком-то огромном количестве населения, в два с лишним раза превышающем людской род на Земле. Но значительная часть планеты постепенно становится непригодной для жизни. В таких местах вымирает все

живое. Это явление так называемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в недрах планеты — возможно, это сродни нашим вулканическим процессам, но только это, пожалуй, какая-то форма медленного рассеянного лучевого извержения,— поверхностный грунт разрушается, теряет свою структуру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой части Лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каждым годом шаг за шагом наступает на жизненное пространство голубоволосых инопланетян. Для них это самое большое бедствие. Они еще не научились управлять процессами, происходящими в глубинах планеты. На борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыхания брошены лучшие силы, огромные научные и материальные средства. У них нет Луны в их галактической системе, но они знают о нашей Луне и уже посещали ее. Они предполагают, что наша Луна претерпела, возможно, нечто подобное. Узнав об этом, мы несколько призадумались — от Луны ведь не так далеко до Земли. Готовы ли мы к этой встрече? И каковы могут быть последствия как внешнего, так и внутреннего характера? Не подумают ли люди, что они многое потеряли в своем интеллектуальном развитии из-за вечных неувязок на Земле?

В настоящее время в научных кругах Лесногрудии ведется общепланетная дискуссия — следует ли наращивать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего иссыхания и искать способы приостановки этой потенциальной катастрофы или же следует заблаговременно найти во Вселенной новую планету, отвечающую их жизненным потребностям, и начать со временем массовое переселение на новое местообитание с целью перенесения и возрождения лесногрудской цивилизации. Пока еще не ясно, куда, к какой новой планете устремлены их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете им еще жить да жить миллионы и миллионы лет, однако поразительно, что они уже теперь думают о столь далеко отстоящем будущем и охвачены таким пылом и деятельностью, точно эта проблема непосредственно касается ныне живущего народонаселения. Неужто ни в одной голове не мелькнула подленькая мысль: «А после нас хоть трава не расти»? Нам стало стыдно, что мы сами подумали об этом нечто подобное, когда узнали, что значительная часть общепланетного валового продукта идет на программу предотвращения внутреннего иссыхания недр. Они пытаются установить барьер на протяжении многих тысяч километров — по всей границе тихо наползающей пустыни — путем бурения сверхглубинных скважин, вгоняют в недра такие нейтрализующие долговременные вещества, которые, как полагают они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные реакции планеты.

Разумеется, у них есть и должны быть проблемы общественного бытия, то, чем извечно мучается разум, неся свой тяжкий крест,— проблемы нравственного, морального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно, не так просто протекает общежитие десяти с лишним миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни достигли. Но что самое удивительное при этом — они не знают государства как такового, не знают оружия, не знают, что такое война. Мы затрудняемся сказать — возможно, в историческом прошлом были у них и войны, и государства, и деньги, и все сопутствующие тому категории общественных отношений, однако на данном этапе они не имеют представления о таких институтах насилия, как государство, и таких форм борьбы, как война. Если придется объяснять суть наших бесконечных на Земле войн, не покажется ли им это бессмысленным или, более того, варварским способом решения вопросов?

Вся их жизнь организована на совершенно иных началах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в силу нашего земного стереотипа мышления.

Они достигли такого уровня коллективного планетарного созна-

ния, категорически исключающего войну в качестве способа борьбы, что остается только предполагать, что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть наиболее передовая в пределах всего мыслимого пространства во вселенской среде. Возможно, они достигли той степени научного развития, когда гуманизация времени и пространства становится главным смыслом жизнедеятельности разумных существ и тем самым продолжением эволюции мира в ее новой, высшей, бесконечной фазе.

Мы не собираемся сопоставлять несопоставимые вещи. Со временем и на нашей Земле люди придут к столь великому прогрессу, и нам есть чем гордиться уже и сейчас, и все-таки нас не покидает угнетающая мысль: а что, если человечество на Земле пребывает в трагическом заблуждении, уверяя себя, что якобы история — это есть история войн? А что, если этот путь развития был изначально ошибочным, тупиковым? В таком случае куда мы идем и к чему это приведет нас? И если это так, то успеет ли человечество найти в себе мужество признаться в этом и избежать тотального катаклизма? Оказавшись волею судеб первыми свидетелями внеземной общественной жизни, мы испытываем сложные чувства — страх за будущность землян и надежду, поскольку есть в мире пример великого общежития, поступательное движение которого лежит вне тех форм противоречий, которые разрешаются войнами...

Лесногрудцы знают о существовании Земли в сверхдалеких для них пределах мироздания. Они полны желания вступить в контакт с землянами не только из естественной любознательности, но, как полагают они, прежде всего ради торжества самого феномена разума, ради обмена опытом цивилизаций, ради новой эры в развитии мысли и духа вселенских носителей интеллекта.

Во всем этом они предвидят гораздо большее, чем можно бы подумать. Их интерес к землянам продиктован еще и тем, что в объединении общих усилий этих двух ветвей мирового разума они видят основной путь обеспечения беспредельной продолжительности жизни в природе, имея в виду то, что всякая энергия неминуемо деградирует и любая планета со временем обречена на гибель... Они озабочены проблемой «конца света» на миллиарды лет вперед и уже сейчас разрабатывают космологические проекты организации новой базы общения для всего живого во Вселенной...

Располагая летательными аппаратами со световой скоростью, они могли бы уже сейчас посетить нашу Землю. Но они не желают делать этого без согласия и приглашения самих землян. Они не желают вторгаться на Землю незваными гостями. При этом они дали понять, что давно искали повод для знакомства. С тех пор как наши космические станции превратились в долговременно пребывающие объекты на орбитах, им стало ясно, что приближается пора встречи и что им следует проявить инициативу. Они тщательно готовились, ждали удобного случая. Этот случай выпал на нашу долю, поскольку мы оказались в промежуточной среде — на орбитальной станции...

Наше пребывание на их планете произвело, вполне понятно, сенсацию. В связи с этим была включена в эфир система глобального телеконтактирования, применяемая лишь по великим праздникам. В светящемся вокруг нас воздухе мы как наяву видели рядом с собой лица и предметы, находящиеся на расстоянии тысяч и тысяч километров, и одновременно мы могли взаимообщаться — смотреть друг другу в лицо, улыбаться, пожимать руки, разговаривать, радостно, бурно восклицая и смеясь, точно бы это происходило в непосредственном контакте. Какие они красивые, лесногрудцы, и какие все разные, даже цвет голубых волос варьируется от темно-синего до ультрамаринового, а старики седеют, оказывается, так же, как и наши. И типы антропологические тоже разные, ибо они представляют разные этнические группы.

Обо всем этом и о многом другом не менее поразительном мы расскажем по возвращении на «Паритет» или на Землю. А сейчас о самом главном. Лесногрудцы просят нас передать через систему связи «Паритета» их желание посетить нашу планету тогда, когда это будет удобно землянам. А до этого они предлагают согласовать программу устройства промежуточной межгалактической станции, которая вначале послужила бы местом первых предварительных встреч, а в дальнейшем стала бы постоянной базой на пути взаимных следований. Мы обещали довести до сведения своих сопланетян эти предложения. Однако нас больше волнует в этой связи другое.

Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межгалактическим встречам, достаточно ли мы зрелы для этого как мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разобщенности и существующих противоречиях выступить в единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от имени всего человеческого рода, от имени всей Земли? Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперничества, борьбы за ложный приоритет передать решение этого вопроса только в ООН. Мы просим при этом не злоупотреблять правом вето, а возможно, на сей раз, как исключение, аннулировать такое право. Нам горько и тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной Галактике, но мы земляне и мы знаем свою обитель — планету Земля.

Наконец, о себе, еще раз о нашем поступке. Мы создаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту.

Пусть это будет на нашей совести и пусть мы понесем должное наказание. Но забудьте пока об этом. Внемлите! Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе галактической системы — светила Держателя. Голубоволосые лесногрудцы — творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, интересы Земли?..

Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней мере так нам кажется. Но, переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в нашем бытии, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на Лесногрудской планете, что именно такого сокровенного совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со своими братьями по разуму, с землянами, в таких формах, как это будет отвечать потребностям и достоинству обеих сторон.

Увлеченные, потрясенные открытием внеземной цивилизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы поведать людям обо всем том, чему мы явились свидетелями, оказавшись в запредельной Галактике, на одной из планет системы светила Держатель.

Мы намерены через двадцать восемь часов, то есть ровно через сутки, после данного сеанса радиосвязи вылететь в обратный путь на наш «Паритет». Прибыв на «Паритет», мы предоставим себя в полное распоряжение Обценупра.

А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим время нашего прибытия на «Паритет».

На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная

Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались...

Паритет-космонавт 1-2.
Паритет-космонавт 2-1».

Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в противоположную сторону — на Владивосток.

Авианосец «Конвенция» находился все там же, в районе своего постоянного местопребывания, — в Тихом океане, южнее Алеутов... На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при своем деле, каждый начеку... И все хранили молчание...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей...

Уже пройдена треть пути на Ана-Бейит. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь вроде застыло на одной точке над сарозеками. Значит, день стал днем. Стало по-дневному припекать.

Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные доли, Буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку.

«Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука — хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца, наверное, пока не помрешь!» Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время, беспрестанно о чем-то думает в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, мальчишке, превратиться в чайку и летать над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода.

Предосенние сарозеки с их пронзительной, грустной открытостью, мерный топот рысящего верблюда настраивали Буранного Едигея на дорожные раздумья, и он предавался им не противясь, благо впереди путь был длинный и ничто не нарушало их продвижения. Каранар, как всегда на больших расстояниях, разогревался при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну, — удовлетворенно усмехался про себя Едигей, — значит, ты уже весь в мыле! Ух ты зверюга, жеребчина эдакий! Дурной ты, дурной!»

Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангап был еще в силе и здравии, и в той цепи воспоминаний нагрнула на него нектати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогли. Он нашептывал их вслух снова и снова, повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел Буранный Едигей, без надобности приударяя то и

дело по бокам усердно трусившего верблюда, козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. Пусть едут следом, не отстают, какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории, о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд Боранлы-Буранный...

В году том, пятьдесят первым, уже в самом конце, зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей — мальчуганы. Старшему, Даулу, лет пять, а младшему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип был ровесник Едигею. Он еще до войны, молодым парнем, год учительствовал в аульной школе, а летом в сорок первом в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в сарозеки, на Боранлы-Буранный.

То, что они не от хорошей жизни очутились в сарозекской глухомани, стало ясно сразу. Абуталип и Зарипа могли бы вполне устроиться на работу и в других местах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого выхода у них не было. Поначалу боранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут куда глаза глядят. Не такие прибывали и убывали из Боранлы-Буранного. Этого мнения придерживались и он, Едигей, и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилось тем не менее сразу уважительное. Порядочные, культурные люди. Бедствующие. Работали как и все — и муж и жена. И шпалы таскали на горбу и на заносах стыли. В общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И надо сказать, хорошая, ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталип, оказывается, был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до боранлинцев, то они не стали себе голову ломать. Ну был человек в плену так был, война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. Иные вон по сей день мыкаются по свету как неприкаянные. Призрак войны все еще шастает по пятам... И потому боранлинцы распросами по такому поводу особенно не донимали приезжих, зачем душу людям травить, и без того хлебнули, должно быть, горя через край.

А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек. Едигея привлекало в нем то, что Абуталип в своем плачевном положении не был жалок. Держался достойно и понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что это судьба, выпавшая ему на долю. Жена его Зарипа, должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Примирившись внутренне с неизбежностью расплаты, они находили смысл жизни в какой-то необычной чуткости, близости друг другу. Как понял потом Едигей, этим они жили, этим они защищались, взаимно заслоняя друг друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи. Дети, сыновья, — для него это было все. Каждую свободную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал какие-то придуманные им игры. Когда они с женой уходили на работу, детишек поначалу оставляли одних в бараке. Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и быт у них к тому времени сложился гораздо удобней, чем у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи. Ведь у Едигея в те годы тоже подрастали дети, две девчущки, как раз одногодки с абуталиповскими ребятами.

Зайдя как-то за своими малышами после работы на перегоне, Абуталип предложил:

— Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь, на отшибе, конечно, скудная, так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуются сызмальства. Теперешний вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень. А иначе к образованию и не пробьешься.

И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буранный Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абуталипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в боранлинских условиях. Он как знал, он спешил дать им от себя как можно больше, он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип приходил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и Едигеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого лучше получится, слушали книги, которые читали им родители, и даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них здорово выходило. И Укубала забегала частенько вроде как по делу, а в действительности чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялась Буранный Едигей. Душа его умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя! Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку:

— Добрый вечер! Вот и пятый ученик ваш заявился в детсад.

И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы. При отце они очень старались. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы.

Вот такая семья приютилась в том году на Боранлы-Буранном. Но что странно — таким людям обычно не везет.

Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, но, на счастье или несчастье свое, совершив побег вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в сорок третьем году в рядах югославских партизан. В югославской освободительной армии Абуталип провоевал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в контрольно-фильтрационной комиссии по возвращении на родину в сорок пятом году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а было двенадцать. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская контрольная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделений освободительной армии Югославии и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами.

В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и отчаяния Абуталип Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без поражения прав, но и без тех привилегий, какие полагались нормальным демобилизованным. Абуталип Куттыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе. И здесь в одной райцентровской школе встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья, редко, но бывают. Не без этого в жизни.

А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованиями в воздухе замелькали первые снежинки

«холодной войны». А потом покрепчало. И сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках...

На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-то другим, ему подобным.

Рассказывая ученикам восьмого класса о европейской части света, Абуталип Куттыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские Альпы на каменоломни и как оттуда им удалось, разоружив охрану, бежать к югославским партизанам, рассказал, что он прошел пол-Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, с жизнью местного населения и что все это в учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца.

Его указка ходила по сине-зелено-коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске, его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы, и, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обагрив кровью траву и камни, та алая кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь, как закружилась тогда голова и потемнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь, падали горы и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменоломен: «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови.

Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталип Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии.

И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь:

— Агай¹⁰, значит, вы были в плену?

На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто, он стоял по стойке «смирно», и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы, у него был обратный прикус — нижний ряд зубов перекрывал, выступая, верхний ряд.

— Да, а что?

— А почему вы не застрелились?

— А почему нужно было убить себя? Я и так был ранен.

— А потому что недопустимо сдаваться во вражеский плен, есть такой приказ!

— Чей приказ?

— Приказ свыше.

— Откуда это тебе известно?

— Я все знаю. У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше?

— А твой отец был на войне?

— Нет, он занимался мобилизацией.

— Тогда нам с тобой трудно объясниться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было.

— Все равно вы должны были выполнить приказ.

— А ты чего придираешься? — С места поднялся другой ученик. — Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо?

¹⁰ Агай — учитель.

— Все равно он должен был выполнить приказ! — категорически утверждал тот.

И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина: «Должен был!», «Не должен!», «Мог!», «Не мог!», «Правильно!», «Неправильно!». Учитель грохнул кулаком о стол:

— Прекратите разговоры! Идет урок географии! Как я воевал и что со мной было, это знают кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте!

И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель медленно покатился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы...

Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию: бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в аульской школе. Вроде прижились, с жильем уладилось, Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события сорок восьмого года, связанные с Югославией. Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только как на бывшего военнопленного, но и как на сомнительную личность, долгое время пребывавшую в Югославии. И хотя он доказывал, что только партизанил с югославскими товарищами, это не принималось во внимание. Все понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Снова вызвали в районо, и опять повторилась история с заявлением об увольнении по собственному желанию...

Переезжая еще много раз с места на место, семья Абуталипа Куттыбаева в конце пятидесят первого года, среди зимы очутилась в сарозеках, на разъезде Боранлы-Буранный...

В пятьдесят втором году лето выдалось знойное сверх обычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени, что сарозекские ящерицы и те не знали, куда себя деть, прибежали, не боясь людей, на порог с отчаянно колотящимися глотками и с широко раскрытыми ртами — лишь бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поисках прохлады забирались невзвешенно в какую высь — их невозможно было разглядеть простым глазом. Лишь время от времени они давали знать о себе резкими одинокими выкриками и надолго умолкали затем в горячем, зыбщемся мареве.

Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Сколько поездов разминалось на Боранлы-Буранный. Никакая жара не могла повлиять на движение транспорта по великой государственной магистрали.

И все шло своим чередом. Работать на путях приходилось в рукавицах, голыми руками не притронуться было ни к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в цистерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась почти кипяченой. Одежда стирала на плечах за пару дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в сарозеках было, пожалуй, легче, чем в такую жару.

Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталипа.

— Не всегда у нас такое лето. Просто год такой нынешний, — оправдывался он, точно бы сам был в том повинен. — Еще дней пятнадцать, двадцать от силы, — и полегчает, спадет жара. Будь она проклята, замучила всех. А бывает у нас тут, в сарозеках, к концу лета перелом, враз меняется погода. И тогда всю осень вплоть до самой

зимы благодать — прохлада стоит, скот тело набирает. Сдается мне — на то приметы есть, — в этом году будет такой оборот. Так что потерпите, осень будет хорошая.

— Значит, гарантируешь? — понимающе улыбался Абуталип.

— Можно сказать, почти.

— И на том спасибо. Вот я сию сейчас как в бане. Но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдержим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко... Смотреть не могу...

Дети боранлинцев изнывали, томились, с лица спали, и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так потребных детскому миру. Весной, когда сарозеки ожили и ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, то-то было раздолье детворе. Играли в мяч, в прятки, убегали в степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их далеко разносящиеся голоса.

Лето сокрушило все. И ребят непоседливых сморила непомерная жара. От нее они прятались в тени под стенами домов, выглядывая оттуда, только когда проходили поезда. Это было их развлечением — подсчитывали, сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в другую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько товарных. А когда пассажирские составы, проходя через разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то поезд остановится, и они бежали вдогонку, запыхавшись, заслоняясь ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла, и тяжело было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-боранлинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настезь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса.

За детей они все переживали тем летом, все взрослые, отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, понимал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зарипой как раз и случился у них первый разговор об этом. В том разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих.

Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками, в промежутках между проходящими поездами. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталип взял опустевший бидон и пошел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята.

Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то, что палило. Спешил побыстрее к детишкам, ему было не до себя. Вылинявшая майка неопределенного грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи, на голове пожухлая соломенная шляпа, штаны болтались на исхудавшем теле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, то даже не оглянулся.

— Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?! — крикнул Едигей.

Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на проносившийся мимо состав. И не видел, как грозил ему кулаком машинист.

На войне, в плену человек не поседел, помоложе, конечно, был, на фронт уходил девятнадцати лет, младшим лейтенантом. А тем летом седина пошла. Сарозекская. Причем быстро замелькала непрощеной белизной то там, то тут в плотной, густой, гривастой шевелюре и на висках стала преобладать, поседел виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным мужчиной. Широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми, удлинненными глазами, был он ладный, хорошего роста. Зарипа торько

подшучивала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Отелло играть на сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я тебя придушил как последний идиот, зачем это тебе надо!»

Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади поезд встревожила Едигея не на шутку.

— Ты бы сказала ему, что ж он так,— полуупрекая, сказал он Зарипе. — Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать?

Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица.

— Боюсь я за него.

— А что?

— Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя. Казнится он и за детей и за меня. Ведь когда я вышла замуж, не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь, и дети твои и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это самый лучший выход для него!» А мы поступили по-своему. Надеялись: раз кончилась война, какие счета у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от его и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака. И что он ничего общего не имеет со мной и тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время в Югославии, как Абуталип Куттыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот теперь мы здесь, дальше некуда.

Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они сошли с линии, унося с собой лопаты и носилки.

Едигей чувствовал, что должен чем-то помочь, когда люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить, беда была далеко за пределами его сарозеков.

— Мы тут живем уже много лет. И вы привыкнете, приспособитесь. А жить надо,— подчеркнул он, глядя ей в лицо, и подумал: «Да-а, горек сарозекский хлеб. Когда приехали зимой, белолицая была еще, а теперь лицо как земля,— отмечал он, сожалея о ее меркнувшей на глазах красоте.— Волосы какие были — повыгорели, ресницы и те опалило солнцем. Губы полопались от крови. Совсем худо ей. Непривычная к такой жизни. Однако держится, не отступается. А куда теперь отступать — двое детей. Все равно молодец...»

Тем временем, взвихривая жгучее стояние воздуха, протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь, очередной состав. Они снова поднялись с инструментом на полотно — продолжить работу.

— Слушай, Зарипа,— сказал Едигей, пытаясь как-то укрепить ее дух, примирить с реальностью.— Для детей тут, конечно, тяжело, не спорю. У самого, как посмотрю на ребятшек наших, сердце болит. Но ведь не век жара будет колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать, вы здесь не одни, в сарозеках, люди есть вокруг, мы есть, на худой конец. Что ж теперь убиваться, раз так случилось в жизни.

— Вот и я об этом говорю ему, Едике. Я ведь стараюсь всячески не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю, каково ему.

— И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать тебе, Зарипа. Случая ждал. Да ты сама все знаешь. Просто к слову пришлось. Извини.

— Бывает, конечно, невоготу. И себя жалко и его жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не виноват, а чувствует себя повинным, что завез нас сюда. И изменить ничего не может. Что и говорить, в наших краях, среди алатауских гор и рек, совсем другая жизнь и климат совсем другой. Детей хотя бы на лето могли бы отправить туда.

Но к кому? Стариков у нас нет, рано поумирали. Братья, сестры, родственники... Их тоже трудно судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас, а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся, боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух об этом не говорим. Но я вижу, каково ему... Что нас ждет впереди, одному богу известно...

Они тяжело замолчали. И потом уже не возвращались к этому разговору. Работали, пропускали поезда по линии и снова брались за дело. А что оставалось? Как еще было утешить, как помочь им в их беде? «Конечно, по миру не пойдешь,— думал Едигей,— жить им будет на что, вдвоем работают. Насильно их вроде никто не заточал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни послезавтра».

И еще удивлялся Едигей самому себе, своей обиде и горечи за эту семью, будто бы их история касалась лично его. Кто они ему? Мог же он сказать себе — дело это не его ума, ему-то, собственно, что? Да и кто он есть такой, чтобы судить да рядить о неположенных ему вещах? Работяга, степняк, каким несть числа на свете, ему ли негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть вопросами, что справедливо и что несправедливо в жизни. Ведь наверняка там, откуда все это происходит, знают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И все равно не мог успокоиться. И почему-то больше болел он душой за нее, Зарипу. Удивляла и покоряла его ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с невзгодами. Она походила на птицу, которая пыталась крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая поплакала бы, поплакала да покорилась бы, поклонилась родне. А она расплачивалась на равных с мужем за прошлое войны. И именно это обстоятельство больше всего и вопреки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа... Бывали потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угодно было поселить эту семью на Боранлы-Буранным. Зачем ему эти переживания? Не знал бы, не ведал ничего такого и жил спокойно, как прежде...

VI

Ко второй половине дня на Тихом океане южнее Алеутов зашевелились волны. Юго-восточный ветер, возникший с низовий американского материка, постепенно набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое направление. И вода пришла в движение на огромном открытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и все чаще укладывая волны рядами, грядами одну к другой. Это предвещало если не шторм, то долговременное волнение.

Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом океане не представляли опасности. В другой раз он и не подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно возвращавшихся самолетов особоуполномоченных комиссий после консультаций с вышестоящими инстанциями, авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вначале сел сан-францисский, а затем владивостокский лайнер.

Комиссии вернулись в полном составе, одинаково молчаливые и озабоченные. Через пятнадцать минут они уже сидели за столом закрытого совещания. Через пять минут после начала работы комиссий в космос, на борт орбитальной станции «Паритет» была отправлена для передачи паритет-космонавтам 1-2 и 2-1 в Галактику Держателя срочная шифрованная радиограмма: «Космонавтам-контролерам 1-2 и 2-1 орбитальной станции «Паритет». Предупредить паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, находящихся за пределами Солнечной системы, не предпринимать никаких действий. Оставаться на месте до особого указания Обпенупра».

После этого, не теряя ни минуты, особоуполномоченные комиссии приступили к изложению своих позиций и предложений сторон по разрешению космического кризиса...

Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бесконечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире не знал, что на его борту в это время решалась глобальная судьба планеты...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Оставалось еще часа два пути до кладбища Ана-Бейит. Похоронная процессия двигалась по сарозекам тем же манером. Указуя направление, впереди восседал на верблюде Буранный Едигей. Его Каранар все так же шел в голове размашистым неутомимым ходом, следом попевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его зять, муж Айзады, и за ними — экскаватор «Беларусь». А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанавливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же деловито и уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс.

Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оставалась большая часть расстояния, а великие сарозеки являли взору за каждой грядой все новые и новые пустынные земли, простирающиеся всякий раз до самой черты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в этих местах обитала недоброй памяти жуаньжуаны, пришельцы, захватившие на долгое время почти всю сарозекскую округу. Жили в этих местах и другие кочевые народы, и между ними происходили постоянные войны за выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и победители и побежденные все равно оставались в этих же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои территории. Елизаров говорил, что сарозеки как жизненные пространства стояли этой борьбы. Тогда здесь выпадало больше дождей и весной и осенью. Трав хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат якобы резко изменился — перестали выпадать дожди, пересохла колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись пришлые на сарозеки народы и племена кто куда, а жуаньжуаны вовсе исчезли. Двинулись к Эдилю, так называлась тогда Волга, и канули в приэдилской стороне в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и никто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что настигло их проклятье — когда переходили они скопом Эдиль зимой, лед на реке вдруг раздвинулся и все они вместе с табунами и стадами ушли под лед...

Коренные сарозекцы — казахские номады и в те времена не покинули свой край, держались в тех местах, где удавалось добыть воду в заново прорытых колодцах. Но самое оживленное для сарозеков время совпало с послевоенными годами. Появились автомашины — водовозы. Один водовоз, если водитель хорошо знал местность, мог обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы пастбищ в сарозеках — колхозы и совхозы прилегающих областей — подумывали уже об устройстве постоянных сарозекских баз для отгонного животноводства. Прикидывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйствам такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незаметно да неприметно возник в окрестностях Ана-Бейита город без названия — Почтовый ящик. Так и говорили — поехал в Почтовый ящик, был в Почтовом ящике, купили в Почтовом ящике, видел в Почтовом ящи-

ке... Почтовый ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посторонних. Асфальтированная дорога связывала его с одной стороны с космодромом, с другой — с железнодорожной станцией. С того и началось новое, индустриальное заселение сарозеков. От всего прошлого в той стороне только и осталось кладбище Ана-Бейит на двух соприкасающихся, как верблюжьих горбы, пригорках-близнецах — Эгиз-Тюбе, самое почитаемое место захоронения во всей сарозекской округе. В старые времена хоронить сюда привозили порой из таких дальних уголков, что приходилось людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных на Ана-Бейите законно гордились тем, что оказали памяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых уважаемых и известных в народе людей, долго живших, много знавших, заслуживших добрую славу словом и делом. Елизаров, тот все знал, он называл это место сарозекским пантеоном.

Сюда и приближалась в тот день странная, сопровождаемая собакой верблюдо-тракторная похоронная процессия с железнодорожного разъезда Боранлы-Буранный...

У кладбища Ана-Бейит была своя история. Предание начиналось с того, что жуаньжуаны, захватившие сарозеки в прошлые века, исключительно жестоко обращались с пленными воинами. При случае они продавали их в рабство в соседние края, и это считалось счастливым исходом для пленного, ибо проданный раб рано или поздно мог бежать на родину. Чудовищная участь ждала тех, кого жуаньжуаны оставляли у себя в рабстве. Они уничтожали память раба страшной пыткой — надеванием на голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто обривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. К тому времени, когда заканчивалось бритье головы, опытные убийщики-жуаньжуаны забивали поблизости матерого верблюда. Освежевшая верблюжью шкуру, первым делом отделяли ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив выю на куски, ее тут же в парном виде напяливали на обритые головы пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие современных плавательных шапочек. Это и означало надеть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало на пять-шесть шири. После надевания шири каждого обреченного заковывали деревянной шейной колодой, чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы не доносились понапрасну их душераздирающие крики, и бросали там в открытом поле, со связанными руками и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка длилась несколько суток. Лишь усиленные дозоры стерегли в определенных местах подходы на тот случай, если соплеменники плененных попытались бы выручить их, пока они живы. Но такие попытки предпринимались крайне редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые передвижения. И если впоследствии доходил слух, что такой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже самые близкие люди не стремились спасти или выкупить его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего человека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в предании под именем Найман-Ана, не примирилась с подобной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит — Материнский упокой.

Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским солнцем. В живых оставались один или два манкуртата из пяти-шести. Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего солнца, шири стискива-

ло, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Последние испытания сопровождались полным помутнением рассудка. Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставляли в живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой, освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников. Существовало даже правило — в случае убийства раба-манкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного соплеменника.

Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное — восстание раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением — ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей — и тогда он бесшумно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал...

Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в иступленном горе и отчаянии:

«Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба на губы упала, — стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя ненавистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех светил в мире?»

Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял средь пус-

тыни, когда ты орал и метался, взывая к богу днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем из тела, перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной,— проклял ли ты из последних сил бога, что сотворил всех нас в покинутом им самим мире?

Когда сумрак затмения застилал навсегда изувеченный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой, неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал ты в диких метаниях взгляд матери, шум речки подле горы, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики людей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы померкло, что тебе улыбалась стыдливо,— разве не проклял ты, падая в бездну беспомысленности, мать свою страшным проклятием за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня?..»

История эта относилась к тем временам, когда, вытесненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели непрерывные войны с целью расширения владений и захвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взяли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному нашествию возросло. Начались ожесточенные столкновения. Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, напротив, стремились прочно утвердиться в этих обширных для степного скотоводства краях. Местные же племена не примирялись с такой утратой и считали своим правом и долгом рано или поздно изгнать захватчиков. Как бы то ни было, большие и малые сражения шли с переменным успехом. Но и в этих изнурительных войнах были моменты затишья.

В одно из таких затиший купцы, пришедшие с караваном товаров в найманские земли, рассказывали, сидя за чаем, как минули они сарозекские степи без особых помех у колодцев со стороны жуаньжуанов, и упомянули о том, что встретили в сарозеках одного молодого пастуха при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним разговор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый, и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Наверно, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются, и обличьем недурен, а обмолвишься словом — вроде как вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О чем ни спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и все время за шапку держится, плотно надев его на голову. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, бывают такие манкурты, у которых верблюжья кожа местами навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голове не даст притронуться. Такие шапку не снимают ни днем, ни ночью, в шапке спят... И, однако, продолжали гости, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал — зорко следил, пока караванчики не удалились достаточно от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один погонщик решил разыграть на прощание того манкурта:

— Путь далекий у нас впереди. Кому привет передать, какой красавице, в какой стороне? Говори, не скрывай. Слышишь? Может, плачток передать от тебя?

Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом проронил:

— Я каждый день смотрю на луну, а она на меня. Но мы не слышим друг друга... Там кто-то сидит...

При том разговоре присутствовала в юрте женщина, разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана. Под этим именем осталась она в сарозекской легенде.

Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Никто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть, как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней порасспросить купцов о том молодом манкурте, но именно этого она испугалась — узнать больше, чем было сказано. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тревогу, как вскрикнувшую раненую птицу... Тем временем разговор в кругу зашел о чем-то другом, никому уже дела не было до несчастного манкурта, мало ли какие случаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сладить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках, словно бы она действительно придушила ту вскрикнувшую птицу в себе, и только пониже опустила на лицо черный траурный платок, давно уже ставший привычным на ее поседевшей голове.

Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман-Ана поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная, страшная мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно уже загаившееся в смутном предчувствии сомнение, что сын лег на поле брани... И лучше, конечно, было дважды похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.

Ее сын был убит в одном из сражений с жуаньжуанами в сарозекской стороне. Муж погиб годом раньше. Известный, прославленный был человек среди найманов. Потом сын отправился с первым походом, чтобы отомстить за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Сородичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это оказалось невозможно. Многие в той большой схватке видели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын ее, на гриву коня и конь, горячий и напуганный шумом битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, но нога застряла в стремях и он повис замертво сбоку коня, а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, лошадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмотря на жаркий кровопролитный бой, где каждый должен был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдогонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и подобрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуанов, находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из найманов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело раненный, повернул назад и едва успел прискакать в свои ряды, здесь рухнул наземь. Случай этот помог найманам вовремя обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который готовился нанести удар с фланга в самый решающий момент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппироваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже не было дело до того, что случилось с их молодым ратником, с сыном Найман-Аны... Раненый найман, тот, что успел прискакать к своим, рассказывал потом, что, когда они ринулись за ним вослед, конь, поволочивший ее сына, быстро скрылся из виду в неизвестном направлении...

Несколько дней подряд выезжали найманы на поиски тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его оружия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том, что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже будучи раненым, за эти дни он умер бы в степи от жажды или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их молодой сородич остался непогребенным в безлюдных сарозеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, причитая:

— Расклевали его стервятники, растащили его шакалы. Как же смеее вы после этого ходить в мужских шапках на головах!..

И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опустевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но мысли о том, что сын остался брошенным на поле брани, что тело его не предано земле, не давала ей мира и покоя. Терзалась мать горькими, неиссякающими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе, и не к кому было обратиться, кроме как к самому богу...

Чтобы запретить себе думать об этом, она должна была убедить-ся собственными глазами в том, что сын был мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Больше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына. Конь не был сражен, конь в испуге бежал. Как всякая табунная лошадь, рано или поздно конь должен был вернуться к родным местам и притащить за собой труп всадника на стремяни. И тогда, как ни страшно то было бы, искричалась, исплакалась, навыв-лась бы она над останками и, раздирая лицо ногтями, все сказала бы о себе, горемычной и распроклятой, так, чтобы тошно стало богу на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в любой час, не цепляясь, не задерживаясь да-же мысленно, чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не наш-ли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо все утраты со временем при-тупляются и подлежат забвению... И только она, мать, не могла успо-коиться и забыть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадей, где остались сбруя, оружие — по ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что стало с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал себя поймать. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, волочившимся на стремяни, — зарыли в землю или бросили на растерзание степному зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..

Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстречавшемся им в сарозеках, не подозревали они, что тем самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны. Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все больше, все на-стойчивей, все сильнее завладевала ее умом и сердцем. Мать поняла, что не успокоится, пока, разыскав и увидев того манкурта, не убедит-ся, что то не сын ее.

В тех полустепных предгорьях на летних стоянках найманов про-текали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Най-ман-Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так ма-ло созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги, перед тем как двинуться в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как опасно и рискованно отпра-вляться в сарозеки в одиночку, но не желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело. Никто бы этого не понял. Даже самые близ-кие не одобрили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски давно убитого сына? И если по какой-то случайности он остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмысленно разыскивать его, понапрасну надирать сердце, ибо манкурт всего лишь внешняя обо-лочка, чучело прежнего человека...

Той ночью накануне выезда несколько раз выходила она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, старалась сосредоточиться, соб-раться с мыслями. Полуночная луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, обливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество белых юрт, раскиданных в разных местах по подножьям увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевавших здесь, у бе-регов шумливых речушек. Рядом с аулом, там, где располагались ове-

чьи загоны, и дальше, в логах, где паслись табуны лошадей, слышался собачий лай и невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переключки поющих девушек, бодрствующих у загонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти ночные песни... В этих местах стояли они каждое лето, сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся жизнь протекла в этих местах: и когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты — одну кухонную, одну гостиную и две жилых, — и потом, после нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна...

Теперь и она покидала свою одинокую юрту... Еще с вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских местах... Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмай! В том году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с крепкими длинными ногами, с упругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стоила большой цены, целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище, золотая матка в руках Найман-Аны, последняя память ее прежнего богатства. Остальное разошлось, как пыль, смывая с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши — поминки по погибшим... По сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа, всех найманов ближайшей округи.

На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана, как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях — уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери — морщины, глубоко избородившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», — прошептала она первую строку молитвы (нет бога кроме бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острастки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла — ей предстоит дорога...

Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим торкунам — родственникам по девичеству — погостить и что оттуда, если будут паломники, отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклонится храму святого Яссави...

Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал распросами.

Удалившись от аула, Найман-Ана повернула в сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна зашифрованная радиодиаграмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиодиаграмме в том же категорически-предупредительном тоне предлагалось не вступать с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, пребывающими вне Солнечной Галактики, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впрямь ждать указаний Обценупра.

На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунила, играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием.

Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были начеку — в полной готовности...

Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно прищаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая по логам и равнинам великой сарозекской степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных сарозеках. Здесь, в этой части сарозеков, неподалеку от протянувшегося на многие километры песчаного красноватого обрыва Малакумдычап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта, которого теперь разыскивала Найман-Ана. Вот уже второй день кружила она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но сколько она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь, степь, обманчивые миражи. Однажды уже поддавшись такому видению, проделала большой извилистый путь к воздушному городу с мечетями и крепостными стенами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке? И тогда она могла бы усадить его на Акмаю позади себя, и пусть попробовали бы их догнать... Тягостно было в пустыне, оттого и примерещилось такое.

Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное, человек здесь песчинка, но если при нем большое стадо, занимающее на выпасе обширное пространство, то рано или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.

Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже начала опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое место или более того — не отправили ли жуаньжуаны этих верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву или Бухару. Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?.. Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомнениями, об одном только и мечтала — лишь бы увидеть в живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее сын, живой, просто живой... Разве этого мало! Но углубляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться

тот пастух, которого встретили недавно проходившие здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и угнетал ее. И тогда она молила бога, чтобы то был не он, не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспрекословно примириться с тем, что сына нет и не может быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взглянуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрасны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и будет доживать свой век, как угодно будет судьбе... Но потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в сарозеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то ни значило...

В этом противоборстве чувств она вдруг увидела, перевалив через пологую гряду, многочисленное стадо верблюдов, сотни голов, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и зарослям колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит.

Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола человека. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахлобученной шапки на ее приближение.

И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила Найман-Ана, как скатилась со спины верблудицы. Показалось ей, что она упала, но до того ли было!

— Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! — Она бросилась к нему как через чащобу, разделявшую их. — Я твоя мать!

И сразу все поняла и зарыдала, топчя землю ногами, горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пытаясь остановиться и не в силах справиться с собой. Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подмяная и погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по лицу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь это же так просто — узнать собственную мать!

Но ее появление не произвело на него никакого действия, точно бы она пребывала здесь постоянно и каждый день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она и почему она плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взглянуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру молодые животные.

Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки, всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не поднимая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну, стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дремучее отсутствие интереса к чему бы то ни было на свете, остались по-прежнему отрешенными.

— Садись, поговорим, — с тяжелым вздохом сказала Найман-Ана.

И они сели на землю.

— Ты узнаешь меня? — спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

— А как тебя звать?

— Манкурт, — ответил он.

— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена и он не мог ее преодолеть.

— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

— Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь,— проговорила она вслух,— но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое знаменитое прискорбное слово о солнце, о боге, о себе, которое пересказывают знающие люди и поныне, когда речь заходит о сарозекской истории...

И тогда она начала свой плач, который и поныне вспоминают знающие люди:

— Мен ботасы олген боз мая, тулыбын келип искеген¹¹...

И тогда вырвались из души ее причитания, долгие безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозеков...

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а внушением попытаться дать ему узнать, кто он есть.

— Твое имя Жоламан. Ты слышишь. Ты — Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман...

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

И тогда Найман-Ана спросила сына-манкурта:

— А что было до того, как ты пришел сюда?

— Ничего не было,— сказал он.

— Ночь был или день?

— Ничего не было,— сказал он.

— С кем ты хотел бы разговаривать?

— С луной. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то сидит.

— А что ты еще хотел бы?

— Косу на голове, как у хозяина.

— Дай я посмотрю, что они сделали с твоей головой,— потянулась Найман-Ана.

Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился рукой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла, что упоминать о его голове никогда не следует.

В это время вдаль завиднелся человек, едущий на верблюде. Он направлялся к ним.

— Кто это? — спросила Найман-Ана.

— Он везет мне еду,— ответил сын.

Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не увидел ее. Она осадилась свою верблюдицу на землю и взобралась в седло.

¹¹ Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры верблюжонка, набитого соломой.

— Ты ничего не говори. Я скоро приеду,— сказала Найман-Ана. Сын не ответил. Ему было все равно.

Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньжуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными.

Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага. И отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот жуаньжуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуаньжуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам,— куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую. И в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Неровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела жуаньжуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась, поблескивая, черная, сухая коса, плетенная в два зуба. Жуаньжуан привстал на стременах, держа наготове пикку, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастий ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина-жуаньжуана? Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости — вытравить память раба...

Порыскав взад-вперед, жуаньжуан вскоре удалился назад к стаду.

Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще долго держалось над степью. Потом разом смерклося. И наступила глухая ночь.

В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи где-то недалеко от своего горемычного сына-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний жуаньжуан мог остаться на ночь при стаде.

И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увести его с собой. Пусть он манкурт, пусть не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в безлюдных сарозеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство...

Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго подбиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, она окликнула сына по имени:

— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!

Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос.

Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память.

— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! — умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан¹². Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на три дня. Три дня был пир.

И хотя все это на сына-манкурта не произвело никакого впечат-

¹² Жоламан — имя, образованное от двух слов: «жол» — путь, «аман» — здоровье; по смыслу — будь здоров в пути.

ления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И все-таки продолжала твердить свое:

— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!

Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни.

Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, за-дубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда не отлучится от стада...

И снова в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твердила:

— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!

Не заметила мать в напрасном тщании, сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился жуаньжуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пустилась прочь. Но с другого края наперерез показался еще один жуаньжуан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разгоняя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая Акмая вовремя вынесла ее вперед, а жуаньжуаны преследовали сзади, крича и потрясая пиками. Куда им было до Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мохнатых верблюдах, а Акмая, набирая дыхание, неслась по сарозекам с недостижимой быстротой, унося Найман-Ану от смертельной погони.

Не знала она, однако, что, вернувшись, озлобленные жуаньжуаны стали избивать манкурта. Но какой с него спрос. Только и отвечал:

— Она говорила, что она моя мать.

— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет содрать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали они несчастного манкурта.

При этих словах манкурт побледнел, серым-серым стало его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватившись за шапку, стал ози-раться вокруг, как зверь.

— Да ты не бойся! На-ка, держи! — Старший жуаньжуан вложил ему в руки лук со стрелами.

— А ну целься! — Младший жуаньжуан подкинул свою шляпу высоко в воздух. Стрела пробила шляпу. — Смотри! — удивился владелец шляпы. — В руке память осталась!

Как птица, испугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана по сарозекским окрестностям. И не знала, как быть, чего ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для нее, поближе к своей большой орде, или будут подстерегать ее, чтобы изловить? Теряясь в догадках, она продвигалась объездами по скрытым местам и высмотрела, очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не оглядываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и, когда они скрылись вдаль, решила вернуться к сыну. Теперь она во что бы то ни стало хотела увести его с собой. Какой он ни есть — не его вина, что судьба так обернулась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать его не оставит. И пусть найманы, увидев, как увечат нашественики плененных джигитов, как унижают и лишают их разума, пусть вознегодуют и возьмутся за оружие. Не в земле дело. Земли всем хватало бы. Однако жуаньжуанское зло нетерпимо даже для отчужденного соседства...

С этими мыслями возвращалась Найман-Ана к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бежать этой же ночью.

Уже смеркалось. Над великими сарозеками опускалась, незримо вкрадываясь по логом и долам красноватыми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну. Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на верблюжьем межгорье. Настороженная и озабоченная Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, думы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, неизбывная боль... Вот она достигла стада, поехала между пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то свободно пассив, таща за собой повод по земле... Но самого его не было. Что с ним?

— Жоламан! Сын мой Жоламан, где ты? — стала звать Найман-Ана.

Никто не появился и не откликнулся.

— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?

И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стрелой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.

— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. — Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукунула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар. Найман-Ана наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!»

С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай!..»

То место, где была похоронена Найман-Ана, стало называться в сарозеках кладбищем Ана-Бейит — материнским упокоем...

От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний Буранный Каранар.

Покойный Казангап, которого теперь везли хоронить на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в сарозеках после гибели Найман-Аны.

Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет... Буранный Каранар стоил того... Сколько уже было испытаний и в добрые и в худые дни — и всегда Каранар вызволял из трудностей... Вот только дурной уж очень становится, когда в гон идет, в самые холода всегда это с ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зима лютует и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни... Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей тот случай Буранному Каранару... Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон... Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное, это ведь к слову сказано, просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хорошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто знает, как бы все вышло.

VII

Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством былого счастья. Как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже сарозекские ящерицы прибежали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать прохлада, по крайней мере по ночам можно было уже спокойно спать. Бывает такая благодать в сарозеках, год на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны. Всегда суровы, а лето иной раз и поблажку дает. Такое случается, когда в высших слоях воздушных течений, как рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что наверху протекают огромные незримые реки с берегами своими и разливами. Эти реки, находясь в непрерывном обороте, якобы омывают земной шар. И, вся окутанная ветрами, Земля плывет по кругам своим, и вот то и есть течение времени. Любопытно было послушать Елизарова. Таких людей не сыскать, редкой души человек. Уважал его Буранный Едигей, Елизарова, и тот отвечал ему тем же. Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит подчас в сарозеки облепительную прохладу в самый зной, она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где, бог знает как далеко, но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход; в Индию, в Пакистан она не попадает, там жара так и остается жарой, а над сарозеками растекается обратным ходом, потому что сарозеки, подобно морю, открытое беспрепятственное пространство... И приносит та река прохладу с Гималаев...

Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла в том году в конце лета и начале осени. Дожди в сарозеках — редкое явление. Каждый дождь можно запомнить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей на всю жизнь. Сначала заволкло тучами, даже непривычно было, когда скрылась вечно пустынная глубина горячего, истощившегося сарозекского неба. И стало парить, духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был сцепщиком. На тупиковой линии разъезда оставались после разгрузки от гравия и новой партии сосновых шпал три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда, делать требуют в срочном порядке, а потом оказывается, что не так уж и срочно надобно. Полсутки после разгрузки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все налегли — Казангап, Абуталип, Зарипа, Укубала, Букей, все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело. Ведь тогда все вручную приходилось робить. Ох и жара стояла! Надо же, угораздило прибыть этим платформам в такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А потом женщин всех отпустили — дома детишки от жары доходили. Остались мужики, в жилу вытянулись, но доделали дело.

А на другой день, как раз как быть дождю, порожняк с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока маневрировали да сцепляли вагоны, задыхался Едигей от духоты, как в бане солдатской. Лучше уж солнце жарило бы. А машинист какой-то попался — все тянет да тянет, в час по чайной ложке. А тут ходи в три погибели под вагонами. И обложил Едигей того машиниста матом как следует. А тот тем же ответил. Ему тоже несладко у топки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, товарняк. Утащил порожние платформы.

И тут ливень хлынул разом. Прорвало. За все бездожде один дождь ударил. Земля вздрогнула, поднялась мигом в пузырях и лужах. И пошел, и пошел дождь, яростный, бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то верно, на снежных хребтах самих Гима-

лаев... Ух какие Гималаи! Какая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу. Привычка. А не то зачем было скрываться от такого дождя? Он понял это и остановился, когда увидел, как вся семья Куттыбаевых — Абуталип, Зарипа и двое сынишек, Даул и Эрмек, — схватившись за руки, плясала и прыгала под дождем возле своего барака. И это потрясло Едигея. Не оттого, что они резвились и радовались дождю. А оттого, что еще перед началом дождя Абуталип и Зарипа поспешили, широко перешагивая через пути, с работы. Теперь он понял. Они хотели быть все вместе под дождем, с детьми, всей семьей. Едигею такое не пришло бы в голову. А они, купаясь в потоках ливня, плясали, шумели, как гуси залетные на Аральском море! То был праздник для них, отдушина с неба. Так истосковались, истомились в сарозеках по дождю. И отрадно стало Едигею, и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляющихся за какую-то светлую минуту на разъезде Боранлы-Буранный.

— Едигей! Давай с нами! — закричал сквозь потоки дождя Абуталип и замахал руками, как пловец.

— Дядя Едигей! — в свою очередь обрадованно кинулись к нему мальчишки.

Младшенький, ему всего-то шел третий год, Эрмек, любимец Едигея, бежал к нему, раскинув объятия, с широко открытым ртом, захлебываясь в дожде. Его глаза были полны неописуемой радости, героизма и озорства. Едигей подхватил его, закружил на руках. И не знал, как поступить дальше. Он вовсе не собирался включаться в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с громким визгом дочери Едигея — Сауле и Шарапат. Они прибежали на шум Куттыбаевых. Они тоже были счастливы. «Папа, давай бегать!» — потребовали они. И это решило колебания Едигея. Теперь они все вместе, объединившись, буйствовали под нестихающим ливнем.

Едигей не спускал с рук маленького Эрмека, опасаясь, что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абуталип посадил к себе на спину его младшенькую — Шарапат. И так они бегали, устраивая для детей потеху. Эрмек подпрыгивал на руках Едигея, кричал всюю и, когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едигея. Это было так трогательно, Едигей несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгляды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девчушкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затеянной семьей Куттыбаевых. И невольно обратил внимание Едигей, какой красивой была Зарипа. Дождь разметал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая ее от макушки до пят, ниспадающая вода щедро струилась по упругому, молодому телу женщины, выделяя ее шею, руки, бедра, икры босых ног. А глаза сияли радостью, задором. И белые зубы счастливо сверкали.

Для сарозеков дождь — не в коня корм. Снега постепенно пропитываются в почву. А дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности в овраги да в балки. Взбурлит, прошумит — и нет его.

Уже через несколько минут при том большом ливне разыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, вспененные. И тогда боранлинцы стали бегать и прыгать по ручьям, пускать тазы и корыта по воде. Старшие ребятишки, Даул и Сауле, даже катались по ручьям в тазах. Пришлось и младших тоже усаживать в корыта, и они тоже поплыли...

А дождь все шел. Увлеченные плаванием в тазах, они оказались у самых путей, под насыпью, в начале разъезда. В это время проходил через Боранлы-Буранный пассажирский состав. Люди, высунувшись чуть ли не по пояс в настежь открытые окна и двери поезда, глазели на них, на несчастных чудаков пустыни. Они что-то кричали им вроде: «Эй, не утоните!» — хохотали до упаду, свистели, смеялись. Уж

очень странный, наверно, был вид у них. И поезд проследовал, омываемый ливнем, унося тех, кто через день или два, может, станет рассказывать об увиденном, чтобы потешить людей.

Едигей ничего этого не подумал бы, если бы ему не показалось, что Зарипа плачет. Когда по лицу стекают струи воды как из ведра, трудно сказать, плачет человек или нет. И все-таки Зарипа плакала. Она притворялась, что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдерживая всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами. Абуталип беспокойно схватил ее за руку:

— Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой.

— Да нет, я просто икаю, — ответила Зарипа.

И они снова начали забавлять детей, торопясь насытиться дарами случайного дождя. Едигею стало не по себе. Представил, как тяжело, должно быть, сознавать им, что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не событие, где люди купаются и плавают в чистой, прозрачной воде, где другие условия, другие развлечения, другие заботы о детях... И чтобы не смутить Абуталипа и Зарипу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Едигей продолжал поддерживать их забавы...

Навозились, наигрались вдосталь и дети и взрослые, а дождь еще лил. И тогда они побежали по домам. И, глядя сочувственно им вслед, любовался Едигей, как бежали Куттыбаевы рядышком, отец, мать, дети. Все мокрые. Хоть один день счастья в сарозеках.

Держа младшую на руках, старшую дочь за руку, Едигей заявился на пороге. Укубала испуганно всплеснула при виде их руками:

— Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?

— Не пугайся, мать, — успокоил жену Едигей и рассмеялся. — Когда атан пьянеет, он играет со своими тайлаками¹³.

— То-то, я гляжу, уподобился, — усмехнулась укуризенно Укубала. — Ну раздевайтесь, не стойте, как мокрые курицы.

Дождь перестал, но он еще проливался где-то по сарозекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что доносились среди ночи глухие перекаты отдаленного грома. Едигей несколько раз просыпался от этого. И удивлялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой грохочет — и то спалось. Ну, там другое дело — грозы там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смеженные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом далекие, размытые зарницы, вспыхивавшие в степи в разных местах.

Снилось той ночью Буранному Едигею, что опять он на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бесшумно. Взрывы беззвучно взмывали в воздух и застывали черными вышлесками, медленно и тягостно опадая. Один из таких взрывов подбросил его вверх, и он падал очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пустоту. Потом он бежал в атаку, очень много их было, солдат в серых шинелях, поднявшихся в атаку, но лиц не различить было, казалось, просто шинели бежали сами по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали «ура», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дождя, смеющаяся Зарипа. Это было удивительно. В ситцевом платице, с разметанными волосами, в потоках воды, стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едигею некогда было задерживаться, он помнил, что шел в атаку. «Почему ты так смеешься, Зарипа? Это не к добру», — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — ответила она и продолжала смеяться под струями дождя...

На другой день он хотел рассказать об этом сне Абуталипу и ей. Но раздумал, нехорошим показался сон. Зачем лишний раз расстраивать людей...

После этого великого дождя опрокинулась жара в сарозеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки лета. Были еще знойные дни,

¹³ Тайлак — детеныш верблюда. Когда атан, самец, пьянеет, он играет со своими детенышами.

но уже терпимее. И отсюда постепенно началась предосенняя благодать сарозекская. Избавилась от изнуряющей жары и боранлинская детвора. Ожили, опять зазвенели их голоса. А тут передали на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кызыл-ординские арбузы и дыни. И что, мол, как желают боранлинцы — им могут прислать их долю или пусть сами приедут заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь пришлют — на тебе, боже, что нам негоже. Тот согласился. Хорошо, говорит, поезжайте с Куттыбаевым и выберите что получше. Этого и надо было Едигею. Хотелось вывезти Абуталипа и Зарипу с детьми хоть на один день из Боранлы-Буранного. Да и самим не мешало проветриться. И отправились они, две семьи со всей детворой, рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись. То-то было славно. Детям казалось, что они едут в сказочную страну. Всю дорогу ликовали, спрашивали: а деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая? Есть — и зеленая. И цветы даже есть. А дома большие и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море?

Ветер захлестывал в товарный вагон, струился ровным приятным потоком в приоткрытые двери, загороженные деревянным щитом на всякий случай, чтобы ребята не вывалились, хотя на самом проходе у края сидели на порожних ящиках Едигей с Абуталипом. Разговоры вели разные да отвечали на детские вопросы. Доволен был Буранный Едигей, что ехали они вместе, что погода хорошая, что дети веселые, но больше всего рад был Едигей не за малышей, а за Абуталипа и Зарипу. Просветлели их лица. Освободились, расковались люди на какое-то время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней подавленности. И подумалось под настроение Едигею: может быть, Абуталипу будет позволено жить в сарозеках как сумеет и сколько сумеет. Дай-то бог!

Приятно было видеть — Зарипа и Укубала задушевно беседовали между собой о разных делах житейских. И были счастливы. Ведь так и должно быть, много ли надо людям... Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды Куттыбаевым, чтобы сумели они укрепиться, приспособиться к их боранлинской жизни, коли другого выбора не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Едигея можно положиться и что они хорошо понимают друг друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезненные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не сдавался, черпая в том силу. Прислушиваясь к высказываниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом вкладывать в это дело всего себя, быть насколько можно, настолько дольше, всегда вместе с детьми.

Вот уж, казалось бы, где только не учили Сабитжана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и по разным курсам повышения. Бедный Казангап все, что добывал-зарабатывал, отдавал на пребывание сына в городах, чтобы не хуже других жилось-былось его Сабитжану, — а что толку? Знать-то все знает, а никчемный и есть никчемный.

Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вместе ехали за арбузами да дынями на Кумбель, что ежели нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу Куттыбаеву обосноваться как следует в Боранлы-Буранном. Хозяйство налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сыновей среди сарозеков как сможет и сколько сможет. Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из разговора, что и Абуталип к тому склонен, что есть такое намерение. Интересовался он, как

картошкой запастись, где валенки купить на зиму жене да детям, сам, мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для пользования.

К вечеру того дня опять же на попутном товарняке вернулись домой с дынями и арбузами, выделенными орсом для боранлинцев. Дети, конечно, притомились к вечеру, но были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле, игрушек закупили, мороженое ели и всякое прочее. Да, случилось одно небольшое происшествие в станционной парикмахерской. Решили подстричь ребят. А когда очередь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач, что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все, а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарипа не знала, что делать, и краснела и бледнела от стыда. И все оправдывалась, что от рождения еще ни разу не стригли ребенка, жалели — уж очень красивые, кудрявые волосы были у мальчика. А и в самом деле, волос рос у Эрмека отменный, густой и вьющийся, в мать пошел, и вообще он был похож на Зарипу: как вымоют голову и расчесут кудри — одно загляденье.

На что уж пошли, Укубала разрешила подрезать волосы Сауле: вот, мол, смотри, девочка и то не боится. Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только парикмахер взял в руки машинку, так снова крик и рев, Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и крепко прижал к себе, понял, что не стоит мучить ребенка.

— Извините,— сказал он парикмахеру.— Как-нибудь в другой раз. Соберемся с духом и тогда... А пока потерпит еще, можно еще походить. Не к спеху... В другой раз...

В ходе чрезвычайного заседания особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обоюдному согласию сторон на орбитальную станцию «Паритет» пошла еще одна кодированная радиодиаграмма, предназначенная для передачи паритет-космонавтам 1-2 и 2-1, находящимся на планете внеземной цивилизации,— категорически не предпринимать никаких действий, находиться на месте до особого указания Обценупра.

Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых дверях. Авианосец «Конвенция» по-прежнему находился на своем месте в Тихом океане, южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком.

По-прежнему никто еще в мире не знал, что произошло величайшее межгалактическое событие — в системе светила Держатель открыта планета внеземной цивилизации, разумные существа которой предлагали установить контакт с землянами.

На чрезвычайном заседании стороны дебатировали все за и против столь необычной и неожиданной проблемы. На столе перед каждым членом комиссий, помимо прочих подсобных материалов, лежало досье с полным текстом посланий паритет-космонавтов 1-2 и 2-1. Изучалась каждая мысль, каждое слово документов. Любая деталь, приводимая как факт устройства разумной жизни на планете Лесная Грудь, рассматривалась прежде всего с точки зрения возможных последствий, совместимости или несовместимости с земным опытом цивилизации и с интересами ведущих стран планеты... С такого рода проблемами еще никому из людей не приходилось сталкиваться. И вопрос требовалось решать экстренно...

На Тихом океане по-прежнему штормило вполсилы...

После того как семья Куттыбаевых пережила самую страшную пору сарозекского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась с Боранлы-Буранного куда угодно, только бы прочь,

боранлинцы поняли, что эта семья останется здесь, будет еще держаться. Заметно приободрился, вернее втянулся в боранлинскую лямку, Абуталип Куттыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Боранлы — самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья и для всех прочих нужд, а кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за тридевять земель, на что, кроме Едигея и Казангапа, никто и не отваживался.

Да, так было еще в пятьдесят втором году и вплоть до шестидесятых, пока не установили на разъезде глубинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще и не мечтали. И, несмотря на все это, Абуталип никогда не клаял, не поносил ни разъезд Боранлы-Буранный, ни сарозекскую местность эту. Воспринимал худое как худое, хорошее как хорошее. В конце концов земля эта ни в чем и ни перед кем не была виновата. Человек сам должен был решать, жить ему здесь или не жить...

И на этой земле люди старались устроиться как можно удобней. Когда Куттыбаевы пришли к окончательному убеждению, что место их здесь, на Боранлы-Буранном, и что дальше им некуда податься, а необходимо устраиваться поосновательней, то времени не стало хватать на домашние дела. Само собой, каждый день или каждую смену полагалось отработать, но и в свободное время забот оказалось невпроворот. Закрутился, запарился Абуталип, когда принялся готовить жильё к зиме — печку перекадывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Сноровки к таким делам особой у него не было, но Едигей и инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал, соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не провалилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и крутились под руками сынки абуталиповские. Пусть и мешали порой, но так веселей и милей было. Стали Едигей с Казангапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйством обзавестись, и уже кое-что прикинули. Решили с весны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы он доить научился. Ведь это не корова. Верблюдицу надо доить стоя. Ходить за ней по степи и, главное, сосунка сберегать, подпускать его к вымени вовремя и вовремя отнимать. Забот о нем немало. Тоже надо знать что к чему...

Но больше всего радовало Буранного Едигея то, что Абуталип не только за хозяйство принялся, не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил с Зарипой их книжкам и рисованию, но, более того, пересиливая, превозмогая боранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Куттыбаев был образованным человеком. Книжки читать, делать какие-то свои записи — это просто надлежало ему. Втайне Едигей гордился тем, что имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, сарозекским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух. Но был у них однажды разговор серьезный.

Возвращались к вечеру с путевых работ. В тот день они противоснежные щиты устанавливали на седьмом километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще только входила в силу, однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хороший, светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера сарозекские окрестности, как дно Аральского моря с лодки в тихую погоду, лишь призрачно угадываются в дымке заката,

— А что, Абу, вечерами, как ни пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то — лампа рядом? — спросил Едигей.

— Так это просто все, — охотно отозвался Абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое. — Письменного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю кое-что, пока в памяти, — войну и, главное, мои югославские годы. Время идет, бывшее отодвигается все дальше. — Он помолчал. — Я все думаю, что могу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой. Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столько, сколько другому, дай бог, за сто лет не придется, я еще живу и дышу, не зря, должно быть, судьба предоставляет мне такую возможность. Может быть, для того, чтобы я что-то сказал, в первую очередь своим детям. И мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь, поскольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно, есть общая истина для всех, но есть еще у каждого свое понимание. А оно уйдет с нами. Когда человек проходит круги между жизнью и смертью в мировой сшибке сил и его могли по меньшей мере сто раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать — добро и зло, истину и ложь...

— Постой, одно не пойму, — удивленно перебил его Едигей. — Может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машинки боятся — что они поймут?

— Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Буду жив или нет, никому не знать наперед. Вот третьего дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Казангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом страшно: пусть, говорит, дети твои сегодня на коленях господу бога благодарят.

— И верно. Я тебе давно говорил. И Зарипе говорил, — возмутился в свою очередь Едигей и воспользовался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. — Что ты ходишь по путям так, точно паровоз должен с рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Есть же правила безопасности. Грамотный человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь железнодорожник, а ходишь как на базаре. Попадешь, не шути.

— Ну, если такое случится, сам буду виноват, — мрачно согласился он. — Но ты все-таки послушай меня, потом будешь выговаривать.

— Да я так, к слову, говори.

— В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство — когда как. Сколько книг об этом написано, сказок, в театрах сколько пьес играют о тех временах, как делили наследство и что потом случилось с наследниками. А почему? Потому что наследства эти большей частью несправедливо возникали, на чужих тяготах да чужими трудами, на обмане, оттого изначально таят они в себе зло, грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы, слава богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда никому не причинит. Это лишь мой дух, мои записи будут, а в них все, что я понял и вынес из войны. Большого богатства для детей у меня нет. Здесь, в сарозекских пустынях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время отгесняла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез, а я запишу для них все, что думаю-гадаю, и в них, в детях своих, состоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть, достигнут они... А жить им придется потрудней, чем нам. Так пусть набираются ума смолоду...

Некоторое время они шли молча, каждый занятый своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие речи. Подивился он, что можно, оказывается, и эдак понимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяснить то, что его поразило:

— Все думают, вон по радио говорят, что детям нашим будет

жить лучше и легче, а тебе кажется, что им придется потрудней, чем нам. Атомная война будет, потому, что ли?

— Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет. Просто колесо времени убыстряется. Им придется до всего самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отчасти задним числом. А мыслить всегда тяжело. Потому им придется труднее, чем нам.

Едигей не стал уточнять, почему он считает, что мыслить всегда тяжело. И напрасно не стал, впоследствии очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было порасспросить, выведать, в чем тут смысл...

— Я к чему это говорю,— как бы отзвываясь на сомнения Едигея, продолжал Абуталип.— Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят — а учителя-то, мы то есть, не так уж много знали и не такие уж умные, как казалось. Над ними и посмеяться можно, порой даже жалкими кажутся им постаревшие наставники. Колесо времени все быстрее и быстрее раскручивается. И, однако, о себе мы сами должны сказать последнее слово. Наши предки пытались делать это в сказаниях. Хотели доказать потомкам, какими они были великими. И мы судим теперь о них по их духу. Вот я и делаю что могу для подрастающих сыновей. Мои сказания — мои военные годы. Пишу для них свои партизанские тетради. Все как было, что видел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но кроме этого тоже есть задумки кое-какие. В сарозеках придется им расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем понимании — весть из прошлого. Укубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить.

— Ну а как же! Все-таки аральская родом! — сразу возгордился Едигей.— Аральские казахи у моря. А на море петь хорошо. Море, оно все понимает. Что ни скажешь — от души и все к ладу на море.

— А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно записанное — чуть до слез с Зарипой не дошли. До чего красиво пели в старину! Каждая песня — целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в душу. И страдать и любить, как они. Вот ведь какую память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагитировал уже — вспоминай, говорю, свои каракалпакские песни, запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас каракалпакская тетрадь...

И так они шли не спеша вдоль железнодорожной линии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный вздох, замирал умиротворенный конец дня той предосенней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в сарозеках, но угасающее солнце создавало впечатлительные наполненности степи благодаря неуловимому движению света и тени по открытому лику земли. Смутная, текучая синева захватывающего дух простора возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать...

— Слушай, Едигей,— заговорил снова Абуталип, вспомнив о том, что мысленно отложил и к чему должен был вернуться при случае.— Давно собираюсь спросить. Птица Доненбай. Как ты думаешь, наверно, есть такая птица в природе, которая так и называется — Доненбай. Тебе не приходилось встречать такую птицу?

— Так это же легенда.

— Понимаю. Но часто бывает, когда легенда подтверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, например, есть такая птица иволга, которая у нас в Семиречье целый день распевает в горных садах и все спрашивает: «Кто мой жених?» Так тут просто игра, созвучие. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я и думаю: нет ли такого созвучия и в этой истории? Может быть, существует в степи какая-то птица, которая кричит что-то похожее на имя человека Доненбай, и потому она оказалась в легенде?

— Нет, не знаю. Не думал об этом, что так,— засомневался Едигей.— Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. Должно быть, ее и нет.

— Возможно,— задумчиво отозвался Абуталип.

— А что, если нет такой птицы, так, выходит, все это неправда? — обеспокоился Едигей.

— Нет, почему же. Потому и стоит кладбище Ана-Бейит и что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу.

— Ну, если для детишек,— неуверенно обронил Едигей,— тогда можно...

На памяти Буранного Едигея только два человека в свое время записывали сарозекскую легенду о Найман-Ане на бумагу. Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут, это было в конце пятидесят второго года. Рукопись та пропала. Столько горя пришлось натерпеться после этого. До того ли было! Несколько лет спустя, году в пятьдесят седьмом, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Теперь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, наверно, в его бумагах осталась в Алма-Ате... И тот и другой записывали ее главным образом из уст Казангапа. Едигей присутствовал при том, но больше в качестве подсказчика-напоминателя и своего рода комментатора.

«Вот тебе и годы! Когда все это было-то, бог ты мой!» — думал Буранный Едигей, покачиваясь между горбами укрытого попоной Каранара. Теперь он вез самого Казангапа на кладбище Ана-Бейит. Круг как бы замыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, историю которого хранил и передавал другим.

«Остались только мы — я и Ана-Бейит. Да и мне скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять. Дело идет к этому», — тоскливо размышлял по пути Едигей, все так же возглавляя на верблюде странную похоронную процессию, следовавшую за ним по степи на тракторе с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе «Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнувший к похоронам, позволяя себе находиться то в голове, то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался ненадолго... Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторонам поглядывал деловито...

Солнце уже поднялось на макушку, полдень вступал. До кладбища Ана-Бейит оставалось не так много...

VII

И все-таки конец пятидесят второго года, вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней горстки жителей разъезда Боранлы-Буранного. Едигей часто потом скучал по тем дням.

Казангап, патриарх боранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся не в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабитжан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в сарозеках. К зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки Зарипе и мальчишкам приобрели, муки целый мешок привезли из Кумбеля, сам Едигей привез вьюком из оorsa на вступавшем в ту пору в расцвет сил молодом Каранаре. Абуталип работал как полагается и все свободное время по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно писал, примостившись с лампой на подоконнике.

Были еще две-три семьи станционных рабочих, но, по всему, временных людей на разъезде. Тогдашний начальник разъезда Абилов тоже казался недурным человеком. Никто из боранлинцев не болел.

Служба шла. Дети росли. Все предзимние работы по заграждению и ремонту путей выполнялись в срок.

Погода стояла распрекрасная для сарозеков — коричневая осень, как хлебная корка! А потом зима подоспела. Снег лег сразу. И тоже красиво, белым-бело стало вокруг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой протянулась железная дорога, а по ней, как всегда, шли и шли поезда. И сбоку этого движения среди снежных всхолмлений притулился маленький поселочек — разъезд Боранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее... Проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов, или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость к одиноким жителям разъезда...

Но напрасной была та мимолетная жалость. Боранлинцы переживали хороший год, если не считать дикого летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то повсюду жизнь понемногу, со скрипом налаживалась после войны. К Новому году опять ожидали снижения цен на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было далеко не всего навалом, но все-таки год от года лучше...

Обычно Новому году боранлинцы не придавали особого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба на разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались, ни на минуту не считаясь с тем, где и когда наступит Новый год в пути. Опять же зимой и по хозяйству дел прибавляется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на выпасе и в загонах. Умается человек за день, и уж, кажется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше.

Так и шли годы один за другим...

А канун пятьдесят третьего года на Боранлы-Буранном был настоящим праздником. Праздник затеяла, конечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в сарозеках, легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровы яйца в сарозеках. В камень превратились те яйца, каждое яйцо величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в Алма-Ату. Об этом в газетах писали.

Пришлось Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Боранлы-Буранный. С этого все и пошло.

Едигей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы, когда, морозно тормозя, остановился на первом пути закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь plombированные четырехосные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке, неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. Елка, догадался Едигей и удивился очень.

— Эй, Едигей! Буранный! Поди сюда, помоги человеку! — окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей со ступеней вагона.

Едигей поспешил и, когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, заоченел Абуталип так, что губы не двигаются. Рукой шевельнуть не может. А рядом елка, это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет.

— Что ж это люди у вас так ездят! — прохрипел недовольно кондуктор. — Душа вон отлетит на ветрище сзади. Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну.

Едва совладав с губами, Абуталип извинился:

— Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут рядом.

— Я ж ему говорил, — обращаясь к Едигею, бурчал кондуктор. —

Я в тулупе, а под тулупом стеганая одежда, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза на лоб лезут. Разве ж так можно!

Едигею было неловко:

— Хорошо, учтем, Трофим! Спасибо. Отправляйся, доброго тебе пути.

Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце екнуло — вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого станет запах еловый вдохнуть.

— Пошли,— сказал Едигей и взглянул на Абуталипа, вскидывая елку на плечо.

На стянутом холодом, с застывшими слезами на щеках сером лице Абуталипа сияли из-под белых бровей живые, радостные, торжествующие глаза. Едигею вдруг стало страшно: оценят ли дети его отцовскую преданность? Ведь в жизни сплошь и рядом бывает совсем наоборот. Вместо признательности — равнодушие, а то и ненависть. «Избави бог его от такого. Хватит ему и других горестей», — подумал Едигей.

Первым увидел елку старший из Куттыбаевых — Даул. Он радостно закричал и шмыгнул в двери барака. Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек.

— Елка, елка! Смотри, какая елка! — ликовал Даул, отчаянно прыгая вокруг.

Зарипа была обрадована не меньше:

— Ты все-таки достал ее! Как здорово!

А Эрмек, оказывается, никогда еще не видел елку. Он смотрел не отрываясь на ношу дяди Едигея.

— Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она будет жить у нас дома?

— Зарипа,— сказал Едигей,— из-за этой, как говорят русские, елки-палки ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрей домой отогреть его. Прежде всего сапоги надо стянуть.

Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались стащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.

— Ребята, не мешайтесь, ребята, дайте я сама! — отгоняла их мать.

Но Едигей счел необходимым сказать ей вполголоса:

— Не тронь их, Зарипа. Пусть, пусть потрудятся.

Он утром своим понял, что для Абуталипа это высшее воздаяние — любовь, сопереживание детей. Значит, они уже люди, значит, они уже что-то смыслят. Особенно трогательно и потешно было смотреть на младшего. Эрмек почему-то называл отца папикой. И никто его не поправлял, поскольку то было его собственной «модификацией» одного из вечных и первоначальных слов на устах людей.

— Папика! Папика! — озабоченно суетился он, раскрасневшись от тщетных усилий. Его кудри распушились, глаза пылали желанием совершить нечто крайне необходимое, а сам он был так серьезен, что невольно хотелось расхохотаться.

Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята достигли своей цели. Едигей нашел способ. Сапоги к тому времени начали оттаивать и их можно было сдернуть, не причиняя особой боли Абуталипу.

— А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд — один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты, Эрмек, хватайся за Даула.

Абуталип понял замысел Едигея и одобрительно закивал, заулыбался сквозь слезы, навернувшиеся с холода в тепле.

Едигей сел напротив Абуталипа, за ним прицепились дети, и когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог.

— А ну, ребята, посильней, подружной тяните! А то я один не смогу. Сил не хватит. Давай-давай, Даул, Эрмек! Посильней!

Ребята пыхтели позади, всю стараясь помочь. Зарипа была ботьщицей. Едигей нарочно изображал трудность, и когда наконец первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным вязанием, но Едигей всех приостановил:

— А ну, ребята, а ну, мама! Вы что ж это? А второй сапог кто будет тянуть? Или так и оставим отца одна нога босая, а другая в мерзлом сапоге? Хорошо будет?

И все расхохотались отчего-то. Долго смеялись, катались по полу. Особенно ребята и сам Абуталип.

И кто знает, так думал потом об этом Буранный Едигей, много раз пытаясь отгадать ту страшную загадку, кто знает, быть может, именно в этот момент где-то очень далеко от Боранлы-Буранного имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах и люди, получившие ту бумагу, решали на ее основании вопрос, о котором никто ни сном ни духом не помышлял ни в этой семье, ни на разъезде.

Беда свалилась как снег на голову. Хотя, конечно, будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похитрей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога закралась бы в душу.

А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу года приезжал на разъезд участковый ревизор. По графику объезжал он разъезд за разъездом, от станции к станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зарплата выдавалась, как материалы расходовались и всякое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с попутным. Сколько там делов-то, на разъезде! Едигей, бывало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз ревизор дня три пробыл в Боранлы-Буранном. Ночевал в дежурном домике, в главном помещении разъезда, где была связь да комнатка начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда Абилов все бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал — может, кто из прежних, знакомых, но нет, этот был незнакомый. Краснощечный такой, редкозубый, в очках, седеющий. Странная прилипающая улыбка мелькнула в его глазах.

А поздно вечером встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит — ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в мерлушковой папахе, в очках, курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку.

— Добрый вечер. Что, покурить вышли? Нароботались? — почувствовал ему Едигей.

— Да, конечно, — ответил тот, полуулыбаясь. — Нелегко. — И опять полуулыбнулся.

— Ну, ясно, конечно, — промолвил для приличия Едигей.

— Завтра с утра уезжаю, — сообщил ревизор. — Подойдет семнадцатый, приостановится. И я поеду. — Он опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушенный, вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в лицо. — Так вы и будете Едигей Жангельдин? — осведомился ревизор.

— Да, я самый.

— Я так и думал. — Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. — Бывший фронтовик. На разъезде с сорок четвертого. Путьцы Буранным прозывают.

— Да, верно, — простодушно отвечал Едигей. Ему было приятно, что тот так много знал о нем, но и удивился в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и запомнил.

— А у меня память хорошая, — полуулыбаясь, продолжал ревизор, видимо догадываясь, о чем думает Едигей. — Я ведь тоже пишу, как

ваш Куттыбаев,— кивнул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна, в проеме которого склонялась, как всегда, над своими записями на подоконнике голова Абуталипа.— Третий день наблюдаю — все пишет и пишет. Понимаю. Сам пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской многотиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кружок литературный. Я им руковожу. И в областной газете помещался — на Восьмое марта однажды, на Первое мая в нынешнем году.

Они помолчали. Едигей уже собирался попрощаться и уйти, но ре-визор снова заговорил:

— А он о Югославии пишет?

— Честно говоря, не знаю толком,— ответил Едигей.— Кажется. Ведь он партизанил там много лет. Он для детей своих пишет.

— Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какие-то годы. А теперь решил проявить себя с помощью пера,— скрипуче хихикнул он.— Но это не так просто, как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью. Фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата вовсе нет. Все по командировкам...

— Он тоже, по ночам только. А днем работает,— вставил Едигей.

Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти.

— Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает,— все так же полуулыбаясь, осклабился ре-визор, глядя в силуэт Абуталипа у окна.

— Так надо же чем-то заниматься,— ответил ему на то Едигей.— Человек грамотный. Вокруг никого и ничего. Вот и пишет.

— Ага, тоже идея. Вокруг никого и ничего,— прищуриваясь, что-то соображая, пробормотал ре-визор.— А ты себе волен, а вокруг никого и ничего, тоже идея... А ты себе волен...

На том они попрощались. И в следующие дни нет-нет да мелькала мысль не забыть рассказать Абуталипу о том случайном разговоре с ре-визором, да как-то не получалось, а потом и вовсе забылось.

Дел было много к зиме. И, главное, Каранар пришел в великое движение. Ведь морока, вот ведь где наказание хозяину! Как атанша¹⁴ Каранар созрел два года назад. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его страсти, еще можно было с ним сладить, припугнуть, подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в боранлинском стаде — давнишний казангаповский верблюд — не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, отгонял от маток. Но степь-то широкая. С одного края отгонит, он с другого поспекает. И так целый день гонял его старый атан, а потом выбивался из сил. И тогда молодой да горячий атанша Каранар не мытьем, так катаньем достигал-таки своей цели.

Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов, когда в крови верблюдов снова просыпался извечный зов природы, Каранар оказался верховным в боранлинском стаде. Достиг Каранар могущества, достиг сокрушающей силы. Запросто загнал старого казангаповского атана под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, изгрыз его до полусмерти, благо некому было разнять их. В этом неумолимом законе природа была последовательна — теперь настал черед Каранара оставлять по себе потомство.

На этой почве, однако, Казангап с Едигеем впервые поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого зрелища — затоптанного атана своего под обрывом. Вернулся с выпасов мрачный и бросил Едигею:

— Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой Каранар. А ты его спокойно отпускаешь в степь!

— Не отпускал я его, Казаке. Сам он ушел. Как мне его держать

¹⁴ Атанша — молодой атан, молодой самец.

прикажешь? На цепях? Так он цепи рвет. Сам знаешь, не случайно сказано исстари: «Кюш атасын танымайды»¹⁵. Пришла его пора.

— А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для шиша¹⁶, но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем сарозекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова...

Не стал Едигей распалать Казангапа, уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно:

— Сам же ты его мне подарил сосунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы управу на него найти.

Но обезображивать такого красавца, как Каранар,— прокалывать ему ноздри и продевать деревянный шиш — опять же рука не поднималась. И сколько раз потом действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил себя. А годы шли, и всякий раз с наступлением зимних холодов начинались мытарства, поиски бушующего в гоне неистового Каранара...

С той зимы все и началось. Запомнилось. И пока усмирал Каранара да приспособливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей боранлинской детворы большое событие было. Укубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил глянуть, как елка у Куттыбаевых. Все красивей, все нарядней становилась она, расцветала в лентах и игрушках разных самодельных. Тут уж женщинам надо отдать должное — Зарипа и Укубала постарались ради малышей, все свое мастерство приложили. И дело было, пожалуй, не столько в самой елке, сколь в новогодних надеждах, в общем для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен.

Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромная, почти в человеческий рост снежная бабища, эдакое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове встала перед разъездом, встречая поезда. В одной «руке» баба держала железнодорожный зеленый флажок — путь открыт, а в другой фанеру с поздравлением: «С новым, 1953 годом!» Здорово тогда получилось! Эта баба долго стояла еще и после 1 января...

31 декабря уходящего года днем до самого вечера боранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, свободные от дежурств. Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим.

«— Вставай, вставай, папика! — Эрмек тормозит. — Скоро Дед-мороз приедет. Пойдем встречать.

— Хорошо, — говорю. — Вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать.

— А каким поездом? — Это старший спрашивает.

— А любим, — говорю, — для Дед-мороза любой поезд остановится даже на нашем разъезде.

— Тогда надо вставать побыстрей!

Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так.

¹⁵ Сила отца не признает.

¹⁶ Шиш — деревянная заноза, продеваемая в верхние губы верблюда.

— А как же мама? — спрашивает Даул. — Она ведь тоже хочет увидеть Дед-мороза?

— Конечно, — говорю, — а как же. Зовите и ее.

Собрались и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята вокруг да около, а Дед-мороза нет.

— Папика, а где же он?

Глаза у Эрмека, знаешь, такие — хлоп-хлоп.

— Сейчас, — говорю, — не спешите. Узнаю у дежурного.

Вхожу в дежурку, я там с вечера припрятал записку от Дед-мороза и мешочек с подарками. Вышел, они ко мне:

— Ну что, папика?

— Да вот, — говорю, — оказывается, Дед-мороз оставил вам записку, вот она: «Дорогие мальчуганы — Даул и Эрмек! Я приехал на ваш знаменитый разъезд Боранлы-Буранный рано утром, в пять часов. Вы еще спали, было очень холодно. Да и сам я холодный, борода вся из морозной шерсти у меня. А поезд остановился только на две минутки. Вот успел записку написать и оставить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь, дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год постараюсь приехать так, чтобы мы встретились. А пока до свидания. Ваш Дед-мороз, Аяз-ата». Постой-постой, а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, неразборчиво написано. Наверно, уже поезд отходил. А, вот, разобрал: «Даул, не бей свою собачку. Я слышал, как однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее калошей. Но потом я больше не слышал. Наверно, ты стал лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аяз-ата». Постой-постой, тут еще что-то накорябано. А, понял: «Снежная баба у вас очень здорово получилась. Молодцы. Я поздоровался с ней за руку».

Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Дед-мороза убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спорить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассудила их:

— Сначала десять шагов понесет Даул, он старший. А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший...»

Посмеялся от души и Едигей: «Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы».

Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Едигей. Устроил он им катание на санях. У Казангапа водились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смиренного и хорошо идущего в нагрудном хомуте, Каранара нельзя было, конечно, допускать к таким делам. Запрягли и поехали всей гурьбой. То-то было шуму. Едигей был за кучера. Детишки липли, все хотели посидеть рядом с ним. И все просили: «Быстрее, быстрее поехали!» Абуталип и Зарипа то шли, то бежали рядом, но на спусках присаживались на край саней. Отъехали от разъезда километра на два, развернулись на пригорке, назад со спуска покатали. Запыхался упряжной верблюд. Передохнуть требовалось.

Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, заснеженными сарозеками сколько хватало глаз и слуха лежала белая первозданная тишина. Вокруг, таинственно укрытая снегом, простиралась степь — грядами, холмами, равнинами, небо над сарозеками излучало матовый отсвет и кроткое полуденное тепло. Ветерок чуть слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге шел длинный красноохранный состав, и два черных паровоза, сцепленных путом, тащили его, дыша в две трубы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими, плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, ведущий паровоз дал сигнал — длинный, могучий гудок. Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквозной, он прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, — мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепивших-

ся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения. Лишь над крышами боранлинских домов вились сизые печные дымки. Все замолчали. Даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко, только для мужа:

— Как хорошо и как страшно!

— Ты права,— также негромко отозвался Абуталип.

Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли, очень похожие друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них.

Едигей понукнул упряжного верблюда. Стеганул бичом. И сани покатались назад к разъезду...

Вечером накануне новогодней ночи все боранлинцы собрались у Едигея и Укубалы — так порешили Едигей и Укубала еще несколько дней назад.

— Раз уж вновь прибывшие Куттыбаевы устроили елку для всей детворы, нам сам бог велел,— сказала Укубала,— не будем скупиться.

Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не все смогли присутствовать — иные дежурили на линии, а другим дежурство предстояло с вечера. Поезда-то шли, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только вначале. К девяти вечера он отправился на стрелку, да и Едигею по графику требовалось с шести часов утра 1 января быть на линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на славу. Все были в приподнятом настроении и, хотя виделись по десять раз на дню, к встрече приоделись, ровно издали прибывшие гости. Укубала отличилась — наготвила всякой снеди. Выпить тоже было что — водка, шампанское. А кто желал, тому зимний шубат был готов от прояловавших верблюдиц, и зимой их выдаивала неутомимая казангаповская Букей.

Но праздник стал праздником, когда после закусок и первых рюмок начали петь. Наступила такая минута, когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напряженность гостей и можно было не спеша, не отвлекаясь по мелочам, отдаться редкому душевному удовольствию — и поображничать и пообщаться с теми, кого каждый день видишь и хорошо знаешь, но и в них находишь новизну, потому что праздник имеет свойство преображать людей. Бывает, что и в дурную сторону. Но не здесь, не среди боранлинцев. Жить в сарозеках да еще слыть неуживчивым или скандалистом... Едигей захмелел слегка. Однако ему это очень шло. Укубала без особой тревоги напомнила мужу:

— Не забудь, завтра в шесть утра на работу.

— Все ясно, Уку. Понял,— ответил он.

Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул песню, правда иногда невпопад, но усердно, и тем создавал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том отличном состоянии духа, когда ясность ума и восторженность чувств совмещаются без ущерба. За песней он умиленно вглядывался в лица гостей, одаря всех веселой сердечной улыбкой, уверенный, что всем так же хорошо, как ему. И был он красив, тогда еще чернобровый и черноусый Буранный Едигей, с поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. На всех хватало у него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую добрую Букей, он называл ее боранлинской мамой, предлагал за нее тосты, в ее лице — за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах Амударьи, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы.

— Он мне и так надоел! — заодно отвечала Букей.

Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только полным, расшифрованным именем: Уку баласы — дите совы, соенок. Для каждого находилось у него доброе, задушевное слово, в том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в сарозеках, и его бледной, беременной жены Сакен, которой предстояло в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле. Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажмурить глаза — и представлялась огромная заснеженная пустыня сарозеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоила того. Зарипа и пела и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый, Абуталип вел с грудной приглушенной протяженностью, пели задушевно, слаженно, особенно песни на татарский лад, их они пели алмак-салмак — взаимоотвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали. Уже многое перебрали из старинных и новых песен и не уставали, а, наоборот, распевались все азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив Зарипы и Абуталипа, Едигей не отрываясь смотрел на них и умилялся — такими они и должны были бы быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им продоху. В страшный летний зной Зарипа ходила испепеленная, как обгорелое при пожаре деревце, с пожухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами, сейчас же она была неузнаваема. Черноглазая, с сияющим взором, открытым, азиатски гладким, чистым лицом, сегодня она была прекрасна. Ее настроение лучше всего передавали четкие подвижные брови, которые пели вместе с ней, то вскидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно возникших песен. С особым чувством выделяя значение каждого слова, вторил ей Абуталип, раскачиваясь из стороны в сторону:

...Как след подпружный на боку иноходца,
Дни ушедшей любви не сотрутся из памяти...

А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, заставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша легко и свободно, по снегам сарозеков в этой своей сиреновой вязаной кофточке с белым отложным воротничком, со звенящей мандолиной, и тьма расступалась вокруг, и, удаляясь, она исчезала в тумане, только слышна была мандолина, но вспомнив, что и на боранлинском разезде есть люди и что им будет худо без нее, возвращалась Зарипа и снова возникала поющей за столом...

Потом Абуталип показывал, как они танцевали в партизанах, положив руки друг другу на плечи и перебирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип пел заборную сербскую песенку, и все они танцевали в кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая: «Опля, опля...»

Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздравляли с Новым годом, кто-то уходил, кто-то приходил... Начальник разезда и его беременная жена ушли еще до танцев. И так протекала ночь.

Зарипа вышла подышать, следом и Абуталип. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окликнула Укубала:

— Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь!

— Я сейчас. — Едигей вышел за порог в холодную ясную полуночи. — Абуталип, Зарипа! — позвал он, оглядываясь по сторонам.

Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. И остановился в нерешительности, не зная, как поступить: то ли уйти, то ли, наоборот, подойти к ним и увести домой. Что-то происходило между ними.

— Я не хотела, чтобы ты видел, — всхлипывала Зарипа. — Прости. Просто мне стало тяжело. Прости, пожалуйста.

— Я понимаю, — успокаивал ее Абуталип. — Я все понимаю. Но дело ведь не во мне, что я именно такой. Если бы это касалось только меня. Боже мой, одной жизнью больше, другой меньше. Можно было бы и не цепляться так отчаянно. — Они помолчали, и потом он сказал: — Дети наши избавятся... И на это вся надежда...

Недопонимая, в чем дело, Едигей осторожно отступил, передегивая плечами от холода, и неслышно вернулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все потускнело и праздник исчерпался. Новый год Новым годом, но пора и честь знать.

5 января 1953 года в десять часов утра на разъезде Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский поезд, хотя все пути перед ним были открыты, и он мог, как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне достаточно. Трое — все в черных хромовых сапогах одинакового фанона — сошли с подножки одного из вагонов и направились прямо в дежурное помещение. Шли молча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на секунду задержались возле снежной бабы. Молча посмотрели на надпись на куске фанеры, приветствующую их, да глянули на дурацкий малахай, старый, облезлый казантаповский малахай, напыленный на голову бабы. И с тем прошли в дежурку.

Через некоторое время из дверей выскочил начальник разъезда Абилов. Чуть было не столкнулся со снежной бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти побегал, чего с ним никогда не бывало. Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абуталипа Куттыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они направились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая Абуталипа, неся какие-то бумаги, взятые в его доме.

Потом все стихло. Никто не выходил и не входил в дежурное помещение.

Едигей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Едигея в сторону:

— Абуталипа допрашивают.

— Кто допрашивает?

— Не знаю. Какие-то приезжие. Абилов велел передать, что если не будут допытываться, то не говорить, что на Новый год были вместе с Абуталипом и Зарипой.

— А что тут такого?

— Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе к двум часам быть на месте. У тебя тоже хотят что-то спросить, узнать насчет Абуталипа.

— А что узнавать?

— Откуда я знаю. Пришел перепуганный Абилов и говорит — так и так. А я к тебе.

К двум часам и без того ходил Едигей домой обедать. По пути да и дома все пытался взять в толк, что случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен? Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно, плохо стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отставил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз велели в два, зна-

чит, в два. Вышел из дома. Возле дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный.

— Что случилось?

— Беда, беда, Едике,— заговорил Абилов, робко поглядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали.— Куттыбаева засадили.

— А за что?

— Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот дописался.

— Так это он для детей своих.

— Не знаю, не знаю для кого. Я ничего не знаю. Иди, тебя ждут.

В комнатухе начальника разезда, именуемой кабинетом, его ждал человек примерно одного возраста с ним или помоложе немного, лет тридцати, плотный, большеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то читал. Он вытер нос платком, хмуря тяжелый высокий лоб. И потом на протяжении всего их разговора он то и дело обтирал постоянно припотевавший нос. Он достал из лежащей на столе пачки «Казбека» длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едигея, стоявшего в дверях, ясные, как у кречета, желтоватые глаза, сказал коротко:

— Садись.

Едигей сел на табурет перед столом.

— Что ж, чтоб не было никаких сомнений,— произнес кречетоглазый, достал из нагрудного кармана гражданского кителя какую-то коричневую корочку, распахнул ее и тут же убрал, буркнув при этом что-то, то ли «Тансыкбаев», то ли «Тысыкбаев», Едигей так и не запомнил толком его фамилию.

— Понятно? — спросил кречетоглазый.

— Понятно,— вынужден был ответить Едигей.

— Ну, в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг-товарищ Куттыбаева?

— Может быть, и так, а что?

— Может быть, и так,— повторил кречетоглазый, затягиваясь казбечиной и как бы уясняя услышанное.— Может быть, и так. Допустим. Ясно.— И бросил вдруг с неожиданной усмешкой, с радостным, предвкушаемым удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло, глазах: — Ну что, друг любезный, пописываем?

— Что пописываем? — смутился Едигей.

— Это я хочу узнать.

— Я не понимаю, о чем речь.

— Неужто? А? Ну-ка подумай!

— Не понимаю, о чем речь.

— А что пишет Куттыбаев?

— Не знаю.

— Как не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?

— Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда мне знать. Какое мне дело? Охота человеку писать — пусть себе пишет. Кому какое дело?

— То есть как кому какое дело? — удивленно встрепенулся кречетоглазый, устремляя в него пронзительные, как пули, зрачки.— Значит, кто что хочет, то пусть и пишет? Это он тебя убедил?

— Ничего он меня не убеждал.

Но кречетоглазый не обратил внимания на его ответ. Он был возмущен:

— Вот она, вражеская агитация! А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет? А потом любой и каждый начнет высказывать что ему в голову взбредет! Так, что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет!

Едигей молчал, подавленный и удрученный обрушенными на него словами. И очень удивился, что ничего вокруг не изменилось. Как будто бы ничего не происходило. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкентский поезд, и представил себе на секунду: едут люди в вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку, ведут свои разговоры и никому нет дела, что в это время на разъезде Боранлы-Буранный сидит он перед невесть откуда свалившимся на годову кречетоглазым; и до саднящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки, догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край света, только бы не находиться сейчас здесь.

— Ну что? Доходит до тебя суть вопроса? — продолжает кречетоглазый.

— Доходит, доходит, — ответил Едигей. — Только одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел воспоминания описать. Как, что было с ним, скажем, на фронте, в плену, в партизанах. Что тут плохого?

— Для детей! — воскликнул тот, — Да кто этому поверит! Кто пишет для детей своих, которым без году неделя! Сказки! Вот как действует опытный враг! Упрятался в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспоминания!

— Ну, захотелось так человеку, — возразил Едигей. — Захотелось ему, наверно, свое личное слово сказать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они, дети его, почитали, когда вырастут.

— Какое еще личное слово! Это еще что такое? — укоризненно качая головой, вздохнул кречетоглазый. — Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Личное воззрение, так, что ли? Особое, личное мнение, что ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все, что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано пером, того не вырвать топором. Каждый еще будет мысли от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они, его так называемые «Партизанские тетради», вот в подзаголовке — «Дни и ночи в Югославии», вот они! — Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых переплетах. — Безобразия! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля. А мы его изобличили!

— В чем вы его изобличили?

Кречетоглазый дернулся на стуле и опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз:

— Ну это позволь уж нам знать, в чем мы его изобличили. — Смакуя каждое слово, произнес, упиваясь произведенным эффектом: — Это наше дело. Докладывать каждому не стану.

— Ну что ж, если так, — растерянно промолвил Едигей.

— Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром, — заметил кречетоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая: — Я думал, что ты поумней, что ты наш человек. Передовой рабочий. Бывший фронтовик. Поможешь нам разоблачить врага.

Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений:

— Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю.

Кречетоглазый вскинул уничтожающий взгляд.

— А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, то делу пшик? Ошибаешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи.

Едигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность. Одновременно росло, как волна на Аральском море, возмущение, негодование, несогласие с происходящим. Ему вдруг захотелось придушить этого кречетоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы это сделать. Уж какая жилистая и крепкая была шея у того фа-

ниста, которого ему пришлось удавить собственными руками. Другого выхода не было. Они столкнулись с ним неожиданно лицом к лицу в траншее, когда выбивали с позиции оборону противника. Зашли с фланга, забрасывая траншеею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились с боем дальше, когда вдруг сшиблись с ним в упор. Видимо, то был пулеметчик, до последнего пррстрелявший свой створ перед окопом. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мелькнула в сознании Едигея. Но тот успел занести нож над головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Едигей ожидал, что вонзится нож ему в спину, и поэтому с неослабевающим нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал, рыча, хрящающую шею оскалившегося, понервешего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обливаясь собственной блевотиной, он пополз подальше со стоном и мутью в глазах. Об этом он никому не рассказал ни тогда, ни после. Кошмар этот снился иногда ему, и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось... Об этом вспомнил Едигей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кречетоглазый берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело за живое. Пока тот писал, Едигей пытался найти слабину в доводах кречетоглазого. Из сказанного кречетоглазым одна мысль поразила Едигея своей алогичностью, каким-то дьявольским несоответствием: как это можно обвинять кого-либо во «враждебных воспоминаниях»? Разве могут быть воспоминания человека враждебными или невраждебными, ведь воспоминания — это то, что было когда-то в прошлом, это то, чего уже нет, что было в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том, как то было в действительности.

— Я хочу знать, — промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень даже спокойно. — Вот ты говоришь... — Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше саркозиков гнать его некуда. — Вот ты говоришь, — повторил он, — враждебные воспоминания. Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными? По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или, выходит, если хорошее — вспоминай, а если плохое, непригодное — не вспоминай, забудь? Такого вроде никогда и не было. Или, выходит, если какой сон приснится и о нем, о сне, надо вспоминать? А если сон страшный, негодный кому?..

— Вот ты какой! Хм, черт возьми! — подивился кречетоглазый. — Порассуждать любишь, поспорить захотел. Ты тут никак местный философ. Что ж, давай. — Он сделал паузу. И как бы примерился, изготовился и изрек: — В жизни всякое может быть в смысле исторических событий. Но мало ли что было и как было! Важно вспоминать, нарисовать прошлое устно или тем более письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас для нас. А все, что нам не на пользу, того и не следует вспоминать. А если не придержишься этого, значит, вступаешь во враждебное действие.

— Я не согласен, — сказал Едигей. — Такого не может быть.

— А никто и не нуждается в твоём согласии. Это ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте своей. А вообще-то я не обязан вступать с тобой в такие разговоры. Ну хорошо, давай перейдем от слов к делу. Скажи мне, когда-нибудь Куттыбаев, ну, скажем, в откровенной беседе, за вшивкой допустим, не называл тебе какие-нибудь английские имена?

— А зачем это? — искренне изумился Едигей.

— А вот зачем. — Кречетоглазый открыл одну из «Партизанских

тетрадей» Абуталипа и зачитал подчеркнутое красным карандашом место: «27 сентября к нам в расположение прибыла английская миссия — полковник и два майора. Мы прошли перед ними парадным маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, нескольких человек иностранных партизан среди югославов. Когда меня познакомили с полковником, он очень любезно пожал мне руку и все расспрашивал через переводчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко рассказал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними. И потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что англичане простые, откровенные люди. Полковник сказал, что великое счастье, или, как он выразился, провидение, помогло нам в том, что мы все в Европе объединились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелей, а возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов» — и так далее. — Закончив цитировать, кречетоглазый отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну казбечину и, помолчав, попыхивая дымом, продолжил: — Выходит, Куттыбаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не держал! Это до тебя доходит?

— А может быть, он говорил об этом, — Едигей пытался защитить Абуталипа, — да просто забыл написать.

— А где об этом сказано? Не докажешь! Больше того, мы сверились с показаниями Куттыбаева в сорок пятом году, когда он проходил контрольную комиссию по возвращении из югославского партизанского соединения. Там случай с английской миссией не упоминался. Значит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он не был связан с английской разведкой!

Опять Едигею стало тяжело и больно. Не понимал он, что тут к чему и куда клонит кречетоглазый.

— Куттыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай, не называл имен английских? Нам важно знать, кто были эти, из английской миссии.

— А какие имена у них бывают?

— Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек...

— Сроду таких не слышал.

Кречетоглазый задумался, помрачнел, не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкрадчиво:

— Он что тут, школу какую-то открывал, детей учил?

— Да какая там школа! — невольно рассмеялся Едигей. — Двое у него детишек. И у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Детям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учителя — и он и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат что-то писать, считать. Вот и вся школа.

— Какие песенки они пели?

— Да всякие. Детские. Я и не помню.

— А чему он их учил? Что они писали?

— Буквы. Слова какие-то обычные.

— Какие, например, слова?

— Ну какие! Я не помню.

— Вот эти! — Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из учебных тетрадей с детскими каракулями. — Вот это первые слова. — На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». — Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, — «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас ну-ка, подумай, что? Должна быть — «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.

Едигей замылся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталиша и Зарину, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:

— Если уж так, то надо бы первым долгом писать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.

Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатухе.

— Мы говорим — Сталин, подразумеваем — Ленин! — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно: — Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.

Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.

— У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?

— Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? — поразился Едигей и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разъезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.

Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого:

— Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведения, какие сведения — это наша забота. И мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?

— Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться — беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына и в отдалении он постоянно...

— Ну хорошо, — перебил его кречетоглазый. — А что сказал Куттыбаев при этом?

— Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный — и для него и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно...

— Это потом, — остановил его кречетоглазый. — Значит, он говорил, что советский интернат — это плохо?

— Он не говорил «советский». Он просто говорил — интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».

— Ну, это не важно. Кумбель в Советском Союзе.

— Как не важно! — вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. — Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..

— Думай, думай! — проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: — Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?

— Ничего он не против! — не утерпел Едигей. — Зачем напраслину возводить! Как так можно?

— Не надо, не надо, прекрати, — отмахнулся кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. — А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?

— Так точно, — оживился Едигей. — Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом...

— Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, — сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: — Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся... А этот тут писаниной занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? — Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.

— А что это? — не понял Едигей.

— Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

— Ну верно, это тоже легенда, — начал Едигей. — Это были. Старые люди знают эту историю...

— Не беспокойся, я тоже знаю, — перебил его кречетоглазый. — Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.

Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:

— Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.

— Ладно, ладно, успокойся, — ответил кречетоглазый. — Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.

Едигей встал. Замаялся, надевая шапку.

— Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?

Кречетоглазый резко привстал из-за стола.

— Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его — это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!

В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.

Ожидая впотьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы — Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спо-

койно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозек. Бужей оставалась дома с едигеевскими девочками.

Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.

Ветер мел. Он гнал поземку с шорохом и едва различимым свистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.

Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, который она собиралась передать мужу. Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи Укубалы. Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал, он тревожно молчал, прижавшись к тете Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, которого, заслоня собой от ветра, держал на руках Едигей. Этот малыш ничего не подозревал.

— Папика, папика! — звал он отца. — Иди сюда, к нам. Мы тоже поедем с тобой!

Абуталип вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал:

— Не стойте здесь! Слышите? Идите отсюда, потом подойдете. Пришлось отступить подальше.

Но вот показались издали огни паровоза, и все зашевелились, задвигались на месте. Зарипа не удержалась, всхлипнула громче. И вместе с ней заплакала Укубала. Поезд нес с собой разлуку. Пробирая лобовым светом толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной грохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза, все различимей крутилась в полосе света мятущаяся поземка между рельсами, все слышней и тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда.

— Папика, папика! Смотри, поезд идет! — кричал Эрмек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается. И снова пытался обратить его внимание: — Папика, папика!

Суетившийся возле начальник разъезда Абилов подошел к тем троицам:

— Почтовый вагон будет в голове состава. Прошу, пройдите, пожалуйста, вперед. Вот туда.

Все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом, поезд уже нагонял. Впереди не оглядываясь шел кречетоглазый с портфелем, за ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников и на некотором расстоянии от них поспешали следом Зарипа, за ней Укубала, ведя за руку Даула. Едигей шел сбоку и чуть позади с Эрмеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при жещинах и детях. И пока они шли, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком.

— Ты умный мальчик, Эрмек. Ты умный, да? Ты умный, ты не будешь плакать, хорошо? — бессвязно бормотал он, прижимая к себе малыша.

А поезд тем временем, замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрогнул, когда паровоз, ровнясь с ними и еще продвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора.

— Не бойся, не бойся,— сказал Едигей.— Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой.

Поезд остановился с долгим, тяжким скрежетом, закуржавелые от изморози и снежной пыли, подслеповатые от наледи на стеклах вагоны застыли на месте. И стало тихо. Но паровоз тут же с шипением спустил пар, готовясь снова тронуться в путь. Почтовый вагон был следующим после багажного от паровоза. Окна почтового вагона были зарешечены, а двустворчатые двери располагались посередине. Двери открылись изнутри. Выглянули мужчина и женщина в форменных почтовых фуражках, в ватных штанах и телогрейках. Женщина с фонарем была, видимо, старшей. Она была грузная и широкогрудая.

— Это вы? — сказала она, держа фонарь у головы так, чтобы всех осветить.— Ждем вас. Место готово.

Первым поднялся кречетоглазый с большим портфелем.

— Ну давайте, давайте, не задерживайте! — заторопили сразу те двое.

— Я скоро вернусь! Это какое-то недоразумение! — торопливо говорил Абуталип.— Скоро вернусь, ждите!

Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абуталип стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил прижимал к себе, целовал и что-то говорил им, испуганным и ничего не понимающим. А паровоз был уже под парами. Все это происходило при свете ручного фонаря. И тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, свербящий душу свисток.

— Ну все, давай-давай, садись! — потащили те двое Абуталипа к ступеням вагона.

Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обняться и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем, всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокрыми щетинистыми щеками.

— Рассказывай им про море! — шепнул Абуталип.

То были его последние слова. Едигей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море.

— Ну хватит тут, давай, а ну давай, садись давай! — растолкали их.

Поднирая сзади плечами, те двое втолкнули Абуталипа в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они разом заплакали в голос, разом крича:

— Папика! Папа! Папика! Папа!

И рванулся Едигей с Эрмеком на руках к вагону.

— Ты куда? Ты куда? Бог с тобой! — яростно отталкивала его в грудь женщина с фонарем, заслоня тяжелыми плечами проход к дверям.

Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов был, если бы на то пошло, сам уехать вместо Абуталипа, чтобы по дороге придуть кречетоглазого собственными руками, так стало ему невыносимо больно, когда закричали ребята.

— Не стойте здесь! Уходите отсюда, уходите! — орала женщина с фонарем. И пар из ее крепко прокуренного рта ударил луковым духом в лицо Едигея.

Зарипа вспомнила, что узелок оставался у нее в руках.

— Натё, передайте, это еда! — кинула она узелок в вагон.

И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло. Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скрипуче раскручивая колеса, медленно набирая ход по морозу.

Боранлинцы невольно потянулись за отходящим поездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первой опомнилась Укубала. Она схватила Зарипу, прижала ее к груди и не отпускала.

— Даул, не уходи! Стой стой здесь! Держи маму за руку! —

громко велела она, пересиливая перестук все убыстряющихся, пробегающих мимо колес.

А Едигей с Эрмеком на руках еще пробежал по ходу поезда, и лишь когда промелькнул последний вагон, остановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум движения и рдеющие угасающие огни... Послышался последний протяжный гудок...

Едигей повернул назад. И долго не мог успокоить плачущего мальчика...

Уже дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил среди ночи об Абилове. Едигей тихо поднялся, стал одеваться. Укубала сразу догадалась.

— Ты куда? — схватила она мужа. — Не тронь его, пальцем даже не смей трогать! У него жена беременная. Да и не имеешь права. Как докажешь?

— Не беспокойся, — спокойно ответил Едигей. — Я его не трону, но он должен знать, что ему лучше перебираться в другое место. Я тебе обещаю — даже волоска не упадет с его головы. Поверь мне! — он выдернул руку и вышел из дома.

Окна Абиловых еще светились. Значит, не спали.

Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыл Абилов.

— А, Едике, заходи, заходи, — испуганно проговорил он и, бледнея, попятился назад.

Едигей молча вошел вместе с клубами морозного пара. Остановился на пороге, прикрыл за собой дверь.

— Ты зачем осиротил этих несчастных? — сказал он, стараясь быть как можно сдержанней.

Абилов упал на колени и буквально пополз, хватаясь за полы Едигеева полушубка.

— Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не разродиться! — страшно поклялся он, оборачиваясь к замершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь и сбиваясь: — Ей-богу, не я, Едике. Как я мог! Это тот самый ревизор! Вспомни. Это он все допытывался да расспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет. Это он, тот ревизор. Как я мог! Вот чтобы ей не разродиться! Да я давеча у поезда не знал, куда себя деть, готов был провалиться, чтобы не видеть! Этот ревизор все в душу лез с разговорами и все расспрашивал обо всем, откуда мне было знать... Да если бы я знал...

— Ну ладно, — прервал его Едигей. — Встань, поговорим как люди. Вот при жене твоей. Пусть благополучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты и не виноват. Но ведь тебе все равно где быть. А нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так ты подумай. Наверно, стоит тебе со временем перебраться на другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к этому разговору не вернемся. Только это и хотел сказать и больше ничего...

С тем Едигей вышел, закрыв за собой дверь.

IX

На Тихом океане, южнее Алеутов было далеко за полдень. Все так же штормило вполсилы, все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядками волны одна вслед за другой, являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту. Авианосец «Конвенция» слегка покачивался на волнах. Он находился на прежнем месте, на строго одинаковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и Владивостоком. Все службы судна международной научной программы находились в напряжении, в полной готовности к действиям.

К этому времени на борту авианосца завершалось экстренное заседание особоуполномоченных комиссий по расследованию чрезвычай-

чайного положения, возникшего в результате открытия внеземной цивилизации в системе светила Держатель. Самовольно отбывшие вместе с инопланетянами паритет-космонавты 2-1 и 1-2 все еще находились на планете Лесная Грудь, трижды предупрежденные Обценупром через радиосвязь орбитальной станции «Паритет» — ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний Обценупра.

Эти категорические требования Обценупра отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию, тот накал разногласий в отношениях сторон, которые грозили полным разрывом сотрудничества и более того — открытой конфронтацией. То, что недавно сближало стороны в интересах интегрированной научно-технической мощи ведущих держав, — программа «Демидург» сама собой отошла на второй план и сразу утратила свое бывшее значение перед лицом суперпроблемы, неожиданно возникшей с обнаружением внеземной цивилизации. Члены комиссий отчетливо понимали одно: что это небывалое, ни с чем не сопоставимое открытие подвергало кардинальному испытанию сами основы современного мирового сообщества, все то, что проповедовалось, культивировалось, вырабатывалось в сознании поколений из века в век, — всю совокупность правил его существования. Мог ли кто отважиться на такой рискованный шаг, не говоря уж о соображениях тотальной безопасности земного мира?

И тут снова, как всегда в кризисные моменты истории, обнажились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле.

Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Разность взглядов, разность подходов все больше принимала характер непримиримых позиций. Дело стремительно катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы были неминуемо вылиться в мировую войну. Каждая сторона поэтому пыталась воздержаться от крайностей перед общей опасностью подобного рода развития событий, но еще большим сдерживающим фактором служила нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земного сознания, что могло стихийно произойти, если бы весть о внезапной цивилизации стала фактом общей гласности... Никто не мог поручиться за последствия такого исхода дела...

И разум взял свое, стороны пришли к компромиссу — вынужденному и опять же на строго сбалансированной основе. В связи с этим на орбитальную станцию «Паритет» передали кодированную радиogramму Обценупра следующего содержания:

«Космонавтам-контролерам 1-2, 2-1. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиокontakt с помощью бортовых систем «Паритета» с паритет-космонавтами 1-2, 2-1, находящимися в засолочной Галактике, в так называемой системе светила «Держатель», на планете Лесная Грудь. Необходимо срочно поставить их в известность, что на основании заключений двусторонних комиссий, изучивших информацию о внеземной цивилизации, открытой паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, Обценупр принимает решение, не подлежащее пересмотру:

а) не допускать возвращения бывших паритет-космонавтов 1-2 и 2-1 на орбитальную станцию «Паритет» и тем самым на Землю как лиц, нежелательных для земной цивилизации;

б) объявить обитателям планеты, именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов как несовместимых с историческим опытом, насущными интересами и особенностями нынешнего развития человеческого общества на Земле;

в) предупредить бывших паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались

установить связь с землянами ни тем более проникать в околоземные сферы, как это имело место в случае посещения инопланетянами орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин»;

г) в целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Обценупр объявляет установление в срочном порядке Чрезвычайного транскосмического режима под названием операция «Обруч», запрограммировав серию барражирующих по заданным орбитам боевых ракет-роботов, рассчитанных на уничтожение ядерно-лазерным излучением любых предметов, приблизившихся в космосе к земному шару;

д) довести до сведения бывших паритет-космонавтов, самовольно вступивших в контакт с инопланетными существами, что в целях безопасности, сохранения сложившейся стабильности геополитической структуры землян исключается какая-либо возможность связи с ними. А потом будут предприняты все меры строжайшего засекречивания события, имевшего место, и меры по недопущению возобновления контактов. С этой целью орбита станции «Паритет» будет немедленно изменена, а каналы радиосвязи станции будут наново закодированы;

е) еще раз предупредить инопланетян об опасности приближения к зонам «Обруча» вокруг земного шара.

Обценупр. Борт авианосца «Конвенция».

Прибегая к этим оградительным мерам, Обценупр вынужден был заморозить на неопределенное время всю программу «Демидург» по освоению планеты Икс. Орбитальную станцию «Паритет» предстояло перевести на другие параметры вращения и использовать ее для текущих космических наблюдений. Кооперативный научно-исследовательский авианосец «Конвенция» было решено передать на сохранение нейтральной Финляндии. После запуска в дальний космос системы «Обруч» всем паритетным службам, всем научным и административным работникам, всей подсобной службе предстояло расформироваться при строжайшей подписке не разглашать до самой смерти причины свертывания деятельности Обценупра.

Для широкой общественности предполагалось объявить, что работы по программе «Демидург» приостанавливаются на неопределенное время в связи с возникшей необходимостью капитальных изысканий и коррекций на планете Икс.

Все было тщательно продумано. И всему этому предстояло быть сразу же после экстренного вывода «Обруча» вокруг земного шара.

Перед этим, непосредственно после окончания заседания комиссий, все документы, все шифровки, вся информация бывших паритет-космонавтов, все протоколы, все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к этой печальной истории, были уничтожены.

На Тихом океане, южнее Алеутов время клонилось к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно сносная. Но все-таки волнение океана постепенно усиливалось. И уже слышен был рокот вскипающих повсюду волн.

Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала момента выхода членов особоуполномоченных комиссий к самолетам по завершении заседания. Но вот они вышли все. Распрощались. Одни пошли на посадку к одному самолету, другие — к другому.

Взлет прошел отлично, несмотря на качку. Один из лайнеров взял курс на Сан-Франциско, другой в противоположную сторону — на Владивосток.

Омываемая вышними ветрами, плыла Земля по вечным кругам своим. Плыла Земля... То была маленькая песчинка в неизмеримой бесконечности Вселенной. Таких песчинок в мире было великое множество. Но только на ней, на планете Земля, жили-были люди. Жили как могли и как умели и иногда, обуреваемые любознательностью,

пытались выяснить для себя, нет ли еще где в других местах подобных им существ. Спорили, строили гипотезы, высаживались на Луну, засылали автоматические устройства на другие небесные тела, но всякий раз убеждались с горечью, что нигде в окрестностях Солнечной системы нет никого и ничего похожего на них, как и вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали, не до того было, не так-то просто удавалось им жить и ладить между собой, да и хлеб насущный добывать стоило трудов... Многие вообще считали, что не их это дело. И плыла Земля сама по себе...

Весь тот январь был очень морозным и мгlistым. И откуда столько холода нагоняло в сарозеки! Поезда шли со смерзшимися буксами, добела прокаленные ледяной стужей. Странно было видеть — черные нефтеналивные цистерны останавливались на разъезде сплошь белой, завьюженной, в изморози чередой. А стронуться с места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдергивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса. И эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе далеко вокруг лязгающим железным громыhaniем. По ночам дети боранлинцев испуганно просыпались от этого грохота.

А тут еще и заносы начались на путях. Одно к другому. Ветры сшалели. В сарозеках им был полный простор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И, казалось боранлинцам, ветер так и норovil наметать сугробы именно на железной дороге. Только и высматривал любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, завалить пути тяжким свеем.

Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только и знали что поспевать из конца в конец перегона расчищать пути то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выгручали верблюжьи волокуши. Весь тяжелый верхний слой заноса вывозили на обочину дороги волокушей, а остальное приходилось довершать вручную. Едигей не жалел Каранара и был доволен возможностью измотать его, усмирить в нем буйную силу, впряг в пару с другим, под стать ему по тяге верблюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы поперечной доской с противовесом позади, на котором сам стоял, придавливая волокушу собственной тяжестью. Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что вышли уже с заводов специальные снегоочистители, локомотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в скором времени при-слать такие машины, но пока обещания оставались на словах.

Если летом месяца два припекало до умопомрачения, то теперь вдохнуть морозный воздух было страшно — казалось, легкие разорвутся. И все равно поезда шли и дело требовалось делать. Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавшей поблескивать кое-где сединками, глаза вспухали от недосыпания, лицо — в зеркало глянуть отвратно: как чугун, стало. Из полушубка не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном. На ногах валенки.

Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история Абуталипа Куттыбаева. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думали-гадали они с Казангапом — как же все это приключилось и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь, напряженно думал о чем-то своем. А однажды сказал:

— Всегда так бывало. Пока еще разберутся... В давние дни не зря говорили: «Хан не бог. Он не всегда знает, что делают те, что при нем, а те, что при нем, не знают о тех, кто на базарах поборы собирает». Всегда было так.

— Да что ты, слушай! Тоже мне мудрец, — недовольно высмеял его Едигей. — Когда им дали по шапке, ханам всяким! Да разве дело в этом!

— А в чем? — резонно спросил Казангап.

— В чем, в чем! — раздраженно проворчал Едигей, но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу вопросом, не находя ответа.

Как известно, беда не приходит одна. Простыл здорово старшенький Куттыбаевых — Даул. Свалился в жару и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина. лечила его всякими таблетками. Но при детях находиться неотлучно она не могла: работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то в день приходилось ее дежурство. Пришлось Укубале взять на себя эти заботы. Своих двое да ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа. И Едигей как мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак из сарайчика и, если успевал, растапливал печь. Каменный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засыпал сразу ведра полтора угля, чтобы целый день тепло держалось для детей. Воду из цистерны на тупиковой линии тоже сам приносил, дрова колот на растопку. Что стоило ему сделать то, сделать это, дров наколоть, воды принести и прочее... Самое трудное заключалось в другом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смотреть в глаза Абуталиповым ребятам и отвечать на их вопросы. Старший лежал больной, он был по характеру сдержанным малым, но младший, Эрмек, тот, что в мать, живой, ласковый, бесконечно чувствительный и ранимый, с тем трудно приходилось. Когда Едигей заносил поутру уголь и растапливал печь, то старался не разбудить ребят. Однако редко когда удавалось уйти незамеченным. Кудрявый, черноголовый Эрмек сразу просыпался. И первый его вопрос, как только открывал глаза, был:

— Дядя Едигей, а папика приедет сегодня?

Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистребимой надеждой в глазах, что стоит Едигею сказать «да» — и отец непременно вернется и снова будет с ними дома. Едигей стребал его в охапку, худенького, теплого, и снова укладывал в постель. Разговаривал как со взрослым:

— Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет твой папика, но со станции нам должны сообщить по связи, каким поездом он вернется. Ведь у нас пассажирские поезда не останавливаются, сам знаешь. Только по приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на днях должны радировать. И тогда мы с тобой и с Даулом, вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду и встретим.

— Мы скажем: папика, а вот и мы! Так ведь? — развивал мальчонка придумку взрослого.

— Ну конечно! Мы так и скажем, — бодрящимся тоном поддерживал Едигей.

Но сообразительного малыша не так-то просто было провести.

— Дядя Едигей, а давай, как тогда, сядем на товарный поезд и поедем все к этому самому главному диспетчеру. И скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на котором приедет папика.

Приходилось выкручиваться.

— Но ведь тогда было лето, тепло. А сейчас на товарном поезде как поедешь? Холодно очень. Ветрище. Вон видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем, застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно.

Мальчик примолкал грустно.

— Ты полежи пока, а я посмотрю Даула, — находил причину Едигей, подходил к постели больного, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка... Тот с трудом приоткрывал глаза, слабо улыбался спекшимися от жара губами. Жар все еще держался. — Ты не раскрывайся. Ты потный. Слышишь, Даул? Еще больше простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тазик, когда он помочиться захочет. Слышишь? Чтобы он не вставал. Скоро ваша мама придет с дежурства.

А тетя Укубала придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет, будете прибегать к нам, играть с Сауле и Шарапат. Мне на работу пора, а то ведь снег какой большой, поезда остановятся,— заговаривал Едигей ребят перед уходом.

Но Эрмек был неумолим.

— Дядя Едигей,— говорил он ему, стоящему уже на пороге.— Если снегу будет очень много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У меня есть маленькая лопатка.

Едигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Саднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет. И вымещал свою злость на снеге, ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе. Работал как зверь, точно бы один мог остановить всю сарозекскую пургу...

А дни шли как капли, падающие с неотвратимой размеренностью одна за другой. Вот и январь миновал и холода начали слегка сдавать. От Абуталипа Кутгыбаева не было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и Казангап — по-всякому думали, судили мужики. И тому и другому казалось, что должны его отпустить вскорости, что уж там такого страшного — писал что-то для себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и эту надежду внушали они как могли Зарипе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, на сколько хватило бы ее выдержки.

Буранный Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь взглянуть, как гурт верблюжий пасется и, главное, как ведет Каранар себя. Не покалечил ли кого в стаде? Перебесился ли, пора уж. Пошел на лыжах, это было неподалеку. Вернулся вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке. Пасутся животные в Лисохвостовой лощине, снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой лыжи оставить. Старшая дочка Сауле выглянула из двери испуганная:

— Папа, мама плачет! — И скрылась.

Едигей бросил лыжи, встревоженный поспешил в дом. Укубала так редела, что у Едигея перехватило дыхание.

— Что? Что случилось?

— Будь проклято все в этом проклятом мире! — запричитала, захлебываясь в рыданиях, Укубала.

Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. Укубала была крепкой, трезвой женщиной.

— Это ты, ты во всем виноват!

— В чем? В чем я виноват? — поразился Едигей.

— Наговорил с целый короб несчастным детишкам. А давеча, вот только что, останавливался пассажирский, встречный у него был впереди. Остановился пропустить его. И откуда только они сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Папа! Папика! Папика приехал!» И к поезду! Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папа, папика! Где наш папика?» Думала, под поезд попадут. А они бегут по всему составу, отца зовут! Ни одна дверь не открылась. А они бегут. Длиннющий глухой состав. А они бегут! И пока догнала я, пока ухватила этого, младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся и пошел. А они вырываются: «Там папика наш, не успел сойти с поезда!» — и такой рев подняли. Сердце мое зашлось, думала, с ума сойду, так кричали и плакали они. С Эрмеком плохо! Иди успокой ребенка! Иди! Это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился! Если бы ты видел! И зачем только так устроено в жизни, зачем так

страшно привязывается отец к дитю, а дите к отцу? Зачем такие страдания?

Едигей шел к ним как на казнь. И только об одном молил бога: чтобы снизошел он и простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ. Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как держать ответ?

При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, с воплем подбежали и, давась слезами, всхлипывая, плача, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не успел сойти и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд...

— Сагындым¹⁷, папикамды! Сагындым, сагындым! — кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием, надеждой, горем.

— Сейчас я все узнаю. Тише, тише, не плачьте, — пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить зашедшихся в реве ребят. И еще труднее было самому выстоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети не увидели в нем слабого, беспомощного человека. — Вот сейчас мы пойдем, мы пойдем! «Куда пойдем? Куда? К кому пойдем? Что делать? Как быть?» — думал он при этом. — Вот мы сейчас выйдем и там подумаем, поговорим, — обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал что-то бессвязное.

Он подошел к Зарипе. Она лежала на кровати пластом, уткнув лицо в подушку.

— Зарипа, Зарипа! — тронул ее за плечо Едигей.

Но она даже не подняла головы.

— Мы пойдем сейчас походим, побродим немного вокруг, а потом заглянем к нам, — сказал он ей. — Я пойду с ребятами.

Это было единственное, что он мог придумать, чтобы как-то успокоить, отвлечь их и самому собраться с мыслями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги. Никогда еще не испытывал Буранный Едигей такого сострадания к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему в затылок. Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое существо так доверчиво прикикло к нему, так доверчиво ухватилось за его плечи, а второе такое же существо так доверчиво держалось за его руку, что Едигею было хоть криком кричать от боли и жалости к ним.

Так шли они вдоль железной дороги среди пустынных сарозеков, и лишь поезда проходили, грохоча, то в одну, то в другую сторону... Приходили и уходили...

И опять вынужден был Едигей сказать детям неправду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, который случайно остановился на их разъезде, шел в другую сторону, а их папика должен прибыть с другой стороны. Но вернется он, наверное, не так скоро. Оказывается, его послали на какое-то море матросом, и как только корабль приплывет из того далекого путешествия, он придет домой. Надо пока подождать. По его понятиям, эта неправда должна была помочь им пока продержаться, пока неправда сбудется правдой. Едигей не сомневался, что Абуталип Куттыбаев вернется. Пройдет какое-то время, разберутся, и он вернется, ни одной секунды не задержится, как только его освободят. Отец, так любящий детей своих, не промедлит ни секунды... И потому Едигей говорил неправду... Достаточно хорошо зная Абуталипа, Едигей лучше чем кто-либо представлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей. Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тяжело переживал бы временную отлучку, пусть и не по своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой. А для Абуталипа, Едигей в этом не сомневался, то было равно-

¹⁷ Сагындым — истосковался, измучился в тоске.

сильно высшей мере наказания. И боялся Едигей за него. Выдержит ли, дождется ли, пока будут вершиться суд да дело...

Зарипа к тому времени отправила уже несколько писем в соответствующие учреждения с запросом о муже и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свидание. Пока никакого ответа не поступало. Казангап и Едигей тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объяснить это тем, что разезд Боранлы-Буранный не имел прямой почтовой связи. Письма необходимо было передавать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и тоже путем добрых услуг... А такой способ связи, как известно, не всегда самый быстрый.

Так оно и случилось однажды...

В самых последних числах февраля ездил Казангап в Кумбель проведать Сабитжана в интернате. Ездил верхом на верблюде. В проходящих товарняках зимой слишком уж холодно было добираться. В вагоны не залезешь, запрещено, а на открытых площадках ветер невыносимый. На верблюде же, тепло одевшись, можно при хорошем ходе спокойно за день съездить туда и обратно и дела успеешь сделать.

Казангап вернулся в тот день к вечеру. Пока он спешивался, Едигей еще подумал — что-то не в духе Казангап, что-то уж очень мрачен, сын, наверно, нашкодил в интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом туда-сюда.

— Ну, как съездил? — подал голос Едигей.

— Да ничего,— глухо отозвался Казангап, занятый своей поклажей. Потом обернулся и, подумав, сказал: — Ты сейчас дома будешь?

— Дома.

— Дело есть. Я сейчас зайду к тебе.

— Заходи.

Казангап не заставил себя ждать. Пришел вместе со своей Букей. Сам впереди, жена следом. Оба они были чем-то очень озабочены. У Казангапа был усталый вид, шея еще больше вытянулась, плечи обвисли, усы поникли. Толстая Букей одышливо дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть.

— Вы что такие, вы, часом, не поругались? — посмеялась Укубала.— Мириться пришли. Садитесь.

— Если бы поругались,— набрякшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша.

Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался:

— А девчухи ваши где?

— У Зарипы играют с ребятами,— ответил Едигей.— А зачем они тебе?

— Вести у меня плохие,— промолвил Казангап, глянув на Едигея и Укубалу.— Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталип!

— Да ты что?! — подскочил Едигей, а Укубала, коротко вскрикнув, зажала ладонью рот и побелела, как стена.

— Умер! Умер! Несчастные дети, несчастные сироты! — полухрипом-полушепотом запричитала Букей.

— Как умер? — все еще не веря услышанному, испуганно придвинулся Едигей к Казангапу.

— Бумага такая пришла на станцию.

И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга.

— Ой, горе! Ой, горе! — схватилась за голову Укубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону...

— Где эта бумага? — спросил наконец Едигей.

— Бумага на месте, на станции,— стал рассказывать Казангап.— Ну, побывал я в интернате и дай, думаю, загляну на вокзал в магазинчик тот самый в зале ожидания. Букей мыла просила купить.

Только я к двери, а навстречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит: «Вот кстати попался на глаза, зайдём ко мне в кабинет, письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с печатными буквами. «Абуталип Куттыбаев, говорит, у вас работал на разъезде?» У нас, говорю, а что такое? «Да вот третьего дня прибыла эта бумага, а передать не с кем было на Боранлы-Буранный. На, передай его жене. Тут ответ на ее запросы. Умер он, как тут написано» — и сказал какое-то непонятное мне слово. От инфаркта, говорит. А это что такое — инфаркт, говорю я. А он отвечает — от разрыва сердца. Вот оно как — лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале. Взял в руки ту бумагу. Там сказано: начальнику станции Кумбель сообщить на разъезд Боранлы-Буранный официальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос — и дальше о том, что подследственный Абуталип Куттыбаев, так и так, умер от приступа. Так и сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. «Вот какие дела, — говорит Чернов и разводит руками. — Возьми, передай ей». Я говорю — нет, у нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые, как я посмею их сокрушить, нет, говорю. Мы, говорю, боранлинцы, вначале там у себя посоветуемся и потом решим. Или кто из нас приедет специально за этой бумагой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую весть, не воровей же погиб, человек, или скорей всего жена его, Зарипа Куттыбаева, сама приедет и получит из ваших рук. И вы уж сами объясните да расскажете, как все произошло. А он мне: «Дело, говорит, твое, как хочешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать. Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело передать эту бумагу по назначению, вот и все». Ну, я говорю, извините, но пусть пока бумага побудет у вас, а на словах я передать передам, и мы посоветуемся там у себя, на месте. «Ну смотри, говорит, тебе виднее». С тем я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и сердцем изболелся: как же нам быть? у кого из нас хватит духу сказать им такое?..

Казангап замолчал. Едигей пригнулся так, как будто гора налегала на плечи.

— Что теперь будет? — промолвил Казангап, но ему никто не ответил.

— Я так и знал, — горестно покачал головой Едигей. — Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я больше всего боялся. Не вынес разлуки. А тоска — это вещь страшная. Вот детишки его так тоскуют по отцу — смотреть на них нет сил. А был бы он другим человеком. Ну пусть, скажем, осудили бы его не знаю за что, ну пусть бы осудили его. Ну отсидел бы год, два или сколько и вернулся бы. Ведь он в немецком плену, в концлагерях сколько натерпелся, в партизанах тоже несладко приходилось и все эти годы воевал в чужих краях и не сломился, потому что тогда он был один, сам по себе, тогда семьи у него не было. А сейчас его, что называется, с живым мясом отодрали от живого, от самого дорогого для него, от детей. Вот и случилась беда...

— Да-а, я тоже так думаю, — отозвался Казангап. — Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не то, совсем молодой ведь, и умный, и грамотный, дождался бы, когда разберутся да освободят. Не виноват ведь ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце, выходит, не выдержало. Уж как он любил своих детишек, на голову свою...

Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарипу, но как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином к одному — семья лишилась отца, дети осиротели, Зарипа овдовела, и к этому ничто ни прибавит...

вить, ни убавить. Однако самое разумное предложение высказала все-таки Укубала:

— Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции. Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей. И пусть решит — там, на станции, и по пути назад будет у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об этом или пока не стоит. Может, решит подождать, пока они чуточку подрастут да позабудут хоть немного отца. Трудно ведь сказать...

— Ты верно говоришь,— поддержал ее Едигей.— Она мать, пусть сама решает, скажет или не скажет ребятам о смерти Абуталипа. Я лично не могу...— И дальше Едигей не смог выговорить, язык не подчинился, он закашлялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувшей его горло.

И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к общему мнению.

— Надо, Казаке,— посоветовала она Казангапу,— чтобы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее запросы. Но просили прибыть ее лично, так, мол, надо. А во-вторых,— продолжала она,— нельзя Зарипу отправлять туда одну в такой день. У них тут ни родных, ни близких. А самое страшное в горе — это одиночество. Ты, Едигей, поезжай вместе с ней, будь рядом в этот час. Мало ли что может случиться при таком несчастье. Скажи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вместе. А дети побудут у нас.

— Хорошо,— согласился Едигей с доводами жены.— Завтра я скажу Абилову, что Зарипу требуется повезти в больницу на станцию. Пусть приостановит на минуту проходящий поезд.

На том порешили. Но выехать в Кумбель им удалось лишь через пару дней на попутном поезде, приостановившемся на линии по просьбе начальника разъезда. То было 5 марта. Буранный Едигей навсегда запомнил тот день.

Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось полно, с семьями, с детьми, с неизбежным дорожным бытом, сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с картами до очумелости и бабьими полуприглушенными исповедями друг другу о нелегком житье-бытье, о пьянстве мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах... Люди ехали далеко. И им сопутствовало все, что составляло их повседневную жизнь... К ним со своей бедой и горем примкнули ненадолго Зарипа и сопровождавший ее Буранный Едигей.

Конечно, Зарипе было не по себе. Сумрачная, встревоженная, она всю дорогу молчала, раздумывая, должно быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника станции. Едигей тоже больше помалкивал.

Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, замечающие с первого взгляда, что неладное происходит с человеком. Когда Зарипа встала с места и пошла по вагону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидевшая на лавке против Едигея, сказала, глянув добрыми, когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости глазами:

— Что, сынок, жена-то у тебя больная?

Едигей даже вздрогнул.

— Не жена, а сестра она мне, мамаша. В больницу везу.

— То-то, гляжу, мается бедняжка. И очень ей худо. Глаза в горести беспросветной. Бойтся небось в душе-то. Бойтся, как бы в больнице болезнь какую страшнющую не отыскали. Эх, житье наше бытье! Не родишься — свет не увидишь, а родишься — маеты не оберешься. Так-то оно. Да господь милостив, молодая еще, обойдется, чай,— приговаривала она, улавливая и понимая каким-то образом ту смятенность и печаль, которые переполняли Зарипу все сильнее с приближением к станции.

Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам поезда было безразлично, по каким местам ехали они в тот день. Спрашивали лишь, ка-

кая станция впереди. А великие сарозеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескрайнем царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые проблески отступления зимы уже обозначились. Чернели оттаявшие местами залысины на склонах, проступали неровные кромки оврагов, мелькали пятна на приторках, и повсеместно снег начал оседать от влажного, оттепельного ветра, пробудившегося в степи с приходом марта. Однако солнце еще затворялось в сплошных низких тучах, серых и водянистых даже с виду. Жива была еще зима — мокрый снег мог повалить, а то и метель напоследок могла заняться...

Поглядывая в окно, Едигей оставался на своем месте, напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая с ней, но к Зарипе не стал подходить. Пусть, думал он, одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает свое положение. Может быть, какое-то внутреннее предчувствие подскажет ей что-то. Возможно, припомнится ей та поездка в начале осени прошлого года, когда они все вместе, обе семьи со всей ребятишкой забрались в попутный товарняк и поехали в Кумбель за дынями и арбузами и были очень счастливы, а для детей то было незабываемым праздником. Совсем недавно, казалось бы, все это происходило. Сидели они тогда, Едигей и Абуталип, у приоткрытых дверей вагона на ветерке и разговоры вели всякие, крутились рядом ребята, глазели на проплывающие мимо земли, а жены, Зарипа и Укубала, тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом ходили по магазинам и по станционному сквернику, в кино побывали, в парикмахерской. Мороженое ели ребята. Но самое трагикомичное было, когда они так и не смогли все вместе уговорить Эрмека подстричься. Боялся он почему-то прикосновения машинки к голове. И вспомнилось Едигею, как появился в тот момент в дверях парикмахерской Абуталип и как сынишка кинулся к нему, а тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защищая его инстинктивно от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и сделают это в следующий раз, а пока потерпится. Чернокудрый Эрмечик растет и поныне нестриженный от рождения, но теперь без отца...

И снова, уже в который раз пытался Буранный Едигей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталип Куттыбаев умер, не дождавшись решения своего дела. И снова приходил к единственно объяснимому заключению — только безысходная тоска по детям надорвала ему сердце. Только разлука, тяжесть которой дано далеко не всем постичь, только горестное сознание того, что сыновья, а без них он не представлял себе не то что жизни — дыхания, без которого мгновенно прерывается самая жизнь, остались оторванными, брошенными на произвол судьбы на каком-то разъезде, в безлюдных, безводных сарозеках, только это убило его...

Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке в пристанционном скверике, поджидая Зарипу. Они условились, что он будет поджидать ее здесь, на этой скамейке, пока она сходит за бумагами к начальнику станции.

Был уже полдень, но погода стояла нехорошая. Низкое, облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то изредка падало — то ли снежинки, то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи волглый, пахнувший уже тронутыми таяньем лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едигею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей в станционной суете и сутолоке, сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен, а тут поезда поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шныряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино: вот оно есть — прибыл поезд, и вот его не станет — убыл поезд.

В этот раз все это не интересовало его. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга... К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно хрипящему на всю пристанционную площадь, вызы-

вала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Что за музыка? Вот заладили. И что-то не слышно было величественно-напыщенных голосов дикторов. Заладили одну музыку!..

Прошло уже минут двадцать, а то и больше, как Зарипа скрылась в вокзальном помещении. Едигей стал беспокоиться, и хотя они твердо договорились, что он будет ждать ее на этой скамейке, на этой именно, где в прошлый раз с детьми и Абуталипом сидели они и ели мороженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть, что там.

И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, и она шла, никуда не глядя, как во сне, ни на кого и ни на что не натываясь, точно бы ничего вокруг не существовало, шла как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. Едигей встал при ее приближении. Она подходила, казалось, очень долго, опять же как во сне, настолько страшно, отстраненно было ее медленное приближение с опустевшими глазами. Минута, быть может, целая вечность, бездна холодной, темной протяженности невыносимого ожидания, покуда она подошла вплотную, держа в руках ту самую бумагу в плотном конверте с напечатанными, как выразился Казангап, буквами, и, подойдя, сказала, разомкнув губы:

— Ты знал?

Он медленно склонил голову.

Зарипа опустилась на скамейку и, закрыв лицо руками, крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату. Она плакала, собравшись в мучительный содрогающийся комок, уходила, утопала, проваливалась все глубже в себя, в свое безмерное страдание, а он сидел рядом и готов был, как тогда, когда увозили Абуталипа, оказаться вместо него, на его месте и принять на себя не задумываясь любые муки, только бы защитить, забыть эту женщину от удара. Он понимал при этом, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды.

И так они сидели на скамейке пристанционного скверика. Зарипа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент не глядя отшвырнула прочь скомканный конверт с злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь, та бумага, коли самого в живых не было? Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил плачущую Зарипу взять платок и утереть слезы. Но это не помогло.

А музыка лилась по радио над станцией, как знаючи, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серо и влажно нависало над головой, ветер донимал душу порывами. Прохожие же косились на эту пару, на Зарипу и Едигея, думали, конечно, про себя: вот, мол, поскандалили людишки. Обидел он ее, наверно, крепко... Но, оказывается, не все так думали.

— Плачьте, добрые люди... Плачьте,— раздался рядом соболезнующий голос.— Лишились мы родимого отца! Как-то теперь будет?

Едигей поднял голову и увидел проходящую мимо женщину в старой шинели, на костылях. Одну ногу у нее отняли по самое бедро. Он ее знал. Бывшая фронтовичка, работала в билетной кассе на станции. Кассирша была сильно заплакана и, плача, шла, приговаривая: «Плачьте. Плачьте. Как-то теперь будет?» И, плача, прошла дальше, привычно переставляя с тупым перестуком костыли под неестественно приподнятыми плечами, пришаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающей старый солдатский сапог...

Смысл ее слов дошел до Едигея, когда он увидел, как столпились вдруг люди перед входом на станцию. Задрал головы, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали высоко над

дверью большой военный портрет Сталина в черном, траурном обрамлении.

Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала. В другое время он тоже поднялся бы и постоял среди людей и разузнал бы, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращения мира, но сейчас своего горя хватало. Он не проронил ни слова. И Зарипе было ни до кого и ни до чего...

А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни произошло на свете. Через полчаса должен был проходить по линии поезда дальнего следования под номером семнадцать. Как и все пассажирские, он не останавливался на таких разъездах, как Боранлы-Буранный. С тем расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло прийти в голову, что на этот раз придется семнадцатому остановиться на Боранлы-Буранном. Так решил про себя, причем твердо и спокойно, Едигей. Он сказал Зарипе:

— Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полчаса. Ты должна сейчас продумать как следует, как быть — скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь. Я не буду тебя успокаивать и что-то подсказывать, ты сама себе голова. Теперь ты им и вместо отца и вместо матери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути. Если ты решишь пока не говорить ребятам, то бери себя в руки. При них ты не должна лить слезы. Сможешь ли, хватит ли сил у тебя? И мы должны знать, как вести себя при них. Понимаешь? Вот ведь какой вопрос.

— Хорошо, я все понимаю, — ответила сквозь слезы Зарипа. — И пока мы доедем, я соберусь с мыслями и скажу, как нам быть. Я сейчас, я постараюсь взять себя в руки. Я сейчас...

В поезде на обратном пути было все так же. Люди ехали скопом, в табачном дыму, все так же бороздя великую страну из края в край.

Зарипа и Едигей попали в купированный вагон. Пассажиров здесь было поменьше, и они пристроились в проходе у окна, с самого краю, чтобы не мешать другим и поговорить о своих делах. Едигей сидел на откидном сиденье в коридоре, а Зарипа стояла рядом и смотрела в окно, хотя он и предлагал ей свое место.

— Так мне будет лучше, — сказала она.

И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое — вдовье — житье-бытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталип, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, и снова будут они вместе, всей семьей, а все остальное образуется — нашли бы способ, как ни трудно, выжить, выстоять и сыновей воспитать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думать...

О том же думал и Буранный Едигей, поскольку не беспокоиться о судьбе этой семьи он не мог. Так уж оно получилось. Однако он считал, что сейчас больше чем когда-либо должен быть сдержанным и спокойным и тем самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не торопил ее. И правильно сделал. Наплакавшись, она сама начала разговор.

— Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их больше нет, — проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоняя в себя плач. — Не могу сейчас. Особенно Эрмек... Зачем такая привязанность, это страшно... Как лишить их мечты? Что с ними будет? Ведь они только этим и живут... Ждут, ждут изо дня в день, каждую минуту... Надо будет со временем выбратья отсюда, переменить место... Пусть подрастут немного. За Эрмека очень боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет... И тогда скажу, да и сами догадаются понемногу...

А сейчас нет, не в силах... Пусть уж я сама... Напишу письма братьям и сестрам, своим и его. Теперь-то что им бояться нас? Откликнутся, надеюсь, помогут уехать... А там видно будет... Мне теперь только бы детей Абуталипа вырастить, раз уж самого нет...

Так рассуждала она, а Буранный Едигей молча слушал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная наверняка, что это лишь самая малая толика, самая поверхностная часть того, что, как смерч, пронеслось и пронесится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случаях... Потому он сказал, стараясь несколько не расширить границ разговора:

— Пожалуй, ты права, Зарипа... Если бы я не знал этих ребят, сомневался бы. Но на твоём месте я тоже не посмел бы сказать им такое. Немножко надо подождать. А пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни в чем, что касается нас. Как были, так и будем держаться. Работай, как и прежде, дети будут у нас вместе с нашими. Сама знаешь, Ужубала любит их как своих. А остальное видно станет...

И еще сказала в том разговоре Зарипа с тяжелым вздохом:

— Вот ведь как устроено, оказывается, в жизни. Так страшно, так мудро и взаимосвязанно. Конец, начало, продолжение... Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня. И в этом спасение и в этом продолжение. Горькое, тяжкое, но продолжение... И думаю я сейчас со страхом не о том даже, когда они узнают правду, от этого никуда не денешься, а о том, что будет дальше. Это всегда будет в них кровотоциты, то, что случилось с их отцом. В любом случае, будут ли они поступать на учебу, на работу, предстоит ли им проявить себя в чем-то в глазах общества, с этой фамилией им нигде ходу не будет... И когда я думаю об этом, мне кажется, что существует какая-то все-ильная преграда для нас. Мы с Абуталипом избегали разговоров этих. Я его щадила, он меня. С ним, я была в том уверена, наши сыновья выросли бы полноценными людьми. И это нас оберегало от разрушений, от невзгод... А теперь я не знаю... Я не смогу заменить им его... Потому что он — это был он... Он бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, перевоплотиться в своих детей. Потому он и умер, оттого, что его оторвали от них...

Едигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа высказала эти сокровенные мысли ему как наиболее близкому человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то отозваться, оградить, помочь, но сознание своего бессилия угнетало его, вызывало глухое, подспудное раздражение.

Они уже приближались к разъезду Боранлы-Буранному. По знакомым местам, по перегону, на котором Буранный Едигей сам работал многие лета и зимы...

— Ты приготовься,— сказал он Зарипе.— Прибываем уже. Значит, так и порешили — детям пока ни слова. Хорошо, так и будем знать. Ты, Зарипа, сделай так, чтобы не выдать себя. А сейчас приведи себя в порядок. И иди в тамбур. Стой у дверей. Как только поезд остановится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я выйду, и мы пойдем.

— Что ты хочешь сделать?

— Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты имеешь право сойти с поезда.

Как всегда, пассажирский поезд номер семнадцать шел напролет через разъезд, правда сбавляя скорость у семафора. Именно в этот момент, при въезде на Боранлы-Буранный, поезд резко затормозил с шипением и страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакали с мест. Раздались выкрики, свистки по всему поезду.

— Что такое?

— Стоп-кран сорвали?

— Кто?

— Где?

— В купированном!

Едигей тем временем открыл дверь Зарипе, и она сошла с поезда. А сам подождал, пока в тамбур ворвались проводник и кондуктор.

— Стой! Кто сорвал стоп-кран?

— Я,— ответил Буранный Едигей.

— Кто такой? По какому праву?

— Надо было.

— Как надо было? Ты что, под суд захотел?

— А ничего. Запишите в своем акте, который вы в суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангельдин сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Боранлы-Буранный в знак траура в день смерти товарища Сталина.

— Как? Разве Сталин умер?

— Да, по радио объявили. Слушать надо.

— Ну тогда другое дело,— опешили те и не стали задерживать Едигея.— Тогда иди, раз такое дело.

Через несколько минут поезд номер семнадцать продолжил свой путь...

И снова шли поезда с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали все те же, испокон нетронутые пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Космодрома Сары-Озек-1 тогда еще не было и в помине в этих пределах. Возможно, он вырисовывался лишь в замыслах будущих творцов космических полетов.

А поезда все так же шли с востока на запад и с запада на восток...

Лето и осень пятьдесят третьего года были самыми мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого, ни после никогда никакие снежные заносы на путях, никакие сарозекские зной и безводье, никакие иные невзгоды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и мог быть тысячу раз и убитым, и раненым, и изувеченным, не принесли, не доставили Едигею стольких страданий, как те дни...

Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Буранному Едигею, отчего происходят оползни, эти неотвратимые сдвиги, когда обваливаются, трогаясь с места, целые склоны, а то и вся гора заваливается набок, разверзая скрытую толщу земли. И ужасаются люди — какое бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том, что катастрофа назревает незаметно, изо дня в день, ибо грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу пород — и достаточно небольшого сотрясения земли, грома или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается внезапно и разом. Оползень же идет грозно, и нет никаких сил, которые могли бы его приостановить...

Нечто подобное может произойти и с человеком, когда остается он один на один со своими неодолимыми противоречиями и мечется, сбрасываясь духом, не смея поведать о том никому, ибо никто на свете не в состоянии ни помочь ему, ни понять. Он об этом знает, это страшит его. И это надвигается на него...

Первый раз Едигей почувствовал в себе такой сдвиг и явственно осознал, что это значило, когда месяца два спустя после поездки с За-

рипой в Кумбель снова поехал туда по делам. Он обещал Зарипе взглянуть на почту, узнать, есть ли письма для нее, и если нет, послать три телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила. До сих пор ни на одно свое письмо она не получила ответа от родственников. И теперь она хотела просто знать, получили они эти письма или нет, в телеграммах она так и писала — убедительная просьба сообщить, получены ли вами письма, только да или нет, ответ на письма необязателен. Выходило, братья и сестры не желали даже по почте связываться с семьей Абуталипа.

Едигей выехал на своем Буранном Каранаре поутру, с тем чтобы к вечеру уже обернуться. Конечно, когда он отправлялся один, без поклажи, любой знакомый машинист с радостью прихватывал его с собой, а там через полтора часа и Кумбель. Однако он стал остерегаться таких поездок на проходящих поездах из-за Абуталиповых ребят. Оба они, и старший и младший, все так же изо дня в день ждали у железной дороги возвращения отца. В их играх, разговорах, загадках, рисунках, во всем их немудреном ребяческом бытии ожидание отца было сутью жизни. И, несомненно, самой авторитетной фигурой для них в тот период был дядя Едигей, который, по их убеждениям, должен был все знать и помочь им.

Едигей и сам понимал, что без него на разъезде ребятам будет еще тягостней и сиротливей, и поэтому почти все свободное время пытался чем-то занять их, увлечь постепенно от напрасных ожиданий. Памятуя о завещании Абуталипа рассказывать мальчишкам о море, он вспоминал все новые и новые подробности своего детства и рыбацкой молодости, всякие были и небыли Аральского моря. Как умел приспособивал эти рассказы для малышей, но всякий раз удивлялся их способности — смысленности, впечатлительности, памяти. И очень был доволен тем — сказывалось в них отцовское воспитание. Рассказывая, Едигей ориентировался прежде всего на младшего, Эрмека. Однако младший вовсе не уступал старшему и среди всех четырех его слушателей — детей обоих домов, — был он для Едигея самым близким, хотя Едигей старался не выделять его. Эрмек оказался наиболее заинтересованным слушателем и самым лучшим истолкователем его рассказов. О чем бы ни шла речь, любое событие, любой интересный поворот в действии он связывал с отцом. Отец для него присутствовал во всем и всюду. Идет, например, такой разговор:

— А на Аральском море есть такие озера у берегов, где растут густые камыши. А в тех камышах прячутся охотники с ружьями. И вот утки летят весной на Аральское море. Зимой они жили на других морях, где теплее было, а как стаяли льды на Арале, летят побыстрее и днем и ночью, потому что очень соскучились по здешним местам. Летят они большой стаей, хотя поплавать в воде, искупаться с пути, покувыркаться, все ниже и ниже подлетают к берегу, а тут дым и огонь из камышей, пах-пах! То палят охотники. Утки с криком падают в воду. А другие в испуге улетают на середину моря и не знают, как быть, где теперь жить. И кружатся там над волнами, кричат. Ведь они привыкли плавать у берегов. А к берегам приближаться боятся.

— Дядя Едигей, но ведь одна утка сразу улетела назад, туда, откуда она прилетела.

— А зачем она туда улетела?

— Ну как же, ведь мой папика там матрос, он плавает там на большом корабле. Ты ведь сам говорил, дядя Едигей.

— Да, правильно, а как же, — вспоминает Едигей, попав впросак. — Ну и что потом?

— А эта утка прилетела и сказала моему папике, что охотники спрятались в камышах и стреляли в них. И что им негде жить!

— Да, да, это ты верно.

— А папика сказал той утке, что скоро он приедет, что на разъезде у него два мальчика — Даул и Эрмек, и еще есть дядя Едигей.

И когда он придет, мы все соберемся и пойдем на Аральское море и прогоним из камышей охотников, которые стреляют в уток. И снова уткам будет хорошо на Аральском море... Будут плавать в воде и кувыркаться вот так, через голову...

Когда рассказы истошались, Буранный Едигей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе сорок один камушек величиной с крупный горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию. Когда Едигей раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталип, где он, и скоро ли дорога ляжет перед ним, и что на челе у него и что на душе, ребята сосредоточенно молчали, неотрывно следя за тем, как располагались камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шебаршение, тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. То были Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях. Раскладывая их как умел, он при этом каждый камушек подносил ко лбу и к губам и каждый заверял:

— И тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори честно и прямо, так же как говорят камушки дяди Едигея.— Потом он принялся истолковывать старшему брату значение расклада, в точности повторяя сказ Едигея.— Вот видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая. Вот это дорога. Дорога немного затуманена. Туман какой-то стоит. Но это ничего. Дядя Едигей говорит, это дорожные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время собирается в путь. Он хочет сесть в седло, но подпруга ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута. Ее надо подтянуть покрепче. Значит, что-то еще задерживает отца, Даул. Придется подождать. А теперь посмотрим, что на правом ребре, что на левом ребре. Ребра целы. Это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость какая-то. Очень он беспокоится о нас, Даул. На сердце, вот видишь этот камушек, на сердце боль и тоска — очень он соскучился по дому. Скоро ли путь? Скоро. Но одна подкова на заднем копыте коня болтается. Значит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в переметных сумах? О, в сумах покупки с базара! А теперь — будет ли ему доброе расположение звезд? Вот видишь, эта звезда — Золотая коновязь. А от нее пошли следы. Они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро отвязать коня и двинуться в путь...

Буранный Едигей незаметно отошел, растроганный, огорченный и удивленный всем этим. С того дня он стал избегать гадания на камнях...

Но дети детьми, их можно было еще как-то утешить, обнадежить, а если на то пошло, взять на себя такой грех — обмануть до поры до времени. Но еще одна кручина-дума поселилась в душе Буранного Едигея. В тех обстоятельствах и в той цепи событий она должна была возникнуть, она, как тот оползень, должна была когда-то стронуться с места, и остановить ее он не смог...

Очень он переживал за нее, за Зарипу. Хотя и не было между ними никаких иных разговоров помимо обычных житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она тому повода, Едигей постоянно думал о ней. Но он не просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый, не просто страдал ей оттого, что все видел и знал, какие беды обступали ее, тогда не стоило бы и речи заводить. Он думал о ней с любовью, с неотступной мыслью о ней и внутренней готовностью стать для нее человеком, на которого она могла бы положиться во всем, что касалось ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она, допустим, так и полагает, что именно он, Буранный Едигей, самый преданный и самый любящий ее человек на свете.

То было мучительно — делать вид, что ничего особенного он к ней не испытывает, что между ними ничего не может и не должно быть!..

По пути в Кумбель всю дорогу он был занят этими размышлени-

ями. Изводился. По-разному думалось. Испытывал странное, переменчивое состояние духа как бы в ожидании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болезни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что снова он находится на море. На море человек всегда чувствует себя по-другому, не как на земле, даже если все спокойно вокруг и, казалось бы, ничего не грозит. Как ни раздольно, как ни отрадно подчас бороздить по волнам, пусть и занимаясь нужным делом на плаву, как ни красивы отражения закатов и зорь на водной глади, но все равно надо было возвращаться к берегу, к тому или иному, но к берегу. Вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет совсем иная жизнь. Море — временно, сушь постоянна. Или, если страшно приставать к берегу, надо найти остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место и здесь ты должен быть всегда. И ему даже представилось: нашелся бы такой остров, забрал бы он Зарипу с детишками и жил бы там. И к морю приучил бы ребят, и сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуясь. Только бы знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для нее нужным, желанным, самым родным человеком...

Но тут же становилось стыдно перед собой от таких желаний — он почувствовал, как в краску кинуло, хотя за сотни километров вокруг и духу человеческого близко не было. Размечтался, как пацан, на остров захотелось, а с чего бы, спрашивается, с какой стати? И это он смеет так грезить, он, повязанный по рукам и ногам всей жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, наконец, сарозеками, к которым прирос, сам того не замечая, душой и телом... Да и нужен ли он Зарипе, пусть худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе такое, почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не сомневался — он в них души не чаял, и они тянулись к нему. А с чего Зарипа стала бы того желать?! Да и имеет ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно поставила его крепко-накрепко на место, где ему наверняка пребывать до скончания дней...

Буранный Каранар шел знакомой тропой, много раз хоженной, и, зная, сколько еще предстоит пути, без принуждений со стороны хозяина трусил ходкой пробежкой, покрикивая и тяжело постанывая на бегу, покрывая резвым шагом немереные сарозекские расстояния, по весенним увалам, логом, мимо иссохшего некогда соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, кручинился, занятый собою... И настолько переполняли его эти противоречивые чувства, что не находил он себе места и душа его не находила приюта в немереных пространствах Сары-Озек... Так непосильно было ему...

С этими настроениями прибыл он в Кумбель. Хотелось, конечно, чтобы Зарипа получила наконец ответы на свои письма от родственников, но при мысли, что родственники могут приехать за осиротевшей семьей и увести ее в свои края или вызвать к себе, Едигею становилось совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему опять ответили, что никаких писем для Зарипы Куттыбаевой не прибывало. И он неожиданно для себя обрадовался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая мысль против совести: «Вот и хорошо, что нет». Потом он добросовестно выполнил ее поручение — отправил три телеграммы по трем адресам. С тем вернулся к вечеру...

Весна тем временем сменялась летом. Уже пожухли, повыгорели сарозеки. Отощда трава-мурава как тихий сон. Желтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух, день ото дня приближалась жаркая пора. А от родственников Куттыбаевых все так же не было ни слуху ни духу. Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграммы. А поезда катились через Боранлы-Буранный, и жизнь текла своим чередом...

Зарипа уже и не ждала ответов, поняла, что нечего рассчитывать на помощь родных, что не стоит обременять их больше письмами и призывами о помощи... И, убеждаясь в этом, женщина впадала в мол-

чаливое отчаяние — куда было двинуться теперь, как быть?.. Как сказать детям об их отце, с чего начинать, как перестраивать сокрушенную жизнь? Ответа пока не находила.

Быть может, не меньше, чем сама Зарипа, переживал за них Едигей. За них переживали все боранлинцы, но Едигею-то было ведомо, как обернулась трагедия этой семьи лично для него. Он уже не мог отделить себя от них. Изо дня в день он жил теперь судьбой этих ребят и Зарипы. И тоже был в напряженном ожидании — что теперь будет с ними, и тоже был в молчаливом отчаянии — как теперь быть им, но ко всему этому он еще постоянно думал, все время мучительно думал: а как быть самому, как сладить с собой, как заглушить в себе голос, зовущий к ней? Нет, и он не находил никакого ответа... Не предполагал он никогда, что придется столкнуться в жизни и с таким делом...

Много раз намеревался Едигей, хотел решиться признаться ей, сказать откровенно и прямо, как любит ее и что готов все тяготы ее взять на себя, потому что не мыслит себя отдельно от них, но как было это сделать? Каким образом? Да и поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого, когда такие беды обрушились на ее одинокую голову, а он, видите ли, полезет со своими чувствами! Куда это годится? Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся, ему стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким ему подобало быть на людях.

Однажды он все же сделал такой намек. Возвращаясь с обхода по перегону, заметил еще издали, что Зарипа пошла с ведрами к цистерне за водой. Его толкнуло к ней. И он пошел. Не потому, что то был удобный случай, вроде бы ведра поднести. Почти через день, а то и ежедневно работали они вместе на путях, разговаривать могли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал Едигей неодолимость желания подойти к ней немедленно и сказать то, что просилось наружу. Он подумал даже сгоряча, что это к лучшему, — пусть не поймет, пусть отвергнет, но зато остынет, успокоится душа... Она не видела и не слышала его приближения. Стояла спиной, отвернув кран цистерны. Одно ведро было уже наполнено и отставлено в сторону, а под струей стояло второе, из которого вода уже переливалась через край. Кран был открыт до отказа. Вода пузырилась, выплескивалась, натекала вокруг лужей, а она точно бы не замечала ничего, стояла понуро, прислонившись плечом к цистерне. Зарипа была в ситцевом платице, в котором прошлым летом встречала большой ливень. Едигей разглядел косицы вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Эрмек был кудрявым в нее, осунувшееся лицо, истончившуюся шею, опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли воды заворожил ее, напомнив горные речки и арыки Семиречья, или просто ушла в себя, застигнутая в ту минуту горьким раздумьем? Бог знает. Но только Едигею стало невыносимо тесно в груди при виде ее оттого, что все в ней было до бесконечности родным, от желания немедленно приласкать ее, оберечь, защитить от всего, что угнетало. Но делать этого нельзя было. Он лишь молча закрутил вентиль крана, остановил льющуюся воду. Она глянула на него без удивления долго возникающим взглядом, как будто он находился не возле, а где-то очень далеко от нее.

— Ты чего? Что с тобой? — молвил он участливо.

Она ничего не сказала, усмехнулась только углами губ и неопределенно приподняла брови над проясняющимися глазами, говоря этим: ничего, мол, так себе...

— Тебе худо, что ли? — снова спросил Едигей.

— Худо, — призналась она, тяжело вздохнув.

Едигей растерянно подвигал плечами.

— Зачем ты так изводишься? — сожалая, упрекнул он ее, хотя собирался говорить не об этом. — Сколько можно? Ведь этим не поможешь. И нам тяжело (он хотел сказать — и мне) смотреть на тебя !!

детям трудно. Пойми. Не надо так. Надо что-то делать,— говорил он, стремясь подобрать слова, которые, как того хотел он, должны были бы сказать ей, что именно он больше чем кто-либо на свете переживает и любит ее.— Ты вот сама подумай. Ну не отвечают на письма, так бог с ними, не пропадем. Ведь с тобой (он хотел сказать — я) мы все тут как свои. Ты только не падай духом. Работай, держись. А ребята поднимутся и здесь, среди нас (он хотел сказать — со мной). И все образуется понемногу. Зачем тебе куда-то уезжать? Мы все здесь как свои. А я, ты сама знаешь, без детишек твоих дня не бываю.— И остановился, потому что раскрылся настолько, насколько позволяло его положение.

— Я все понимаю, Едиге,— ответила Зарипа.— Спасибо, конечно. Я знаю, в беде не останемся. Но нам надо выбираться отсюда. Чтобы позабыли дети все, что и как тут было. И тогда я должна буду сказать им правду. Сам понимаешь, так долго не может продолжаться... Вот и думаю, как быть...

— Так-то оно так,— вынужден был согласиться Едигей.— Только ты не спеши. Подумай еще. Ну куда ты с этими малолетками, где и как придется? А я как подумаю, мне страшно, как я тут без вас буду...

И действительно, очень страшился за них, за нее и за ребят, и оттого не пытался заглянуть дальше чем в завтрашний день, хотя тоже понимал, что долго так продолжаться не могло. А через несколько дней после этого разговора был еще случай, когда он выдал себя с головой и долго каялся, мучился после этого, не находя себе оправдания.

С той памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, испугавшись парикмахера, не дал себя подстричь, прошло много месяцев. Мальчик так и ходил нестриженный, весь в черных кудряшках, и хотя вольные кудри украшали его, но подстричь упрямого трусишку давно было пора. Едигей при случае то и дело утыкался носом в пушистое темя мальчонки, целуя его и вдыхая запах детской головы. Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и мешали ему в играх и беготне. Как, должно быть, непривычна, чужда и непонятна была для малыша сама необходимость эта. Потому он не давался никому, а Казангап, видя такое дело, сумел уговорить его. Припугнул даже немного — что, мол, козлята не любят длинноволосых, бодать будут.

Дел там было — что тебе мировая трагедия! Потом Зарипа рассказывала, что начать начали стричь и с трудом большим докончили. Уж и не чаяли, как быть! Плакать, вырваться стал Эрмек, пришлось Казангапу по-настоящему силу применить. Зажал его между ног и обработал машинкой. Рев стоял на весь разъезд. А когда закончилась стрижка, добрая Букей, чтобы успокоить ребенка, сунула ему зеркало. На, мол, посмотри, какой ты хорошенький стал. Мальчик глянул, не узнал себя и еще больше заорал. Таким, ревушим во всю мочь, уводила его Зарипа с Казангапова двора, когда повстречался на тропинке Едигей.

Наголо остриженный Эрмек, совершенно не похожий на себя, с оголившейся тонкой шеей, с оттопыренными ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к Едигею с плачем:

— Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со мной!

И если бы прежде сказали Буранному Едигею, что с ним произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он подхватил малыша на руки и, прижимая его к себе, всем существом своим воспринял его беду, его незащитность, его жалобу и доверие, как будто то произошло с ним самим, он стал целовать его и приговаривал срывающимся от горечи и нежности голодом, не понимая толком смысла своих слов:

— Успокойся, родной мой! Не плачь. Я никому не дам тебя в обиду, я буду тебе как отец! Я буду любить тебя как отец, только ты не плачь! — И, глянув на Зарипу, которая замерла перед ним сама не своя, понял, что перешагнул какую-то запретную черту, и растерялся, зашепшил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча в замеша-

тельстве одни и те же слова. — Не плачь! Вот я сейчас этого Казангапа, я вот, сейчас я ему покажу! Я ему покажу, вот я сейчас этого Казангапа, я ему покажу! Вот я сейчас, я ему покажу!..

Несколько дней после этого Едигей избегал Зарипу. Да и она, как понял он, уходила от встречи с ним. Каялся Буранный Едигей, что так нелепо проговорился, что смутил ни в чем не повинную женщину, у которой и без этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положении — сколько боли добавил он к ее горестям! Ни прощения, ни оправдания не находил себе Едигей. И на долгие годы, быть может до последнего вдоха, запомнил он то мгновение, когда всем существом своим ощутил приникшего к нему беззащитного обиженного ребенка, и как тронулась в нем душа от нежности и горечи, и как смотрела на него Зарипа, пораженная этой сценой, как глядела она на него с неммым криком скорби в глазах.

Умолк на какое-то время Буранный Едигей после этого случая и все то, что вынужден был в себе затаить, заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не находил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое припоминая заново, о море. То было самой любимой темой у них. О чайках, о рыбах, о перелетных птицах, об аральских островах, на которых сохранились редкие животные, уже исчезнувшие в других местах. Но в тех разговорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и все настойчивей собственную быль на Аральском море, единственное, что он предпочитал не рассказывать никому. То было вовсе не детским делом. Знали о том только двое, только он и Укубала, но и между собой они никогда не заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас гораздо старше боранлинской детворы, старше даже Казангапова Сабитжана года на два. Но не выжил. А ведь всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет долго жить, очень долго, даже трудно представить себе, как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей?..

В ту рыбацкую бытность его, в молодые годы, незадолго до войны пережили они с Укубалой удивительный случай. Такое случается, должно быть, лишь однажды и никогда не повторяется.

С тех пор как они поженились, Едигею в море все время хотелось побыстрее вернуться домой. Он любил Укубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желанной женщины для него тогда не было. И вот это желание побыстрее вернуться к ней томило его и занимало целиком мысли. Ему подчас казалось, что он существует, собственно, для того, чтобы все время думать о ней, вбирать, накапливать в себе силу моря и силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье, сердцевина счастья — все остальное, внешнее лишь дополняло и обогащало их счастье, их взаимное упоение тем, что было даровано ему солнцем и морем. И когда она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание будущего первенца. То была безоблачная пора в их жизни.

Поздней осенью, уже перед началом зимы на лице Укубалы начали проступать различимые при внимательном взгляде коричневые пятна. И уже обозначился, округлился живот. Однажды она спросила его, какая из себя рыба алтын мекре. «Слышать слышала о ней, но никогда не видела». Он сказал ей, что это очень редкая рыба из осетровых, глубоководная, довольно крупная, но достоинство ее больше в красоте — сама рыба синевато-красная, а темя, плавники и хрящевой гребень по спине — от головы до кончика хвоста — как из чистого золота, дивно как светится золотым блеском. Оттого и название имеет — алтын мекре, золотой мекре.

В следующий раз Укубала сказала, что ей приснился во сне золотой мекре. Рыба будто бы плавала вокруг нее, а она пыталась ее изловить. Ей очень того хотелось — поймать ту рыбу, а затем отпустить. Но обязательно подержать ту рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть. Ей до того хотелось потискать ту рыбку, что во сне она погналась за ней. А рыбка не давалась, и, проснувшись, Укубала долго не могла успокоиться, испытывая странную досаду, будто и в самом деле не удалось ей достигнуть какой-то важной цели. Укубала посмеялась над собой, но и наяву ей все так же нестерпимо хотелось изловить золотого мекре.

А Едигей это понял, думал об этом, выгребая сети из моря, и, как оказалось потом, правильно истолковал значение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего в яви. Он понял так, что ему предстоит во что бы то ни стало добыть золотого мекре, ибо то, что испытывала беременная Укубала, было ее талгаком¹⁸. Многие женщины на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их талгак проявляется в том, что они хотят съесть чего-то кислого, соленого, очень остро и горького, а иные страсть как хотят жареного мяса какого-нибудь дикого зверя или птицы. Едигей не удивился талгаку жены. Жена промыслового рыбака и должна была пожелать то, что имело отношение к занятию мужа. Ей сам бог велел захотеть увидеть вочию и ощутить в руках золото той большой рыбы. Понаслышке Едигей знал, что если талгак беременной женщины останется неутоленным, то это может привести к вредным последствиям для ребенка в утробе.

Талгак же Укубалы оказался настолько необыкновенным, что она сама не посмела признаться в этом вслух, а Едигей не стал уточнять, не стал допытываться, потому что неизвестно было, сможет ли он добыть такую редкую рыбу. Решил вначале поймать ее, а уж потом выяснить, это ли было ее страстью.

К тому времени большой сезон рыболовства на Аральском море был уже на исходе — разгар сезона от июля по ноябрь. Зима дышала уже в лицо. Артель готовилась к зимнему промыслу, подледному лову, когда море на всем своем полуторатысячекилометровом по кругу пространстве покроется крепким льдом и придется бить огромные проруби, запускать туда обгруженные сети и тянуть их со дна морского воротом от одной проруби к другой с помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степных тягачей... И ветер будет выюжить, а рыба, что попадет в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпроస్తаят наверх, закаменеет сразу, покроется ледяным панцирем на открытом аральском холоде... Но сколько ни приходилось Едигею зимой и летом ловить с артелью рыбу и ценных и малоценных пород, однако не помнил, чтобы золотой мекре когда-нибудь попадался в сети. Эту рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и то было событием для рыбаков. Об этом говорили потом, что такому-то повезло — вытащил золотого мекре.

В то раннее утро он отправился в море, сказав жене, что порыбачит для дома, пока еще лед не стал. Укубала отговаривала его накануне:

— Дома ведь полно всякой рыбы. Стоит ли выходить? Холодно уже.

Но Едигей настоял на своем.

— Что дома, то дома, — сказал он. — Сама говоришь, тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горячей свежей ухой, усачовой или жереховой. Самое первое средство. А кто ей, старой, наловит рыбы?

Под этим предлогом и двинулся с утра пораньше Едигей на добычу золотого мекре. Все снасти, все необходимые приспособления он

¹⁸ Талгак — потребность беременной женщины в особой на вкус еде, уголении некоего желания.

тщательно продумал и приготовил заранее. Все это было уложено на носу лодки. И сам поплотней оделся, поверх всего плащ дождевой с капюшоном натянул и поплыл,

День был неясный, неустойчивый, между осенью и зимой. Преодолевая под косым углом накат воды, Едигей направлял лодку веслами в открытое море, где, как он предполагал, должны быть места пастьбы золотого мекре. Все, конечно, зависело от везения, ибо нет ничего малопостижимее в охотничьем предприятии, нежели ловля морской рыбы на крючок. На суше, как бы то ни было, человек и его добыча находятся в одной среде, ловец может преследовать зверя, приближаясь, подкрадываясь, выжидая и нападая. Под водой ничего этого ловцу не дано. Опустив снасти, он вынужден ждать, появится ли рыба, и если появится, то накинется ли на приманку.

В душе Едигей очень надеялся, что должно ему повезти, ибо вышел он в море не ради промысла, как бывало всегда, а ради вешего желания беременной жены.

С тем и нагребал. Крепок и силен был молодой Едигей на веслах. Неумоимо, равномерно отталкиваясь от зыбкой текучей воды, выводил он лодку в море по извилистым, шатким волнам. Такие волны аральские рыбаки называют ийрек толкун — кривобокие волны. Ийрек толкуны — ранние предвестники грядущего шторма. Но сами по себе они неопасны, и можно было не страшась плыть подальше в море.

По мере удаления от земли берег с его крутым глинистым обрывом и каменной полосой прибоя с края воды постепенно уменьшался, становясь все менее различимым, и вскоре превратился в смутную, временами исчезающую черту. Тучи неподвижно нависли сверху, а понизу держался заметно сквозящий ветер, лижущий водную рябь.

Часа через два Едигей остановил лодку, убрал весла, заякорился и стал устраивать снасти. У него были две катушки с бечевой, с самодельным устройством, застопоряющим лесу. Одну он приладил на корме, бечева с грузилом опустилась через рогатину на глубину метров в сто, и в запасе оставалось метров двадцать. Другую установил таким же способом на носу. И затем снова взял в руки весла, для того чтобы придерживать, подправлять лодку в нужном положении среди течений и ветра. И, главное, чтобы не спутались лесы между собой.

И с тем стал ждать. По его предположениям, именно в таких местах могла обитать эта редкая рыба. Доказательств тому не имелось, то была чистая интуиция. И, однако, он верил, что та рыба должна появиться. Непременно, обязательно должна появиться. Без нее он не мог возвратиться домой. Она нужна ему была не ради забавы, а ради очень важного в его жизни дела.

Рыбы через некоторое время дали о себе знать. Но то были не те. Сначала поймался жерех. Когда Едигей его тянул, он знал, что это не золотой мекре. Не могло быть такого, чтобы с первого раза попался золотой мекре. Слишком просто и неинтересно стало бы жить на свете. Едигей согласен был потрудиться, подождать. Потом подцепился на крючок большой усач, одна из лучших рыб на Арале, если не самая лучшая. И того, оглушив, он бросил на дно лодки. Во всяком случае, на уху для больной тетки Сагын уже было больше чем достаточно. И еще попался тран — аральский лец. Какого черта его туда занесло? Обычно тран держится поверху. Но бог с ним, сам виноват. И после этого наступила длительная, тягостная пауза... «Нет, я дождусь, — сказал себе Едигей. — Хоть я и не говорил, но она знает, что я отправился за золотым мекре. И я должен его добыть, чтобы дите в утробе не изнывало. Это ведь дите хочет, чтобы мать увидела и подержала в руках золотого мекре. А почему оно того хочет, этого никто не знает. Мать тоже того жаждет, а я отец и я сделаю так, чтобы желание их утолить».

Пошаливали ийрек толкуны, крутили лодку, потому они и кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Едигей от малопод-

вижности и все время зорко следил за катушками с бечевой — не дернется ли, не поползет ли леса, покоящаяся на рогатине. Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков. Однако Едигей не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой мекре. Только бы море потерпело малость — что-то уж больно крутят ийрек толкуны. К чему бы это? Нет, шторма не должно быть так скоро. Скорее всего к вечеру или к ночи поднимутся штормовые волны — алабаши, пестроголовые ревуны. И тогда закипит грозный Арал от края и до края, белой пеной покроется, и никто не посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно, пока еще есть время...

Нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едигей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь, вот ей-богу, да ты не бойся,— подумал он о рыбе.— Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, говоришь, такого? А вот представь себе — бывает. Не для еды тебя я поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома. И вот на дне лодки лежат три рыбины. Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой мекре! Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене, и с тех пор она покой потеряла, хотя и не говорит об этом, но я-то все вижу. Я не могу объяснить, почему это так, но очень надо, чтобы она увидела тебя и подержала в руках, и я даю тебе слово, сразу же отпущу тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба. У тебя золотое темя и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые. И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя наяву, она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь, золотой мекре. Не думай, что если ты рыба, то какое к нам имеешь отношение. Хотя ты и рыба, а она почему-то тоскует по тебе как по сестре, как по брату, и хочется ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дите в чреве будет довольно. Вот такое вот дело. Выручай, друг мой, золотой мекре. Подходи. Не обижу. Слово даю. Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. На крючок, их два крючка, выбирай любой, я нацепил большой кусок мяса. Немного с запахом мясо, чтобы ты учуял издали. И ты подходи и не думай ничего плохого. Если бы я блесну подсунил тебе, тогда было бы нечестно, хотя ты скорее пошел бы на блесну. Но ведь ты же проглотишь блесну, и как ты будешь потом жить с железом в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы обманом. А я тебе честно предлагаю крючок. Немного поранятся губы, только и всего. И не беспокойся, я захватил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты полежишь пока в бурдюке с водой, а потом уплывешь. Но я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты не чувствуешь, как крепчают волны и ветер усиливается, разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой, без отца? Подумай, помоги мне...»

Уже смеркалось в сизых просторах холодного предзимнего моря. То появляясь на гребнях волн, то исчезая между волнами, лодка шла к берегу. Трудно шла, борясь с бурунами, море уже шумело, вскипало исподволь, раскачивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода и влаги.

Укубала ходила по берегу. Давно уже, охваченная тревогой, она вышла к морю и ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили ей степные сородичи-скотоводы: подумала бы, прежде чем слово дать, на тяжкую жизнь отваживаешься, выходишь замуж за море и придется не раз и не два умыться слезами у моря, мольбы к нему обращать. А она не отказала Едигею, только сказала: как муж, так и я буду...

Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с артелью, а один, и уже быстро смеркалось, и на море было шумно и беспокойно.

Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел и лодка показала на волне. Закутанная в платок, с выпирающим уже животом, Укубала подошла к самому прибою и ждала здесь, пока причаливал

Едигей. Прибой вынес мощным толчком лодку на отмель. Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку на берег, волоча ее, как бык. И когда он распрямылся весь волглый и соленый, Укубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным, одеревеневшим плащом.

— Все глаза проглядела. Почему ты так долго?

— Он не появлялся весь день и только под конец приплыл.

— Как, ты ходил за золотым мекре?

— Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него.

Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой золотого мекре. То была большая рыба. Могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку, и, широко разевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибоа. На какою-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими безупречно круглыми и чистыми очами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня непривычный свет ударил в голову, и увидела рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней, кромку берега и небо и в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего солнца. Задышаться начала. И рыба вскинулась. Заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. Едигей поднял золотого мекре под жабры.

— Подставляй руки, держи,— сказал он Укубале.

Укубала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди.

— Какая она упругая! — воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу.— А тяжелая, как полено! И как здорово пахнет морем! И красивая какая! На, Едигей, я довольна, очень довольна. Исполнилось мое желание. Отпусти ее в воду поскорей...

Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста, и, блеснув, вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину...

А большой шторм разразился на море ночью. Ревело море за стеной, под обрывом. Еще раз убедился Едигей: неспроста возникают предвестники бури — ийрек толкуны. То была уже глубокая ночь. Прислушиваясь в полудреме к бушующему прибою, Едигей вспомнил о своем заветном мекре. Как-то его рыбе сейчас? Хотя, должно быть, на больших глубинах море не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверно, к тому, как ходят волны поверху. Едигей счастливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на бок жены и услышал вдруг толчки из чрева. То давал о себе знать его будущий первенец. И этому Едигей счастливо улыбнулся и безмятежно уснул.

Знал бы, что не пройдет и года, как разразится война, и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря навсегда и только будет о нем вспоминать... Особенно когда тяжелые дни наступят...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей...

В том страшно для Буранного Едигея пятьдесят третьем году и зима легла ранняя. Никогда такого не бывало в сарозеках. В конце октября уже заснежило, холода начались. Хорошо, что успел до того

картошки завезти с Кумбеля себе и Зарипе с детьми. Как знал — потопился. Последний раз пришлось на верблюде ехать, побоялся, что в проходящем товарняке картошка замерзнет в открытом тамбуре, пока довезешь. Кому она тогда нужна. А так поехал на Буранном Каранаре, уложил на него вьюком два огромных мешка — самому не сладить было с мешками, хорошо, что люди подсobili, — один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеплил мешки кошмой, подоткнул края, чтобы ветер не задувал, сам же взгромоздился на самый верх между мешками и поехал сплужоно к себе на Боранлы-Буранный. Сидел на Каранаре, как на слоне. Так думалось и самому Едигею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции первый индийский фильм. Все кумбельцы от мала до велика пувалили смотреть невиданную кинокартину о невиданной стране. В фильме, кроме бесконечных песен и танцев, показывали слонов, на тигров в джунгли выезжали охотиться, сидя на слонах. Едигею тоже удалось посмотреть ту картину. Были они с начальником разъезда на общепрофсоюзном собрании как делегаты от боранлинцев, вот тогда по окончании собрания в клубе депо показали им индийский фильм. С того и началось. Стали выходить из кино, разговоры разные возникали, и дивились железнодорожники, как в Индии на слонах ездят. А кто-то громко сказал на это:

— И что вам дались эти слоны, едигеевский Буранный Каранар чем хуже слона? Нагрузи — так он прет, как слон!

— И то верно, — засмеялись вокруг.

— Да что слон! — откликнулся еще голос. — Слон-то только в жарких странах может жить. А попробуй у нас по сарозекам зимой. Слон твой и копыта откинет, куда ему до Каранара!

— Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы тебе не соорудить такую же будку на Каранаре, как в Индии на слонах? И будешь себе ездить, как тамошний богач!

Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья, но все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом атане...

Зато перепало Едигею той зимой, попереживал, погоревал из-за того же Каранара...

Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как! Сомкнулось небо над сарозеками сплошным мраком, ветер закрутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кружащимися хлопьями. Не холодно было, но мокро и неудобно. А главное — не различить ничего вокруг из-за снега. Что было делать? В сарозеках нет попутных пристанищ, где можно было бы переждать непогоду. Оставалось одно — положиться на силу и чутье Буранного Каранара. Он-то должен был привезти к дому. Едигей предоставил атану полную волю, а сам поднял воротник, нахлобучил шапку, укрылся кашпоном и терпеливо сидел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Непроглядная завеса снега, и только... А Каранар шел в той круговерти, не сбавляя шага и, должно быть, понимая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и примолк, затих на вьюках и ничем уже не проявлял себя. Великой силой должен был обладать Каранар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рывкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гудом и все шел неумолимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег...

Не мудрено — слишком длинным показался Едигею тот путь. «Скорей бы уж добраться», — думал он и представлял себе, как зайвится и что дома наверняка беспокоятся, что с ним в такую непогоду. Укубала тревожится о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто выкладывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа думает, что с ним? Конечно, думает. Но она тем более звука не проронит, старается как можно меньше попадаться ему на глаза и избегает всяче-

ских разговоров наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал он, Едигей, повода к тому, чтобы кто-то мог подумать, будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть. Просто они, оказавшись полутчиками в жизни, словно бы оглянулись вдурт, той ли дорогой идут... И снова пошли. Вот и все. А какое приходится ему при этом, это уж его беда... Это его судьба — на роду, должно быть, так написано, что разрываться суждено как между двух огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело, как быть с самим собой, с душой своей много-страдальной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди! Не малое дитяtko он, как-нибудь разберется, сам развяжет тугой узел, который затягивался все туже по его же вине...

Это были странные мысли, мучительные и безысходные. Вот уже зима вступила в саpозеки, а он по-прежнему не мог ни забыть Зарипу, ни отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свято, он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно, видя и зная это, не пытались तो-ропить события, чтобы помочь ему побыстрей определиться. Внешне все обстояло как всегда — ровные отношения между женщинами, четвера обоих домов, как общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их дети на разьезде — то в том доме, то в этом... Так прошло лето и так минула осень...

Сиротливо и неприятно чувствовал себя Буранный Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье кругом. Каранар то и дело стряхивал с головы налипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкриками. Худо было хозяину в том пути. Едигей ничего не мог поделаться с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, беспорном и безусловном. Не мог начистоту открыться перед Зарипой, не мог отречься и от Укубалы. И тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами: «Скотина! Хайван что ты, что твой верблюду! Сволочь! Собака! Дурья голова!» — и еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остановиться... Но ничто не помогало... И был он что тот оползень, стронувшийся с места... Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они безоговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем. В чем помочь, что подвезти, что приладить по дому — это он для них готов был всегда с великим удовольствием, как и сейчас картошку вез им на зиму в двух огромных мешках, навьюченных на Каранара. Топливо тоже было запасено...

Мысли о детях были прибежищем для Едигея, там он оказывался в полном ладу с самим собой. Он представлял, как доберется до Боранлы-Буранного, как выбегут мальчишки из дома, слышав его приезд, и не загонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг с громкими криками: «Дядя Едигей приехал! На Каранаре! Картошку привез!» — и то, как строго и властно прикажет он верблюду лечь ничком на землю и тогда, весь заснеженный, слезет с Каранара, отряхиваясь и успевая между делом погладить детишек по головам, и как затем начнет разгружать мешки с картошкой и поглядывать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома, он ей ничего не скажет особенного, да и она не скажет, он только посмотрит ей в лицо и будет тем доволен — и опять занедужит, закручинится, так что ж, куда от этого денешься, а ребятишки будут крутиться возле, путаться под руками, то и дело опасливо подбегая к нему, боясь верблюжьего рыка, и, преодолевая страх, будут пытаться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение за все муки...

Внутренне он готовился к скорой встрече с Абуталиповыми ребятами, заранее думал: а что расскажет он им в этот раз, своим, как он их называл, ненасытным слушачам? Опять об Аральском море? Самые любимые рассказы — всякие случаи на море, которые они думы-

сливают затем с неперменным участием отца и тем самым продолжают, сами того не ведая, держать связь с ним, с памятью о нем... Только вот все, что знал и слышал Едигей о морской жизни, истоцилось, все уже много раз им было сказано и пересказано, кроме разве что истории с золотым мекре. А как поведать эту историю? Кому ее объяснить кроме как самому себе, знающему, что стоит за давнишним тем событием.

Так проделывал он путь в тот снегопадный день. Всю дорогу не покидали его сомнения, размышления... И всю дорогу шел снег...

С того снега и зима легла в сарозеках, ранняя и студеная с первых шагов.

С началом холодов снова пришел в неистовство Буранный Каранар, снова взъярился, снова взбунтовалась в нем самцовая сила, и уже ничто и никто не могли посягать на его свободу. Тут и самому хозяину впору было отступить, не лезть на рожон...

На третий день после снегопада промело сарозеки метельным морозным ветром, и встала сразу, как пар, напряженная мглистая стынь над степью. Далеко и отчетливо слышались по стуже скрипучие шаги, любой звук, любой шорох разносился с предельной ясностью. Поезда на перегоне слышались за многие километры. А когда на рассвете услышал Едигей спросонья трубный рев Буранного Каранара в загоне и то, как он топтался и расшатывал со скрежетом изгородь за домом, понял, какая напасть снова пожаловала ко двору. Быстро оделся, вышел впотьмах, пошел к загону и раскричался, колюче обдирая глотку морозным вяжущим воздухом:

— Ты чего! Ты чего, опять конец свега? Опять за свое? Опять кровь мою пить! Ах ты хайван! Замолчи! Заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом году решил заняться этим делом. Не насмешил бы народ!

Но напрасно он тратил слова на ветер. Обуреваемый пробудившейся страстью, верблюд не думал считаться с ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе скрипел зубами, ломал загон.

— Значит, учуял? — Хозяин сменил гнев на укоризну. — Ну ясное дело, тебе сейчас немедленно требуется бежать туда, в стадо. Учужал, что какая-то кайманча¹⁹ в охоту пришла! Эх-эх! И почему только угрозило бога устроить ваше верблюжье отродье так, что в году только раз спохватываетесь о том, чем могли заниматься каждый день без шума и скандала? И кому тогда какое дело! Так нет, прямо конец света!..

Все это выговаривал Буранный Едигей больше для формы, чтобы не так обидно было, ибо он прекрасно понимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не сотрясать же воздух впустую, — открыл загон. И не успел он отодвинуть тяжеленную, в рост человека калитку из жердей, которую держал на крепкой цепи, как, едва не сшибя его с ног, Каранар ринулся вон и побежал в степь с яростным воплем и рыком, широко раскидывая цыбастые ноги и тряся тугими черными горбами. Мигом скрылся с глаз, взметая тучи снега за собой.

— Тьфу ты! — плюнул вслед хозяин и добавил в сердцах: — Беги, беги, дурак, а то опоздаешь!

Едигею с утра предстояло выходить на работу. Потому и пришлось смириться с бунтом Каранара. Знал бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его — ни за что, пусть хоть лопнул бы. Но кто бы без него смог управляться дома с взбесившимся атаном? Пусть проваливается куда подальше. Понадеялся Едигей, что верблюд проветрится на воле, поостынет в нем горячая кровь, поуспокоится...

А в полдень пришел Казангап и сказал ему, сочувственно усмехаясь:

— Ну, бай, худо твое дело. Только что на выпасе был. Твой Ка-

¹⁹ Кайманча — молодая верблюдица.

ранар пошел, как я думаю, в большой поход. Здешних кайманок ему, уже маловато.

— Побежал, что ли, куда? Да ты не разыгрывай меня, скажи серьезно.

— Что тут несерьезного? Говорю тебе, потянуло его в другие стада. Что-то учуял зверюга. Ездил я глянуть, как там у нас. Только выехал за большую балку, смотрю, кто-то по степи бежит, аж земля гудит,— сам Каранар. Глаза выкатил, орет что есть мочи; слюни текут из пасти. И прет, как царовоз. Целая метель за ним. Думал, потопчет. Так он мимо меня пронесся, точно и не видит, что человек перед ним. Пошел в сторону Малакумдычапа. Там под обрывом ходят стада побольше, чем наше. Здесь ему теперь неинтересно. Для него теперь размах нужен. В самой силе скотина.

Едигей расстроился по-настоящему. Представил себе — сколько мороки будет, сколько неприятностей.

— Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хорошие атаны, они ему бой дадут, вернется восвояси, как собака битая, куда он денется,— успокоил его Казангап.

На другой день уже стали поступать вести, как сводки с фронта, о боевых действиях Буранного Каранара. Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на Боранлы-Буранном, как машинист, или коچهгар, или кондуктор наперебой рассказывали о бесчинствах и погромах Каранара, устраиваемых им в пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах. Передали, что на разъезде Малакумдычап Каранар забил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в степь четырех маток, хозяевам с трудом удалось отбить их у Каранара. Люди из ружей стреляли в воздух. В другом месте Каранар согнал с верблюдицы ехавшего верхом хозяина. Хозяин, олух небесный, ждал часа два, думал, что, позабавившись, атан с миром отпустит его верблюдицу, которая, кстати, вовсе не собиралась сама избавляться от этого нахала. Но когда человек стал приближаться к верблюдице, чтобы уехать на ней домой, Каранар кинулся на него зверь зверем и погнал его — и затоптал бы, если бы тот не успел спрыгнуть в глубокую промоину и затаиться там, как мышь, ни живой ни мертвый. Потом он пришел в себя и, выбравшись по оврагу подальше от места встречи с Буранным Каранаром, поспешил домой счастливый, что жив остался.

Поступали по устному телефону сарозекскому и другие подобные вести о свирепых похождениях Каранара, но самое тревожное и грозное сообщение пришло в письменном виде с разъезда Ак-Мойнак. Вон куда подался, чертяка,— Ак-Мойнак, за станцией Кумбель! Оттуда прислал свое послание некий Коспан. Вот что писалось в этой достопримечательной записке:

«Салем, уважаемый Едигей-ага! Хотя ты известный человек в сарозеках, но придется тебе выслушать неприятные вещи. Я-то думал, ты мужик покрепче. Чего ты распустил своего громилу Каранара? От тебя такого мы не ожидали. Он тут страх навел на нас великий. Покалечил наших атанов, а сам отбил трех лучших маток, к тому же прибыл он сюда не один — пригнал какую-то верблюдицу оседланную, видно согнал по пути хозяина, а не то зачем этой верблюдице пришло быть под седлом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степь и никого близко не подпускает — ни человека, ни скотину. Куда это годится? Один молодой атанча наш уже издох, ребра у него оказались переломаны. Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть Каранара, забрать наших маток. Куда там! Ничего он не боится. Готов загрызть, изжевать заживо кого угодно! Только бы не мешали ему заниматься его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих маток подряд, только земля жодуном ходит. Тошно смотреть, как он это зверски делает. И орет при этом на всю степь, словно конец света наступает. Сил нет слушать! И, сдается мне, он мог бы заниматься этим делом сто лет без продыху.

Я такого изверга сроду не видывал. В нашем поселке все встревожены. Женщины и дети боятся далеко уходить от домов. А потому я требую, чтобы ты прибыл незамедлительно и забрал своего Каранара. Даю срок. Если через день не появишься и не избавишь нас от этого наваждения, то не сердчай, дорогой ага. Ружье у меня крупнокалиберное. Такими пулями медведя валят. Прострелю ему ненавистную башку при свидете ях, и делу конец. А шкуру пришлю попутным товарняком. Не посмотрю, что Буранный Каранар. А на слово я крепкий человек. Приезжай, пока не поздно.

Твой ак-мойнакский ини ²⁰ Коспан».

Вот такие дела закрутились. Письмецо хотя и чуذاком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едигею придется немедленно отправляться на разъезд Ак-Мойнак.

Сказать просто, сделать не так легко. Надо было добраться до Ак-Мойнака, изловить Каранара в степи да вернуться назад по таким холодам, и вьюга могла подняться в любой момент. Проще всего было одеться потеплее, сесть на проезжавший товарняк, а оттуда верхом. Но кто знает, как далеко ушел в степь Каранар со своим гаремом. Судя по тону письма, ак-мойнакцы могли быть так раздражены, что не дадут верблюда, придется в чужой стороне пешком гоняться по сугробам за Каранаром.

Утром Едигей двинулся в путь. Укубала наготовила ему еды на дорогу. Одедся он плотно. Поверх стеганых ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на ноги валенки, на голову лисий малахай-трилистник — такой, что ни с боков, ни сзади ветер не задувает, вся голова и шея в меху — на руки теплые овчинные рукавицы. А когда оседывал он верблюдицу, на которой собрался ехать в Ак-Мойнак, прибежали Абуталиповы ребята, оба. Даул принес ему вязанный вручную шерстяной шарф.

— Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла, — сказал он при этом.

— Шея? Скажи, горло.

Едигей принял от радости тискать ребят, целовать их, так расстрогался, что и слов других не находил. Возликовал в душе, как малец, — это был первый знак внимания с ее стороны.

— Скажите маме, — сказал он детям при отъезде, — что скоро я вернусь, бог даст, завтра же прибуду. Ни минуты не стану задерживаться. И мы все соберемся и будем вместе пить чай.

Как хотелось Буранному Едигею поскорее добраться до злополучного Ак-Мойнака и поскорее обернуться назад, чтобы поскорее увидеть Зарипу, глянуть в ее глаза и убедиться, что не случайным намеком бы этот шарфик, который он бережно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака. Когда уже выехал и потом, когда изрядно удалился от дома, едва удержался, чтобы не повернуть назад, бог с ним, с этим взбесившимся Каранаром, пусть пристрелит его на здоровье некий Коспан и пришлет его шкуру, в конце концов сколько можно нянчиться с диконравным верблюдом, пусть покарает его судьба. Пусть! Поделом! Да, были такие горячие порывы! Но постыдился. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, и прежде всего в глазах Укубалы, да и самой Зарипы. И остыл. Убедил себя, что только один у него способ утолить нетерпение — поскорее добраться и поскорее вернуться.

С тем и погонял. Достаточно морозно было. Ветер тянул ровный и жесткий. На ветру иней обкладывал лицо, особенно мех лисьего малахая намерзал пушистой куржой. И такой же белой куржой оседало дыхание бурой верблюдицы шлейфом от шеи до самой холки. Зима,

²⁰ Ини — младший брат, младший родич, земляк.

знать, входила в силу. Затуманились дали. Вблизи вроде нет тумана, а посмотришь — на краю видимости стоит туманность. Эта туманность все время как бы передвигалась перед ним по мере езды. Насколько к ней приблизится путник, настолько она отступит. Нелюдимо и сурово было в зимних сарозеках, застывших в ветреной белизне.

Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом неплохо, бодро взрыхляя целину. Но для Едигея это была не та езда, не та скорость. Будь то Каранар, совсем по-другому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее и размах шага — не сравнить. Недаром ведь сказано еще истари:

Чем лучше конь того коня?
Превосходящим ходом лучше.
Чем лучше батыр того батыра?
Умом превосходящим лучше...

Ехать было далеко и все время в одиночестве. Порядком истомился бы в пути Едигей, если бы не шарфик, подаренный Зарипой. Всю дорогу он ощущал присутствие этой вроде бы пустяковой вещицы. Сколько прожил уже на свете, а не предполагал, что такая мелочь может так согреть сердце, если исходит от любимой женщины. Тем и пробавлялся всю дорогу. Запуская руку за пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но потом призадумался. Как же быть, как жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть? Живой человек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой цели. А их-то и не было.

И тогда скорбным туманом заволакивался взор Буранного Едигея, как те молчаливые сарозекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигей ответа, сокрушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал себя безнадежными грезами...

И подчас становилось ему по-настоящему страшно в этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь выпала ему? Зачем он попал в сарозеки? Зачем объявилась на Боранлы-Буранном эта несчастная семья, гонимая судьбой? Не было бы всего этого — не знал бы никаких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невозможно... А тут еще этот разбушевавшийся Каранар, тоже обуза, тоже кара божья, не везет. Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни...

Прибыл Едигей на Ак-Мойнак уже почти к вечеру. Притомился по пути верблюдица. Путь был далекий, да еще в зимнее время.

Ак-Мойнак — такой же разъезд, как Боранлы-Буранный, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет — те же сарозеки.

Подъезжая к Ак-Мойнаку, спросил Едигей у встретившегося на краю улочки малого, где, мол, тут Коспан. Тот ему сказал, что Коспан в этот час как раз на работе, дежурит по разъезду. Туда и направился Буранный Едигей. Подъехал к дежурке и собирался уже спешиться, как на крыльце появился среднего роста, бойкий, хитро ухмыляющийся мужичок в полушубке словно бы с чужого плеча, в стоптанных валенках, в старом треухе набекрень.

— А-а, Едигей-ага! Наш дорогой Боранлы-ага! — сразу узнал он Едигея, скатываясь с крыльца. — Значит, прибыл, а мы ждем-пождем. Думаем-гадаем, то ли приедет, то ли нет.

— Попробуй тут не приехать, — усмехнулся Едигей, — когда такое грозное письмо прислали.

— А как же иначе! Ну, письмо еще полбеды, Едигей-ага. Письмо — это бумажка. А тут дела такие, что надо тебе срочно избавлять нас от своего Каранара, а то мы тут как в блокаде. В степь ходу нам нет. Завидит кого издали — бежит как бешеный, готов изувечить! Что за паразит! Страшно иметь такого атана. — Он умолк, оглядел верхового Едигея и добавил: — Только я смотрю, как ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли!

— Зачем голыми руками? Вот мое оружие.— Едигей достал из переметной сумки накрученный на кнутовище бич.

— Вот этой плеткой, что ли?

— А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против верблюда?

— Да мы тут с ружьями не смеем. Не знаю, может, конечно, признает тебя за хозяина, тогда... Только вряд ли, глаза его в дыму...

— Ну, это посмотрим,— отвечал Едигей.— Что время терять. Должно быть, ты и есть тот самый Коспан. Если так, то веди меня, покажи, где он там, а остальное оставь мне.

— Это не так близко,— сказал Коспан и стал оглядываться по сторонам, а потом посмотрел на свои часы.— Вот что, Едигей-ага, поздно уже. Пока доберемся туда, свечереет. А куда ты потом на ночь глядя? Нет, так не пойдет. Таких людей, как ты, не всегда зазовешь в гости. Будь нашим гостем. А с утра — как душе твоей угодно.

Такого оборота Едигей не ожидал. Он-то рассчитывал, если удастся изловить Каранара, сегодня же ночью добраться до Кумбеля, там заночевать возле станции у знакомых, а на рассвете двинуться пораньше домой. Видя, что Едигей хотел бы уехать, Коспан решительно запротестовал:

— Нет, Едигей-ага, так не пойдет. За письмо прости. Но другого выхода не было. Житья не стало. Только я не отпущу тебя. Если, не дай бог, случится что ночью в безлюдной зимней степи, не хочу быть черноликим на все Сары-Озеки. Оставайся, а утром как хочешь. Вон мой домик, с краю. У меня еще полтора часа дежурства. Будь как у себя. Располагайся. Верблюдицу ставь в загон. Корм будет. Вода у нас своя, вволю.

Быстро потемнело тем зимним днем. Коспан и его семья оказались чуждыми людьми. Старуха мать, жена, мальчик лет пяти (старшая девочка училась, оказывается, в кумбельском интернате) и сам Коспан были заняты только тем, чтобы угодить гостю. В доме было жарко натоплено, по особому оживленно. На кухне уваривалось мясо зимнего забоя. Тем временем пили чай. Старуха мать сама наливала пиалы Буранному Едигею и все расспрашивала про семью, про детей, про житье-бытье, про погоду, да откуда, мол, родом-племенем, да сама, в свою очередь, рассказывала, когда и как прибились они на разъезд Ак-Мойнак. Едигей охотно отзывался на разговоры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал ломтиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье масло в сарозеках редкость. Овечье, козье, верблюжье масло тоже неплохое дело, но коровье все же вкуснее. А им прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувствует даже запах луговых трав, чем очень покорила старуху, и она принялась рассказывать о родине своей—о яйцких²¹ землях, о тамошних травах, лесах и реках...

Тем временем пришел начальник разъезда—Эрлепес, приглашенный Коспаном по случаю приезда Буранного Едигея. С приходом Эрлепеса начался само собой мужской разговор о службе, о транспорте, о заносах на путях. С Эрлепесом Едигей был немного знаком и прежде, тот давно уже работал на железной дороге, а теперь привелось познакомиться поближе. Эрлепес был старше Едигея. Начальником Ак-Мойнака он сидел с конца войны и чувствовалось, что к нему на разъезде относились с уважением.

Уже ночь стояла за окнами. Как и на Боранлы-Буранном, то и дело проходили с шумом поезда, позвякивали стекла, ветер посвистывал в оконных створках. И все-таки это было совсем другое место, хотя и по той же железной дороге в сарозеках, и Едигей был среди совсем других людей. Здесь он был гостем, хотя приехал из-за сумасбродного Каранара, но все равно его встретили достойно.

²¹ Яйцких — от слова «Жайық» (раздольная, широкая), так казахи называли прежде реку Урал.

С приходом Эрлепеса Едигей почувствовал себя тем более на своем месте. Эрлепес был глубоким собеседником, хорошо знавшим казахскую старину. Разговор вскоре перешел на былые времена, на знаменитых людей, на знаменитые истории. Очень расположился в тот вечер Едигей к новым ак-мойнакским друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радушие хозяина и хозяйки и в немалой степени хорошее угощение и выпивка. Водка была. С мороза и с дороги Едигей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений вяленным оркочем — горбым салом молодой верблюжатины, — и благодать разлилась по телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость Буранный Едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостя и тоже чувствовал себя приподнято. Поэтому он и попросил Коспана:

— Сходи, ради бога, Коспан, принеси мою домбру.

— Вот это дело, — одобрил Едигей. — С малолетства завидую тем, кто на домбре играет.

— Большой игры не обещаю, Едике, но кое-что припомню в твою честь, — сказал Эрлепес, скинув пиджак и засучивая заранее рукава рубашки.

В отличие от шустрого, многословного Коспана Эрлепес был более сдержанным. Массивный лицом и дородный, он внушал уверенность в себе. Когда он взял в руки домбру, то сосредоточился и словно отдалился на некое расстояние от повседневности. Так случается, когда человек готовится обнаружить свои сокровенные привязанности. Налаживая инструмент, Эрлепес глянул на Едигея долгим, мудрым взглядом, и в его черных, навывкате, больших глазах блеснули, отражаясь, как в море, блики света. А когда он ударил по струнам и пробежал длинными цепкими пальцами вверх и вниз по высокой, на всю длину взмаха шейке домбры, успев извлечь разом целую гроздь звуков и одновременно завязывая узелки новых гроздей, которые будет затем, развивая тему, щедро срывать со струн, понял Буранный Едигей, что не легко и не просто обернется ему слушанье этой музыки. Ибо он, оказывается, всего лишь отвлекся, всего лишь забылся малость в гостях, но первые же звуки домбры снова вернули его к себе, снова кинули с головой в пучину горестей и бед. Отчего же такое возникало в нем? Выходит, давно уже было известно тем людям, которые сочинили эту музыку, как и что произойдет с Буранным Едигеем, какие тяготы и муки предназначены ему на роду? А иначе как могли они знать, что почувствует он, когда услышит себя в том, что наигрывал Эрлепес? Встрепенулась душа Едигея, воспарила и застонала, и разом отворились для него все двери мира — радости, печали, раздумья, смутные желания и сомнения...

Действительно отменно играл Эрлепес на домбре. Давнишние переживания давнишних людей оживали в струнах, высвобождая, как сухие дрова в костре, огонь душевного горения. А Едигей думал в тот час, то и дело поглаживая дареный шарфик, спрятанный во внутреннем кармане пиджака, о том, что есть на свете женщина, которую он любит, и сама мысль о ней для него улада и мука, что жить без нее ему неведомо, и потому он будет любить ее всегда, неоглядно, неизменно, бесконечно, чего бы то ему ни стоило. Об этом и звенела, то угасая, то возгораясь, домбра в руках Эрлепеса. Одни наигрыши сменялись другими, одни мелодии переливались в следующие, и плыла душа Едигея, словно лодка по волнам. Снова очутился он мысленно на Аральском море, припомнились незримые морские течения вдоль берегов, их направление угадывалось по длинным и густым, как женские волосы, водорослям, уплывающим по течению, вытягиваясь на одном и том же месте. Когда-то у Укубалы были такие волосы, ниже колен. И когда она купалась, то ее волосы тяжело уплывали в сторону, как те водоросли по морскому течению. И она счастливо смеялась и была красива и смугла.

Просветлел, растрогался Буранный Едигей, так хорошо ему было слушать домбру. Только ради этого стоило проделать по зимним сарозекам дневной путь. «Вот и хорошо, что Каранар заскочил сюда,— подумалось Едигею.— Сам очутился здесь и меня завлек, просто принудил приехать. А душа моя зато хоть разок насладится домброй. Эй да молодец Эрлепес! Большой мастер, оказывается! А я-то и не знал...»

Слушая наигрыши Эрлепеса, Едигей думал о своем, пытался со стороны посмотреть на свою жизнь, подняться над ней, как кличущий коршун над степью, высоко-высоко и оттуда, в полном одиночестве паря на прямо расставленных крыльях по восходящим воздушным потокам, оглядывать то, что внизу. Огромная картина зимних сарозеков предстала перед его взором. Там на незаметной излучине железнодорожной линии приткнулось кучкой несколько домиков и несколько огоньков—это разъезд Боранлы-Буранный. В одном из домиков Укубала с дочурками. Они, пожалуй, уже спят. А Укубала, возможно, и не спит. Что-то ведь думает и что-то должно ей подсказывать сердце. А в другом домике—Зарипа со своими ребятами. Она-то наверняка не спит. Тяжело ей, что и говорить. А впереди еще сколько предстоит горя мыкать—ребятишки-то пока не знают об отце. А куда денешься, правду не обойдешь стороной...

Представил он себе, как, грохоча, бегут в тот час поезда среди ночи, полыхая огнями и взметая снежную пыль, и какая глухая и бесконечная ночь стоит вокруг. Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, внимая домбре, в беспросветно темной и дикой степи, среди снегов и ветра бодрствует неистовый Каранар. Ему не до сна, не до покоя. Вот ведь как устроено в природе. Весь год набирается сил, весь год изо дня в день собирает и пережевывает корм, все время непрестанно перегирая жвачку могучими челюстями, и для этого у него соответственно устроен желудок, вначале накапливающий грубый корм, а затем возвращающий его для вторичного измельчения, чем и занимается верблюд в любое время, пережевывая жвачку на ходу и даже во сне, и все это с тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах, и чем мощнее, налитее и крепче горбы, чем плотнее в них сало, тем мощнее самец в зимний гон. И тогда ему ничем ни снега, ни холода, ни даже хозяин и тем более прочие люди. Тогда он лютует, опьяненный неукротимой силой, тогда он царь и владыка, и нет ему ни усталости, ни страха, и ничего на свете не существует—ни питья, ни еды, ничего, кроме утоления великой и необузданной страсти его. Но ведь для этого он и жил целый год, для этого и набирался силы изо дня в день. И в этот час Буранный Едигей сидел гостем в тепле и сыте и слушал, а где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лунных снегов ярился и метался Буранный Каранар, верный зову крови, ревниво оберегая облюбованных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая устрашающе черными космами бороды.

И об этом думалось Едигею под звуки домбры...

Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое. К тому, что ожидалось завтра. Странное желание возникло при этом—заслонить, загородить от опасности все, что дорого ему, весь мир, который представился ему, чтобы никому и ничему не было плохо. И это смутное ощущение некой вины своей перед всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль...

— Уа, Едигей,— окликнул его Эрлепес, задумчиво улыбаясь, доигрывая, мелко перебирая затихающие струны.— Ты никак устал с дороги, надо тебе отдохнуть, а я тут на домбре бренчу.

— Да нет, что ты, Эрлеке,— искренне смутился Едигей, прикладывая руки к груди.— Наоборот, давно мне не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, продолжай, сделай такое добро. Играй.

— А что бы ты хотел?

— Это тебе лучше знать, Эрлеке. Мастер сам знает, что ему сподручней. Конечно, старинные вещи — они как бы роднее. Не знаю отчего, за душу берут, думы навевают.

Эрлепес понимающе кивнул.

— Вот и Коспан у нас такой,— усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Коспана.— Как слушает домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так, что ли, Коспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забывай. Плесни нам понемногу.

— Это я мигом,— оживился Коспан и подлил на дно стаканов по новой.

Они выпили, закусили. Переждав, Эрлепес снова взял в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так ли настроен инструмент.

— Коли тебе по душе старинные вещи,— сказал он, обращаясь к Едигею,— напомню я тебе одну историю, Едике. Многие старики ее знают, да и ты знаешь. Кстати, у вас Казангап хорошо рассказывает, но он рассказывает, а я наиграю и спою — целый театр устрою. В твою честь, Едике. «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».

Едигей благодарно закивал, а Эрлепес прошелся по струнам, предваряя сказание так хорошо знакомой домбровой увертюрой, и снова застала настроенная душа Едигея, ибо все, что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой тоской и пониманием.

Гудела домбра, ей вторил голос поющего Эрлепеса, густой и низкий, очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого жырау²² Раймалы-аги. Раймалы-аге было уже за шестьдесят, когда он влюбился в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую певицу Бегимай, она зажглась как звезда на его пути. Вернее, это она ваюбилась в него. Но Бегимай была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы-агу. И с тех пор эта история любви имеет своих сторонников и противников. Нет равнодушных. Одни не принимают, отвергают поступок Раймалы-аги и требуют, чтобы имя его было забыто, другие сочувствуют, сопереживают, передают эту горькую печаль влюбленного из уст в уста, из рода в род. Так и живет сказание о Раймалы-аге. Во все времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои защитники.

Припомнилось Едигею в тот вечер, как поносил и злобствовал кречетоглазый, обнаруживший среди бумаг Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы-аги к брату Абдильхану. Абуталип же, напротив, был очень высокого мнения об этой, как он называл ее, поэме о степном Гёте; оказывается, у немцев тоже был великий и мудрый старик, который влюбился в молоденькую девушку. Абуталип записал песню о Раймалы-аге со слов Казангапа в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые становятся достоянием многих, ибо цена того урока настолько высока, так много вмещает в себя та история, что то, что было пережито одним человеком, как бы распространяется на всех живших в то время, и даже на тех, кто придет следом много позже...

Перед ним сидел Эрлепес, вдохновенно наигрывая на домбре и вторя ей голосом, начальник разъезда, которому положено прежде всего ведать путями на определенном участке железной дороги, казалось бы, зачем ему носить в себе мучительную историю давнего прошлого, историю несчастного Раймалы-аги, зачем страдать так, точно бы сам он был на его месте... Вот что значит музыка и истинное пение, думалось Едигею, скажут: умри и родись заново — и на то готов в ту минуту... Эх, как хочется, чтобы всегда горел в просвет-

²² Жырау — степной бард.

левшей душе такой огонь, от которого ясно и вольготно думается человеку о себе самым лучшим образом...

На новом месте Едигею не сразу удалось уснуть, хотя он и выходил перед ~~этим~~ подышать воздухом, хотя и устроили ему хозяева удобное, теплое ложе, застелили свежими простынями, сберегаемыми в каждом доме для таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как скребся и посвистывал ветер, как проходили поезда в ту и другую сторону... Ждал рассвета, чтобы обратить взбунтовавшегося Каранара и пораньше отправиться в путь, побыстрее добраться до Боранлы-Буранного, где ждут его детишки обоих домов, потому что он всех любит в равной степени и потому что он для того и живет на этой земле, чтобы им было хорошо... Обдумывал он, каким способом предстоит усмирить Каранара. Вот ведь задача, все у него не как у людей, и верблюд достался самый норовистый и свирепый, люди боятся одного его вида и теперь готовы даже пристрелить... Но как втолкуешь скотине, что хорошо, что плохо... Ведь потянуло его сюда неспроста — так природа распорядилась, а Каранар велик и могуч, и оттого нет ему никаких преград, и кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит... Как тут быть, как приструнить Каранара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедовой головы, не Коспан, так кто-нибудь другой пристрелит, и ничего не поделаешь... Засыпая, припомнил еще раз пение Эрлепеса, его игру на домбре и очень был тем доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту домбру страдания некогда влюбившегося, на беду свою, певца Раймалы-аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едигей ощутил в той истории Раймалы-аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую боль. То, что испытал Раймалы-ага лет сто тому назад, как это отдавалось теперь в нем, в Буранном Едигее, живущем в пустынных сарозеках. Едигей тяжело вздыхал, ворочался в постели, грустно и печально было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности духа в себе. Куда ему было податься и как быть дальше? Что сказать Зарипе и что ответить Укубале? Нет, не находил распутья, плутал, запутывался и, засыпая, очутился вдруг на Аральском море... Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра... И как тогда, как в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал, реял над морским простором и слышал все время, как гудела и звенела домбра, как пел Эрлепес о несчастной любви Раймалы-аги, и снилось ему снова, как выпускал он в море золотого мекре. Мекре был гибкий и увесистый, и когда он нес его к воде, явственно ощущал живую плоть рыбы, то, как она жаждала вырваться в свою стихию. Он шел по прибою, море катилось ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал руки, и золотой мекре, вспыхивая в густой синеве воздуха живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и падал в воду... И все так же доносилась откуда-то музыка... Кто-то плакал и жаловался на свою судьбу.

Той ночью гулял в степи морозный порывистый ветер. Стужа набирала силу. Стадо верблюдиц из четырех голов, облюбованное и оберегаемое Буранным Каранаром, стояло в затишке, в ложбине под невысокой сопкой. Заметаемые с подветренной стороны снегом, они сбились в кучу, угревая друг друга, положи головы на шею друг другу, но их неистовый косматый повелитель Каранар не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестно к кому и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу. Каранар не находил себе места. Он топтался по метельному дымному насту, черный зверь о двух горбах, с длинной шеей и ~~рявляющей~~ патлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас ~~непрочь~~ был заняться любовным трудом и все докучал и приставал то к одной, то к другой матке, крепко

кусал их за лодыжки и за ляжки, оттирал их одну от другой, но это было уж слишком с его стороны, верблюдцам достаточно было и дневного времени, когда они охотно исполняли его прихоти, а ночью им хотелось покоя. Поэтому они тоже неприязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных приставаний и не собирались уступать. Ночью им хотелось покоя.

Ближе к рассвету поуспокоился, попритих и Буранный Каранар. Стоял рядом с самками, покрикивая изредка как бы спросонья и дико озираясь вокруг. И тогда верблюдицы прилегли на снег, вся четверка, одна возле другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного атана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевшего ими в битве с другими атанами. И снилось им лето, пахучая полынь, нежное прикосновение сосунков к вымени, и вымена их побаливали, покальвали из смутной глубины, предощущая будущее молоко... А Буранный Каранар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах...

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она наконец повернулась таким боком, что наступило утро над сарозеками, увидел вдруг Буранный Каранар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Коспан. Коспан взял с собой ружье.

Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, закипел во гневе — как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гургу, какое имели право нарушить его гон? Каранар завопил зычным, свирепеющим голосом и, дергая головой на длинющей шее, залазгал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую пасть. И пар валил, как дым, из его горячего рта на холоду и тут же оседал на его черных космах белой налетающей изморозью. От возбуждения Каранар начал мочиться, встал раскорячившись и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едигея.

Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись налегке — в телогрейке и ватных штанах, — раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках.

— Ты смотри, Едике, в случае чего я его уложу, — сказал Коспан, направляя ружье.

— Нет, ни в коем случае. За меня не беспокойся. Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если на тебя нападет, тогда дело другое.

— Хорошо, — согласился Коспан, оставаясь верхом на верблюдице.

А Едигей, нахлестывая бич резкими, стреляющими хлопками, пошел навстречу своему Каранару. Каранар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной, навстречу Едигею. Тем временем матки встали с лежбища и тоже беспокойно забегали вокруг.

Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжьё волокушу на снежных заносах, Едигей шел по снегу, громко окликавая издали Каранара, надеясь, что тот узнает его голос:

— Эй, эй, Каранар! Не валяй дурака! Не валяй, говорю! Это я! Ты что, ослеп? Это я, говорю!

Но Каранар не реагировал на его голос, и Едигей ужаснулся, когда увидел косматый злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотней надвинув малахай, Едигей пустил в ход бич. Бич был длинный, метров семь, плетенный из тяжелой, просмоленной кожи. Верблюд орал, наступал на Едигея, пытаясь схватить его зубами или повалить на землю и затоптать, но Едигей не подлу-

скал его к себе и хлестал бичом со всей силы, увертывался, отступал и наступал и все кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так бились они каждый как умел, и каждый был по-своему прав. Едигей был потрясен неукротимой, неменяемой устремленностью атана к счастью и понимал, что лишает его этого счастья, но другого выхода не было. Одного только опасался Едигей: только бы глаз Каранару не выбить, остальное сойдет. Упорство Едигея сломило наконец волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на верблюда, Едигею удалось приблизиться и кинуться, затем ухватить его за верхнюю губу, он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился, и тут же, изловчившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Каранар замычал, застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой, в его расширенных, немигающих, немеющих от страха и боли глазах Едигей увидел свое четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, убоившись собственного вида. Такое нечеловеческое выражение исказило его разгоряченное, потное лицо и как был изрыт ногами снег вокруг — все это он увидел в одно мгновение в обезумевших зрачках Каранара, и ему захотелось бросить все к черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем не повинную тварь, но он тут же одумался: его ждали в Боранлы-Буранном и нельзя было возвращаться без Каранара, того просто пристрелят ак-мойнакские соседи. И он пересилил себя. Торжествующе вскрикнул и принялся угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо было его оседлать. Буранный Каранар все еще сопротивлялся, вопил и рычал, обдавая хозяина влажным дыханием горячей ревущей пасты, но хозяин оставался непреклонным. Он заставил верблюда покориться.

— Коспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих верблюдиц подальше, за сопку, чтобы он их не видел! — прокричал Едигей Коспану.

Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, а сам побежал отгонять Каранарово стадо. Тем временем все было покончено — Едигей быстро уложил седло на Каранара и, когда прибежал Коспан и принес Едигею брошенную шубу, быстро оделся и не мешкая водрузился верхом на оседланного и обузданного Каранара.

Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к разлученным маткам, хотел даже, закидывая голову набок, достать зубами хозяйна. Но Едигей знал свое дело. И несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное несмолкаемое вытье Каранара, Едигей упорно гнал его по снежной степи и все пытался вразумить.

— Перестань! Хватит! — говорил он ему. — Замолчи! Все равно назад не вернешься. Дурная ты голова! Думаешь, я тебе зла желаю? Да не будь меня, сейчас бы тебя пристрелили как вредного бещеного зверя. А что скажешь? Ты же взбесился, это верно, еще как верно! Взбесился, ведешь себя как последний сумасброд! А не то зачем приперся сюда, своих маток тебе не хватало? Вот учти, доберемся до дома — и конец твоим куролесиям по чужим стадам! На цепь посажу, и ни шагу тебе не будет свободы, раз ты такой оказался!

Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Каранара от его ак-мойнакских верблюдиц. И это было вообще-то несправедливо. Был бы он смиренным животным — какой вопрос! Вот ведь бросил Едигей верховую верблюдицу у Коспана. Коспан обещал при случае пригнать ее на Боранлы-Буранный — и никаких тебе проблем, все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.

Через некоторое время смирился Буранный Каранар и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что снова попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, выровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода — бежал тротом, стриг ногами расстояние сарозков как заведенный. И Едигей успокоился, уселся поудобней между

упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотней подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал приближения к боранлинским местам.

Но было еще достаточно далеко до дома. День выдался сносный. Немного ветренный, немного облачный. Метели в ближайшие часы можно было не опасаться, хотя ночью вполне могло запуржить. Буранный Едигей возвращался довольный тем, что удалось изловить и обуздать Каранара, а особенно вчерашним вечером у Коспана, домброй и пением Эрлепеса.

И Едигей невольно вернулся к мыслям о своей незадачливой жизни. Вот ведь беда! Как сделать, чтобы никто не пострадал и чтобы боль свою не таить, а сказать напрямик — так и так, мол, Зарипа, люблю тебя. И если детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то, если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И пусть добиваются они успеха своими силами и умением. Жалко разве для этого фамилию отдать? Да, и такие мысли навещали по пути Буранного Едигея.

Уже день клонился к исходу. Неутомимый Каранар как ни противился, как ни ярился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись боранлинские лога, вот знакомые буераки, заметенные сугробами, вот большое всхолмление — и впереди на излучине железной дороги приткнулся разъезд Боранлы-Буранный. Дымки вьются над трубами. Как-то там его родные семьи? Вроде бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто целый год здесь не был. И соскучился здорово — особенно по детишкам. Завидев впереди поселение, Каранар еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара. Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда. Один пошел на запад, другой на восток...

Едигей остановился на задах, во дворе, чтобы сразу же запереть Каранара в загон. Спешился, ухватил врытую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею переднюю ногу верблюда. И оставил его в покое. «Пусть поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спешил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка — Сауле. Едигей обнял ее, неловко двигаясь в шубе, поцеловал.

— Замерзнешь, — сказал он ей. Она была легко одета. — Беги домой. Я сейчас.

— Папа, — сказала Сауле, ласкаясь к отцу, — а Даул и Эрмек уехали.

— Куда уехали?

— Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали.

— Уехали? Когда уехали? — все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери.

— Да сегодня утром еще.

— Вот как! — дрогнувшим голосом отозвался Едигей. — Ну ты беги, домой беги, — отпустил он девочку. — А я потом, потом. Иди, иди сейчас...

Сауле скрылась за углом. А Едигей быстро, даже не прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх ватника двинулся прямо в барак Зарипы. Шел и не верил. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть такого. Но крыльцо было потоптано многими следами. Едигей резко потянул на себя дверь за скобу и, переступив порог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату с разбросанным повсюду ненужным хламом. Ни детей, ни Зарипы!

— Как же так? — прошептал Едигей в пустоту, все еще не желая понять до конца, что произошло. — Значит, уехали? — сказал он удив-

ленно и скорбно, хотя совершенно очевидно было, что люди уехали отсюда.

И ему стало плохо, так плохо, как никогда за всю прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты, у холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше, как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу обиду и утрату. На подоконнике лежали забытые Эрмеком гадательные камушки, те самые сорок один камушек, на которых научились они гадать, когда вернется не существующий давно их отец, камушки надежды и любви. Едигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке — вот и все, что осталось. Больше у него не хватило сил, он отвернулся к стене, прижимаясь горячим горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал сдавленно и безутешно. И пока он плакал, из руки его то и дело падали на пол камушки один за другим. Он судорожно пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не подчинялась ему и камушки выскальзывали и падали на пол с глухим стуком один за другим, падали и закатывались по разным углам опустевшего дома...

Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опустился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая. Достал из кармана шарфик, подаренный накануне Зарипой, и утирал им слезы...

Так сидел он в покинутом бараке и пытался понять, что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась, что он не отпустит их. Да он и не отпустил бы их ни в коем случае, ни за что. Чем бы это ни кончилось, не отпустил бы, будь он здесь. Но теперь было поздно гадать, как и что было бы, не будь он в отъезде. Их не было. Не было Зарипы! Не было мальчиков! Да разве бы он разлучился с ними! Это все Зарипа, поняла, что лучше уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но не подумала о нем, о том, как страшно будет ему застать опустевший барак.

И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде! Кто-то! Да известно кто — Казангап, кто же еще! Только он не срывал, конечно, стоп-кран, как Едигей в день смерти Сталина, а договорился, упросил начальника разъезда остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это такой тип... И Укубала, должно быть, приложила руку, чтобы побыстрей выпроводить их вон отсюда! Ну подождите же! И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая мозг, — хотелось ему сейчас собраться с силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Боранлы-Буранный, сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось, сесть на Каранара и укатить в сарозеки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода! Так он сидел на покинутом месте — обессилевший, опустошенный, потрясенный случившимся. Осталось только тупое недоумение: «Зачем уехала, куда уехала? Зачем уехала, куда уехала?»

Потом он появился дома. Укубала молча приняла его шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу Буранного Едигея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрячими. Они ничего не выражали, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. Укубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля.

— Чай горячий, — сказала жена. — С огня.

Едигей молча глянул на нее и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора.

— Зарипа уехала отсюда с детьми, — промолвила наконец Укубала.

— Знаю, — не поднимая головы от чая, коротко буркнул Едигей.

И, помолчав, спросил, все так же не поднимая головы от чая: — Куда уехала?

— Этого она нам не сказала, — ответила Укубала.

На том они замолчали. Обжигаясь крутым чаем и невзирая на то, Едигей занят был лишь одним: только бы не взорваться, только бы не разнести тут все вдребезги, не напугать детей, только бы не натворить беды...

Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу. Снова надел валенки, шубу, шапку.

— Ты куда? — спросила жена.

— Скотину посмотреть, — бросил он в дверях.

Короткий зимний день успел тем временем кончиться. Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг. И мороз заметно покрепчал, поземка зашевелилась, вскидываясь, змеясь бегущими грибами. Едигей хмуро прошагал в загон. И, войдя, раздраженно зыркнул глазами, прикрикнул на порывавшегося с цепи Каранара:

— Ты все орешь! Тебе все нейдет! Ну так ты у меня, сволочь, дождешься! С тобой у меня разговор короткий теперь! Теперь мне все нипочем!

Едигей зло толкнул Каранара в бок, заматерился злым матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой тот был прикован. Затем он взял его за повод, в другой руке зажал бич, намотанный на кнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего с тоски атана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, одергивал Буранного Каранара, чтобы тот прекратил свой стон и вопль, но поскольку это не возымело действия, плюнул и, не обращая внимания, шел, угрюмо и терпеливо снося верблюжий ор, шел упрямо по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю, темнеющему, теряющему постепенно очертания. Он тяжело дышал, но шел не останавливаясь. Долго шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Каранара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей быстро привязал повод недоуздка к поясу на ватнике, чтобы верблюд не вырвался и не убежал и чтобы иметь руки свободными, и, ухватившись обеими руками за кнутовище, принялся стегать бичом атана, вымеща на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он Буранного Каранара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгая ругательства и проклятия:

— На тебе! На! Подлая скотина! Это все из-за тебя! Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя отпущу, беги куда глаза глядят, но прежде я тебя изувечу! На тебе! На! Ненасытная тварь! Тебе все мало! Тебе надо бегать по сторонам. А она уехала тем часом с детьми! И никому из вас нет дела, каково мне! Как мне теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам все равно, то и мне все равно. Так получай, получай, собака!

Каранар кричал, рвался, метался под ударами бича и, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с ног и побежал прочь, волоча его по снегу. Он волок хозяина с дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы избавиться от него, лишь бы освободиться, убежать туда, откуда его насильно вернули.

— Стой! Стой! — вскрикивал Едигей, захлебываясь, зарываясь в снег, по которому тащил его атан.

Шапка слетела, сугробы били жаром и холодом в голову, в лицо, в живот, налезали за шею, за пазуху, в руках запутался бич, и ничего нельзя было поделывать, чтобы как-то остановить атана, отвязать повод от ремня на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя в бегстве спасение. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Едигею не удалось каким-то чудом распустить ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то задохнулся бы в сугробах. Когда

он уже схватился за повод, верблюды проволокли его еще несколько метров и остановились, удерживаемый хозяином из последних сил.

— Ах ты! — приходя в себя, бормотал обгоревший от снега Едигей, задыхаясь и пошатываясь. — Так ты так! Ну получай, скотина! И прочь, прочь с моих глаз! Беги, проклятый, чтобы никогда мне не видеть тебя! Пропади ты пропадом! Сгинь, проваливай! Пусть тебя пристрелят, пусть изведут, как бешеную собаку! Все из-за тебя! Подыхай в степи. И чтобы духу твоего близко не было! — Каранар убежал с криком в ак-мойнакскую сторону, а Едигей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная и матеря на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки. И потому Едигей долго кричал еще вслед:

— Пропадай, чертова скотина! Беги! Подыхай там, ненасытная тварь! Чтоб тебе пулю в лоб закатали!

Каранар убежал все дальше по сумеречному, стемневшему полю и вскоре исчез в метельной мгле, только доносились изредка его резкие трубные выкрики. Едигей представил себе, как всю ночь напролет без устали будет бежать он сквозь метель туда, к ак-мойнакским маткам.

— Тьфу! — плюнул Едигей и повернул назад по широкому, пропаханному собственным телом снежному следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках, брел он в темноте, волоча бич, и вдруг почувствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на колени в снег и, согнувшись в три погибели, крепко обнимая голову, зарыдал глухо и надривно. В полном одиночестве, на коленях среди сарозеков, он услышал, как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, взметая поземку, и услышал, как падает сверху снег. Каждая снежинка и миллионы снежинок, неслышно шурша, шедшая в трении по воздуху, казалось ему, говорили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что нет смысла жить без любимой женщины и без тех ребятишек, к которым он привязался, как не всякий отец. И ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут же снегом.

— Нет бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни! Так что же ждать от других? Нет бога, нет его! — сказал он себе отрешенно в том горьком одиночестве среди ночных пустынных сарозеков. До этого он никогда не говорил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров, постоянно памятуя сам о боге, убеждал в то же время, что, с точки зрения науки, бога не существует, он не верил тому. А теперь поверил...

И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, коленопреклоненного на снегу, среди снежной пустыни. Ни король, ни император, ни какой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти, с таким отчаянием, как сделал то Буранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной... И плыла Земля...

Дня через три Казангап остановил Едигея у склада, где они получали костыли и подушки под рельсы для ремонта.

— Что-то ты нелюдимый стал, Едигей, — сказал он как бы между прочим, перекладывая связку железок на носилки. — Ты избегаешь меня, что ли, сторонисься почему-то, все никак не удастся поговорить.

Едигей резко и зло глянул на Казангапа.

— Если мы начнем говорить, то я тебя придушу на месте. И ты это знаешь!

— А я и не сомневаюсь, что ты готов придушить меня и, быть может, еще кое-кого. А только с чего это ты так гневаешься?

— Это вы принудили ее уехать! — высказал напрямик Едигей то, что мучило и не давало ему покоя все эти дни.

— Ну знаешь, — покачал головой Казангап, и лицо его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. — Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно думаешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что женщина эта оказалась с великим умом, не то что ты. Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться? Нет? А она подумала и решила уехать, пока не поздно. И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том. И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми, и она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше никто. Понял? Уехала, не уронив ни единым словом своего достоинства и достоинства твоей жены. И они попрощались как люди. Да ты поклонись им обеим в ноги, что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены, как Укубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край света почище твоего Каранара...

Молчал Едигей — что было отвечать? Казангап говорил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казангап того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на прямую грубость.

— Ладно! — проговорил он и сдвинул пренебрежительно в сторону. — Послушал я тебя, умника. Потому ты такой и ходишь здесь двадцать три года бессменно, без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе знать дела эти! Ладно! Некогда мне тут выслушивать. — И пошел, не стал разговаривать.

— Ну смотри, дело хозяйское, — посыщалось позади.

После этого разговора задумал Едигей покинуть опостылевший разъезд Боранлы-Буранный. Всерьез задумал, потому что не находил успокоения, не находил в себе сил забыть, не мог осилить снедающую душу тоску. Без Зарипы, без ее мальчишек все померкло вокруг, опустело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучений, решил Едигей Жангельдин официально подать заявление начальнику разъезда об увольнении и уехать с семьей куда глаза глядят. Только бы здесь не оставаться. Ведь не прикован же он цепями навечно к этому богом забытому разъезду, большинство людей живут же в других местах — в городах и селах, они не согласились бы здесь жить ни часа. А почему он должен век куковать в сарозеках? За какие грехи? Нет, хватит, уедет, вернется на Аральское море или двинет в Караганду, в Алма-Ату — и мало ли еще мест на свете. Работник он хороший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на плечах, плюнет на все и уедет, чего тут думать. Сообратил Едигей, как подступиться с этим разговором к Укубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока он собирался, выбирал удобный момент для разговора, минула неделя и объявился вдруг Буранный Каранар, выгнанный хозяином на вольное житье.

Обратил внимание Едигей на то, что собака что-то все лает за домом, беспокоится, побежит, полагает и снова вернется. Едигей вышел посмотреть, что там, и увидел неподалеку от загона незнакомое животное — верблюду, только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей подошел поближе и только тогда узнал своего Каранара.

— Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бечара²³, до чего же ты истаскался! — воскликнул опешивший Едигей.

От прежнего Буранного Каранара остались только кожа да кости. Огромная голова с запавшими грустными очами болталась на истончившейся шее, космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже колен, прежних каранаровских горбов, вздымавшихся как черные башни, не было и в помине — оба горба свалились набок, как увядшие старушечьи груди. Атан так обессилел, что

²³ Бечара — бедолага.

не хватило мочи добрести до загона. И остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до последней кровинки, до последней клеточки изошелся он в гоне и теперь вернулся как опорожненный мешок, добрался, приполз.

— Эх-хе-хе! — не без злорадства удивлялся Едигей, оглядывая Каранара со всех сторон. — Вот до чего ты докатился! Тебя даже собака не узнала. А ведь был атаном! Ну и ну! И ты еще заявился?! Ни стыда, ни совести! Яйца-то у тебя на месте, дотянул или потерял по пути? А и вонища же от тебя. На ноги лил, сил не хватало. Вон как намерзло на заднице! Бечара! Совсем доходягой стал!

Каранар стоял не в силах шевельнуться, и не было в нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и жалкий, он лишь покачивал головой и старался только устоять, удержаться на ногах.

Едигею стало жалко атана. Он пошел домой и вернулся с полным тазиком отборного пшеничного зерна. Подсолил сверху полпригоршней соли.

— На, поешь, — поставил он корм перед верблюдом. — Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до загона. Полежишь, придешь в себя.

В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую:

— Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не удивляйся: вчера, мол, разговаривать не хотел, то да се говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу я возвратить тебе Каранара. Поблагодарить пришел. Когда-то ты подарил его мне сосунком. Спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло, так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас лежит в загоне. Недели через две придет в прежний вид. Силен и здоров будет. Только подкормить требуется.

— Постой, — перебил его Казангап. — Ты куда клонишь? Чего это ты вдруг решил возвращать мне Каранара? Я тебя просил об этом?

И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в сарозеках, пора переменить место жительства. Может, к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал и вот что сказал ему:

— Смотри, дело твое. Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей не уйдешь. Она будет всюду с тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй всерьези себя. А уехать — это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может осилить себя.

Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал и спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая. «А может, все же уехать, закатиться в другие края? — думал он. — Но смогу ли забыть? А почему я должен забывать? А как же быть дальше? И не думать нельзя и думать тяжело. А ей каково-то? Где она теперь с несмышленишами? И есть ли кому понять и помочь ей в случае чего? И Укубале нелегко — сколько дней уже молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость... А за что?»

Казангап понял, что происходит в уме Буранного Едигея, и, чтобы облегчить положение, сказал, кашлянув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза:

— А впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей, словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все разумеешь. И если на то пошло, ты не Раймалы-ага, а я не Абдильхан. И главное, за сто верст вокруг нет у нас ни одной березины, к которой я мог бы привязать тебя. Ты свободен, подступай как угодно. Только подумай, перед тем как стронуться с места.

Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Едигея.

X

Раймалы-ага был очень известным для своего времени певцом. Смолоду прославился. Милостью божьей он оказался жырау, сочтавшим в себе три прекрасных начала: он был и поэтом, и композитором собственных песен, и исполнителем незаурядным, певцом большого дыхания. Своих современников Раймалы-ага поражал. Стоило ему ударить по струнам, как вслед за музыкой лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. И на следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо, услышав напев Раймалы, каждый уносил его с собой по аулам и кочевьям. Это его песню распевали тогдашние джигиты:

Воды прохладной вкус познает конь горячий,
 Когда он припадет к реке, бегущей с гор.
 Когда же я скачу к тебе, чтобы с седла припасть к твоим губам,
 Я познаю отраду бытия на белом свете...

Раймалы-ага красиво и ярко одевался, это ему сам бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучшими мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И был еще у него конь неразлучный — всем известный золотисто-игреневый ахалтекинец Сарала, даренный туркменами на званом пиру. Хвалу отдавали Сарале не меньше, чем хозяину. Любуясь походкой его, изящной и величественной, знатоки наслаждение получали. Потому и говорили те, кому охота была подшутить: все богатство Раймалы — звук домбры да походка Саралы.

А оно так и было. Всю свою жизнь Раймалы-ага провел в седле и с домброй в руках. Богатства не нажил, хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей, все время в пирах, в веселии, везде ему почет и ласка. А коню уход и корм. Однако были иные крепкие, состоятельные люди, которые не любили его — беспутно, мол, бестолково прожил жизнь, как ветер в поле. Да, поговаривали и так за спиной.

Но когда Раймалы-ага появлялся на красном пиру, то с первыми звуками его домбры и песни все затихали, все заворуженно смотрели на его руки, глаза и лицо, даже те, кто не одобрял его образа жизни. На руки смотрели потому, что не было таких чувств в человеческом сердце, созвучия которым не нашли бы эти руки в струнах; на глаза смотрели потому, что вся сила мысли и духа горела в его глазах, беспрепятственно преобразовавшихся; на лицо смотрели потому, что красив он был и одухотворен. Когда он пел, лицо его менялось, как море в ветренный день...

Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпение, но многие женщины плакали украдкой по ночам, мечтая о нем.

Так катилась его жизнь от песни к песне, со свадьбы на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкралась. Вначале в усах седина замелькала, потом борода поседела. И даже Сарала стал не тот — телом упал, хвост и грива иссеклись, по походке только и можно было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил Раймалы-ага в зиму свою, как тополь островерхий, подсыхающий в гордом одиночестве... И тут обнаружилось, что нет у него ни семьи, ни дома, ни стада, ни иного богатства. Приютил его младший брат Абдильхан, но прежде высказал в кругу близких сородичей недовольство и упреки. Однако велел поставить ему отдельную юрту, велел кормить и обстирывать...

О старости стал петь Раймалы-ага, о смерти стал призадумываться. Великие и печальные песни рождались в те дни. И настал его черед постигать на досуге изначальную думу мыслителей — зачем рождается человек на свет? И уже не разъезжал он, как прежде, по пирам и свадьбам, все больше дома оставался, все чаще наигрывал на

домбре грустные мелодии, воспоминаниями жил, да все дольше за-
сиживался со старейшинами в беседах о бренности мира...

И, бог ему свидетель, спокойно завершил бы дни свои Раймалы-ага, если бы не один случай, потрясший его на склоне лет.

Однажды не утерпел Раймалы-ага, оседлал своего престарелого Саралу и поехал на большой праздник развеять скуку. Домбру на всякий случай прихватил. Уж очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе, если не петь, то погостить хотя бы. С тем и поехал Раймалы-ага — с легкой душой, с намерением быстро вернуться.

Встретили его с почетом большим, в самую лучшую юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу знатных лиц, кумыс попивал, разговоры вел приличествующие да благожелания высказывал.

А в ауле пир шел горой, доносились отовсюду песни, смех, голоса молодых, игры и забавы. Слышно было, как готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопотали повара у костров, как гомонили на воле табуны, как беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, донося запахи трав цветущих... Но более всего и ревностно улавливал слух Раймалы-аги музыку и пение в соседних юртах, смех девичий то и дело взрывался вокруг, заставляя его насто-
раживаться...

Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не подавал себе-седникам, но мысленно Раймалы-ага витал в прошлом, ушел в те дни, когда сам был молодым и красивым, когда мчался по дорогам на молодом и ретивом скакуне Сарале, когда травы, сминаясь под копытами, плакали и смеялись, когда солнце, заслышав песню его, катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, когда от звуков его домбры загоралась кровь в сердцах людей, когда каждое слово его срывали на лету, когда умел он страдать, умел любить, и казнить, и слезы лить, прощаясь со стремени... К чему и зачем все то было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, как тлеющий огонь под пеплом серым?

Печалился Раймалы-ага, все больше помалкивал, погруженный в себя. И вдруг услышал он приближающиеся к юрте шаги, голоса и звон монист, и знакомое шуршание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи высоко приподнял шитый полог над дверью юрты и на пороге появилась девушка с домброй, прижатой к груди, открытолицая, со взглядом озорным и гордым, с бровями, как тетива тугими, что выдавало в ней весьма решительный характер, и вся она, та черноокая, была ладна собой, словно бы сотворена умелыми руками, — и ростом, и обличьем, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джигитов, прощения прося у знатных лиц. Но никто не успел и рта открыть, как девушка уверенно ударила по струнам и, обращаясь к Раймалы-аге, запела приветственную песню:

«Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб жажду утолить, к тебе пришла я, певец прославленный Раймалы-ага, сказала слова приветя. Не осуди, что вторглись мы сюда толпою шумной, — на то здесь пир, на то веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости моей, Раймалы-ага, — отважилась к тебе явиться с песней, с таким же трепетом и тайным страхом, как если бы сама в любви признаться я хотела. Прости, Раймалы-ага, я смелостью заражена, как походом ружье заветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цветок в бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час. И этот час настал...»

«Позволь, но кто же ты, пришлица прекрасная?» — хотел было узнать Раймалы-ага, но не посмел прервать чужую песню на полуслове. Однако весь подался к ней в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем, горячей кровью возбудилась плоть, и если бы в тот час

особым зрением обладать сумели люди, увидели б они, как вострепнулся он, как крыльями взмахнул, подобно беркуту на взлете. Глаза в нем ожили и засияли, насторожился сам, как клик желанный слышав в небесах. И поднял голову Раймалы-ага, забыв о годах...

А девушка-певица продолжала:

«Послушай же историю мою, жырау великий, коль скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю тебя, певец от бога Раймалы-ага. Я всюду следовала за тобой, Раймалы-ага, где б ты ни шел, куда б ты ни приехал. Не осуждай. Моя мечта была акыном стать таким, каким ты был, какой ты есть поныне, великий мастер песни Раймалы-ага. И, следуя повсюду за тобой незримой тенью, ни слова твоего не пропустив, твои напевы повторяя как молитвы, училась я, стихи твои, как заклинанья, затвердила. Мечтала я, просила я у бога мне ниспослать великой силы дар, чтобы могла тебя приветствовать в один счастливый день, чтобы в любви признаться, в преклонении давнем спеть песни, сочиненные в твоём присутствии, и еще, пусть бог простит мне эту дерзость, с тобой, великий мастер, в искусстве состязаться я мечтала, пусть если даже буду побеждена. О Раймалы-ага, об этом дне мечтала, как иной о свадьбе. Но я была мала, а ты — таким великим, таким любимым всеми, настолько славой и почетом окружен, не мудрено, меня, девчонку малую, заметить ты не мог в народе, не мог ты отличить в том многолюдье на пирах. А я же, упиваясь песнями твоими, сгорая от стыда, я втайне грезила тобой и женщиной хотела стать скорее, чтобы прийти к тебе и объявиться смело. И клятву я дала себе познать искусство слова, познать природу музыки так глубоко и научиться петь, как ты, учитель мой, чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыскующего взора, чтоб привет сказать, в любви признаться и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я здесь. Я вся здесь на виду и на суду. Пока росла я, пока я женщиной предстать спешила без опоздания, так время медленно тянулось, и наконец-то нынешней весной все девятнадцать мне исполнились. А ты, Раймалы-ага, в моем девичьем мире все такой же и все тот же, лишь поседел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя, как можно не любить других, совсем не посевших. И вот я здесь. Теперь позволю сказать мне решительно и ясно, меня отвергнуть как девицу волен ты, но как певицу — не смеешь отвергать, поскольку я пришла с тобою состязаться в красноречии... Тебе бросаю вызов, мастер, слово за тобой!»

— Но кто же ты? Откуда ты? — воскликнул Раймалы-ага и с места встал. — Как звать тебя?

— Мое имя Бегимай.

— Бегимай? Так где же ты была до этого? Откуда ты явилась, Бегимай? — невольно вырвалось из уст Раймалы-аги, и голову склонил он омраченно.

— Ведь я сказала, Раймалы-ага. Мала была я, я росла.

— Все понимаю, — ответил он на то. — Не понимаю лишь одно — судьбы своей не понимаю! Зачем угодно было ей тебя взрастить такой прекрасной к закату лет моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что все, что было прежде, не то все было, что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне как воздаяние от неба отрадное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя? К чему судьба немилость проявляет сетуя жестоко?

— Напрасно стелуешь так горько, Раймалы-ага, — сказала Бегимай. — Уж если то судьба в моем лице явилась — во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Ничто не будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе доставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Раймалы-ага. Но если ты сомненья одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо мной дверь к себе,

то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытания.

— О чем ты говоришь! Что испытание словом, Бегимай! Что стоит состязание в мастерстве, когда есть испытания пострашнее — любви, не совместимой с тем порядком, в котором мы живем. Нет, Бегимай, не обещаю я соревноваться в красноречии с тобой. Не потому, что сил не хватает, не потому, что слово умерло во мне, не потому, что голос потускнел. Не потому. Я лишь могу тобою восхищаться, Бегимай. Я лишь могу любить тебя себе на горе, Бегимай, и лишь в любви с тобою состязаться, Бегимай.

С этими словами Раймалы-ага взял домбру, настроил ее на новый лад и запел новую песню, запел как в былые дни — то как ветер, чуть слышный в траве, то как гроза, грохочущая раскатами в белоголубом небе. С тех пор и осталась та песня на земле. Песня «Бегимай»:

«...Если ты пришла издалека, чтоб испить воды из родника, я как ветер встречный добегу и к ногам твоим упаду, Бегимай. Если же сегодня день наипоследний мне судьбой начертан на роду, то сегодня не умру я, Бегимай. И во веки не умру я, Бегимай, оживу и снова буду жить, Бегимай, чтобы не остаться без тебя, Бегимай, без тебя, как без очей, Бегимай...»

Вот так он пел ту песню «Бегимай».

День тот надолго остался в памяти людей. Сколько разговоров закипело сразу вокруг Раймалы-аги и Бегимай. А когда провожали невесту к жениху, среди праздничных белых юрт, среди всадников на праздничных конях, среди яркой праздничной толпы, во главе проводящего каравана гарцевали Раймалы-ага и Бегимай с песнями благопожеланий. Бок о бок ехали они, стремя в стремя ехали они, обращались рядышком они, обращались к богу они, к добрым силам обращались они, новобрачным счастья желали они, на домбрах играли они, на свирелях играли они, песни пели они — то он, то она, то он, то она...

И дивились люди вокруг, что такие песни слышат они, и смеялись травы вокруг, дым костров стелился вокруг, и летали птицы вокруг, веселились ребята, на двухлетках вокруг скача...

Не узнавали люди старого певца Раймалы-агу. Снова голос звенел, как бывало, снова гибким и ловким он стал, как бывало, а глаза сияли, как две лампы в белой юрте на зеленом лугу. Даже конь его Сарала шею выгнул и тоже гордился.

Но не всем то было по душе. Были в толпе и те, что плевались, глядя на Раймалы-агу. Сродственники, соплеменники его возмущались — баракбай, так назывался тот род. Баракбай злились, находясь на свадьбе. Куда это годится — Раймалы-ага с ума спятил на старости лет. Стали наговаривать они брату его Абдильхану. Как же будем тебя волостным избирать, засмеют нас другие на выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас выставляет? Слышишь, что поет, как жеребец молодой, гогочет. А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и срам! На глазах у всех голову крутит ему. Не к добру. Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо, чтобы худая молва не пошла по аулам...

Абдильхан давно уже зло держал на беспутного брата, до седин дожившего за беспутным занятием. Думал — постарел, остепенился, и тут на тебе: на весь род баракбаев позор навлекает.

И тогда приударил коня своего Абдильхан, пробиваясь к брату через толпу, и кричал, угрожая кнутом: «Опомнись! Домой уезжай!» Но не слышал и не видел его старший брат, сладкозвучными песнями занятый. А поклонники — те, что плотной толпой окружали верхами певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдильхана вмиг оттеснили и успели с разных сторон по шее огреть плетьюми. Разберись тут, кто руку приложил. Ускакал Абдильхан...

А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась в устах.
«...Когда марал влюбленный подругу кличет ревом поутру, ему
ущелье вторит эхом горным»; — пел Раймалы-ага.

«Когда же лебедь, разлученный с лебедицей белой, на солнце
глянет поутру, то солнце он увидит кругом черным»; — отвечала пес-
ней Бегимай.

И так они пели в честь молодых — то он, то она, то он, то она...

Не ведал Раймалы-ага в тот час самозабвенный, с какой кипучей
злойбой в груди ускакал брат Абдильхан, с какой обидой и мстью
нетерпимой последовали за ним сородичи, весь баракбаев род. Какую
в сговоре расправу заготовили они ему, не знал...

А песни пелись — то он, то она, то он, то она...

Мчал Абдильхан, к седлу пригнувшись черной тучей. К аулу, к
дому! Сородичи, что волчьей стаей рядом шли, ему кричали на скаку:

— Брат твой рассудком тронулся! Ума лишился! Беда! Его лечить
скорее надо!

А песни пелись — то он, то она, то он, то она...

Так с песнями проводили они свадебный кортеж к положенному
месту. Здесь на прощание еще раз спели благопожелания. И, обращаясь
к людям, сказал Раймалы-ага, что счастлив тем, что дожил до бла-
гословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного акы-
на, певицу молодую Бегимай. Сказал, что кремень, лишь о кремень
ударяясь, огонь воспламеняет, так и в искусстве слова, состязаясь
в мастерстве, акыны постигают тайны совершенства. Но сверх всего,
сверх мыслимого счастья он счастлив тем, что напоследок жизни, как
на закате, когда светило всей мощью польхает, наполненной от сотво-
ренья мира, познал любовь он, познал такую силу духа, какую не
знавал от роду.

— Раймалы-ага! — ему в ответном слове сказала Бегимай. — Сбы-
лась моя мечта. Я буду следовать за тобой. Как скажешь и где ска-
жешь — явлюсь немедленно с домброй. Чтоб песня с песней сочета-
лась, чтобы любить тебя и быть твоей любовью. С тем жизнь свою
судьбе вручаю без оглядки.

Так пелись песни.

И здесь при всем степном народе условились они, что встреча
через день на ярмарке большой, где будут петь для всех приезжих
со всех сторон.

И тот же час те, что разъезжались с проводов, весть разнесли
по всей округе о том, что Раймалы-ага и Бегимай на ярмарку приедут
петь. Бежала новость:

— На ярмарку!

— На ярмарку коней седлайте!

— На ярмарку акынов слушать приезжайте!

Молва людская эхом откликалась:

— Вот праздник будет!

— Вот потеха!

— Вот красота!

— Какой позор!

— Как здорово!

— Бесстыдство-то какое!

А Раймалы-ага и Бегимай расстались посреди пути:

— До ярмарки, родная Бегимай!

— До ярмарки, Раймалы-ага!

И, удаляясь, еще кричали с седел:

— До ярмарки-и!

— До ярмарки-и, Раймалы-ага-а-а!

День на исходе был. Большая степь спокойно погружалась в на-
плывы белых сумраков степного лета. Созрели травы, чуть духом
уядания травы отдавали, прохладой свежей веяло после дождей в

горах, летели коршуны перед закатом низко и неспешно, посвистывали птахи, слава вечер мирный...

— Какая тишина, какая благодать! — промолвил Раймалы-ага, поглаживая коня по гриве.— Ах, Сарала, ах, старина, мой славный конь, неужто жизнь так прекрасна, что даже в свой последний срок любить так можно?..

А Сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых, день-деньской ходил под седлом, воды речной испить ему хотелось и в поле выйти попасться при лунном свете.

А вот аул у изгиба реки. Вот юрты, вот огни веселые дымят.

Раймалы-ага спешился. Коня у коновязи на выстойку поставил. В жилище не заходя, присел передокнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел. Соседский парень.

— Раймалы-ага, вас просят люди в юрту.

— Какие люди?

— Да все свои, все баракбаи.

Переступив порог, увидел Раймалы-ага старейшин рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку — брата Абдильхана. Тот мрачен был. Глаза не поднимал, как будто прятал что во взоре.

— Мир вам! — приветствовал Раймалы-ага сородичей.— Уж не случилась ли беда?

— Тебя мы ждем,— промолвил самый главный.

— Если меня, то здесь я,— ответил Раймалы-ага,— и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу.

— Постой! Остановись в дверях! И на колени встань! — услышал он приказ.

— Что это значит? Ведь я пока хозяин этой юрты.

— Нет, ты не хозяин! Не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума!

— О чем же речь?

— О том, что дашь отныне клятву нигде и никогда не петь, не шляться по пирам и напрочь выкинуть из головы ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, забыв о пегой бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей и своей. Так поклянись! Чтоб на глаза ты больше ей не попадался!

— Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе.

Тут крик поднялся:

— Да он же нас позором покрывает!

— Пока не поздно, откажись!

— Да он рехнулся!

— Да он и впрямь свихнулся!

— А ну-ка тише! Помолчите! — навел порядок главный судия.—

Итак, Раймалы, ты все сказал?

— Я все сказал.

— Вы слышите, потомки рода Баракбая, что соплеменник наш, сей нечестивый Раймалы, сказал?

— Мы слышали.

— Тогда послушайте, что я скажу. Вначале я тебе скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности однолошадной, в гуляниях провел ты, пел на пирах, домброй бренчал, шутком-маскаропосом был. Ты жизнь свою употребил для развлечения других. Тебе прощали мы твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты стар и ты смешон теперь. Тебя мы презираем. Пора о смерти бы подумать, о смирении. А ты же на забаву и на злословие чужим аулам с той девкой спутался, как вертопрах последний, попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету, так что ж, пусть покарает тебя бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдильхан, ты брат его

единокровный, от одного отца и матери одной, и ты опора наша и надежда. Тебя мы волостным хотели бы видеть от имени всех баракбаев. Но брат твой рехнулся вконец, он сам не понимает, что творит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты вправе поступить с ним так, чтобы умалишенный Раймалы нас не позорил бы на людях, чтобы никто не смел бы плюнуть нам в глаза и на посмешище поднять не смел бы баракбаев!

— Никто мне не пророк и не судья,— заговорил Раймалы-ага, опережая Абдильхана.— Мне жалко вас, сидящих здесь и не сидящих, вы в заблуждении темном, вы судите о том, что недоступно решать на общем сборе. Не ведаете вы, где истина, где счастье в этом мире. Да разве же постыдно петь, когда поется, да разве же любить постыдно, когда любовь приходит, ниспосланная богом на веку? Ведь самая большая радость на земле — влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня считаете безумным лишь потому, что я покою и от любви, пришедшей неурочно, не уклоняюсь, радуюсь ей, то я уйду от вас. Уйду, свет клином не сошелся. Сейчас же сяду на Саралу, уеду к ней, или уедем вместе в края другие, чтоб не тревожить вас ни песнями, ни поведением своим.

— Нет, не уйдешь! — взорвался грозным хрипом все это время молчавший Абдильхан.— Отсюда ты не выйдешь никуда. Ни на какую ярмарку тебе нет хода. Тебя лечить мы будем, пока твой разум не найдет тебя.

И с этими словами брат выхватил домбру из рук акына.

— Вот так! — И оземь бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, как бык взъяренный топчет пастуха.— Отныне петь ты позабудешь! Эй вы, ведите клячу эту, Саралу! — И подал знак.

И те, что на дворе стояли наготове, от коновязи быстро подогнали Саралу.

— Срывай седло! Бросай сюда! — топор припрятанный выхватывая, командовал Абдильхан.

Седло крушил он топором, кромсая в щепки.

— Вот! Никуда ты не поедешь! Ни на какую ярмарку! — И в ярости изрезал в клочья сбрую, ремни стремян порезал на куски, а сами стремена в кусты забросил, одно в одну, второе в сторону другую.

В испуге заметался Сарала, на пятки приседал, храпел, грызя удила, как будто знал, что и его постигнет та же участь.

— Так, значит, ты на ярмарку собрался? На Сарале верхом? Так погляди! — свирепствовал Абдильхан.

И тут же сородичи свалили Саралу в два счета, в два счета волосяным арканом стянули лошадь в узел. А Абдильхан могучей пятерней схватив коня за храп, оттягивая голову навзничь, над горлом беззащитным нож занес.

Рванулся что есть силы Раймалы-ага из рук удерживающих.

— Остановись! Не убивай коня!

Но не успел. Как кровь струей горячей ударила из-под ножа, в глаза ударила, как тьма среди дня. И весь в крови дымящейся, облитый кровью Саралы, с земли, шатаясь, встал Раймалы-ага.

— Напрасно! Ведь я пешком уйду. Я на коленях уползу! — сказал униженный певец, полою утираясь.

— Нет, и пешком ты не уйдешь! — От горла перерезанного Саралы, лицо в оскале резко поднял Абдильхан.— Тебе отсюда шагу не шагнуть! — проговорил он тихо и вдруг вскричал: — Хватайте! Смотрите, он безумен! Вяжите, он убьет!

Тут крики. Все смешались, сшиблись:

— Сюда веревку!

— Заламывай руки!

— Крути потуже!

— Он спятил! Вот вам бог!

- Смотри, глаза какие!
- Он разум потерял, ей-ей!
- Тащи его туда, к березе!
- Давай поволокли!
- Тащи скорей!

Уже луна над головой стояла высоко. Совсем спокойно было в небе, на земле. Пришли какие-то шаманы, костер разложили и в дикой пляске изгоняли духов, затмивших разум великого певца.

А он стоял привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

Потом пришел мулла. Тот зачитал молитвы из Корана. На путь потребный наставлял мулла.

А он стоял, привязанный к березе, с руками, стянутыми за спиной.

И, обращаясь к брату Абдильхану, запел Раймалы-ага:

«Последний сумрак унося с собой, уходит ночь, и день грядущий с утра наступит снова. Но для меня отныне света нет. Ты солнце отнял у меня, несчастный брат мой Абдильхан. Ты рад, угрюмо торжествуешь, что разлучил меня с любовью, от бога посланной уже на склоне лет. Но знал бы ты, какое счастье я ношу с собою, пока дышу, пока не смолкло сердце. Ты повязал, ты прикрутил меня петлями к дереву, а я не здесь сейчас, несчастный брат мой Абдильхан. Здесь только тело брэнное мое, а дух мой, как ветер, пробегает расстояния, как дождь, соединяется с землей, я каждое мгновение с нею неразлучен, как ее волос собственный, как собственное ее дыхание. Когда она проснется на рассвете, я козерогом диким с гор к ней прибегу и буду ждать на каменном утесе, когда она из юрты выйдет поутру. Когда она огонь воспламенит, я буду дымом сладким, окуривать ее я буду. Когда она поскачет на коне и через брод речной перебраться станет, я буду брызгами лететь из-под копыт, я буду окроплять ее лицо и руки. Когда же запоет она, я песней буду...»

Над головой чуть слышно шелестели ветки по утренней заре. День наступил. Узнав о том, что Раймалы сошел с ума, полюбопытствовать прибыли соседи. С коней не слезая, толпились в отдалении.

А он стоял в изодранной одежде, привязанный к березе, с руками, туго стянутыми за спиной.

И песню пел, ту песню, что знаменитой стала после:

С черных гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Дай мне волю, брат мой Абдильхан.
Не гадал, не думал, что тобою буду
Связан по рукам и по ногам.
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Развяжи мне руки, брат мой Абдильхан,
Я по доброй воле в небеса уйду...

С черных гор когда пойдет кочевье,
Я на ярмарке не буду, Бегимай.
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай.
Мы с тобой не будем петь на ярмарке,
Конь мой не поспеет, сам я не дойду.
С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты не жди меня на ярмарке, Бегимай,
Я по доброй воле в небеса уйду...

Вот такая она, история эта...

Теперь, по пути на Ана-Бейит, провожая Казангапа в последний путь, и об этом неотступно думал Едигей.

XI

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запага на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей...

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана...

А поезда шли с востока на запад и с запага на восток...

Миновав очень долгий проезд вдоль краснопесчаного обрыва Малакумдычап, где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына-манкурта, они оказались на подступах к Ана-Бейиту. Постоянно посматривая то на часы, то на солнце над сарозеками, Буранный Едигей считал, что все пока идет так, как надо. После похорон они вполне могли успеть вовремя вернуться домой, чтобы сообща помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да, жизнь, жизнь! Казангап будет уже покоиться на Ана-Бейите, а они, вернувшись домой, еще раз вспомнят о нем добрым словом...

Все в том же порядке — впереди Едигей на Каранаре, обряженном в попону с кистями, за ним трактор с прицепом и за прицепом экскаватор «Беларусь» — они выехали из Малакумдычапа на анабейитскую равнину в сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим языком. И тут по выходе из Малакумдычапа случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие — на изгородь из колючей проволоки.

Едигей первым остановился — вот те раз! Он даже привстал на стременах и с высоты Каранара посмотрел направо, посмотрел налево — насколько глаз хватало змеилась вверх и вниз по степи непроходимая шипованная проволока, нацепленная в несколько рядов на железобетонные четырехгранные столбцы, врытые в землю через одинаковые промежутки, через каждые пять метров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Неизвестно, откуда она начиналась и где кончалась. А может быть, нигде не кончалась. Проезда дальше не было. И как тут было быть, как дальше путь держать?

Тем временем позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Сабитжан, за ним Длинный Эдильбай.

— Что такое? — махнул рукой Сабитжан на изгородь. — Не туда попали, что ли? — спросил он у Едигея.

— Почему не туда? Туда, да только вот проволока откуда-то взялась. Черт ее побери!

— А разве ее прежде не было?

— Не было.

— А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?

Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть.

— Эй ты! А ну останови трактор! Хватит тархатеть! — раздраженно бросил Сабитжан высунувшемуся из кабины Калибеку.

Тот заглушил мотор. За ним смолк и экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Буранный Едигей хмуро сидел на своем верблюде, Сабитжан и Длинный Эдильбай стояли возле, трактористы — Калибек и Жумагали — оставались в кабинах, покойный Казангап, запеленатый в белый войлок, лежал в прицепе, рядом сидел его зять-алкоголик, муж Айзады, рыжий пес Жолбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрав ногу.

Великая сарозекская степь простиралась под небом от края и до края земли, но прохода к Ана-Бейитскому кладбищу не было. И все остановились в недоумении перед колючей стеной.

Первым нарушил молчание Длинный Эдильбай:

— А что, Едиге, прежде ее здесь не было?

— Сроду не было! Первый раз вижу.

— Выходит, что оградили зону специально. Для космодрома, наверно? — предположил Длинный Эдильбай.

— Да, так получается. Иначе зачем столько трудов — в голей степи такую изгородь отгрохали. Кому-то ведь взбрело в голову. Что ни вздумается, то и делают, черт их побери! — выругался Едигей.

— Да что тут чертыхаться! Лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, — мрачно подал голос Сабитжан.

Наступила тягостная пауза. Буранный Едигей глянул неприя-зненно сверху вниз, с высоты Каранара, на стоящего подле Сабитжана.

— Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суетись, — ска-зал он как можно спокойней. — Прежде здесь не было колючей про-волоки, откуда было знать.

— Вот об этом и речь, — буркнул Сабитжан и отвернулся.

Опять замолчали. Длинный Эдильбай что-то соображал.

— Так как быть теперь, Едиге? Что делать? Есть ли какая-ни-будь другая дорога на кладбище?

— Да должна быть. Почему же нет? Есть тут дорога, километров пять правее, — отвечал Едигей, оглядываясь по сторонам. — Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда — ни туда, ни сюда.

— Так это точно, там есть дорога? — вызывающе уточнил Сабитжан. — А то как раз получится — ни туда, ни сюда!

— Есть, есть, — заверил Едигей. — Садитесь, поехали. Не будем время терять.

И они снова двинулись. Снова затарахтели трактора позади. Поехали вдоль проволоки.

Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим. Как же так, досадовал он в душе, позакрывали, заградили кругом местность и на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь! И, однако, у не-го была надежда — должно быть какое-то сообщение и на этой, юж-ной, стороне. Так оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму.

Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание на основа-тельность, прочность пропускного пункта: крепкие бетонные моно-литы по краям, у самого проезда с края дороги кирпичный домик с широким, сплошь цельным стеклом для обозрения, сверху, на плос-кой крыше, были установлены два прожекторных фонаря, видимо для освещения проезда в ночное время. От шлагбаума уходила даль-ше асфальтированная дорога. Едигей забеспокоился при виде такой устроенности.

С их появлением из постового помещения вышел молоденький, совсем еще юный белобрысый солдат с автоматом через плечо ду-лом книзу. Одергивая гимнастерку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлаг-баума с неприступным видом. И все же вначале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, преграждающей дорогу.

— Здравствуйте, — козырнул часовой, глянув на Едигея светло-голубыми, еще ребяческими глазами. — Кто такие будете? Куда путь держите?

— Да мы здешние, солдат, — сказал Едигей, улыбаясь мальчише-ской строгости часового. — Вот возьм человека, старика нашего, хо-ронить на кладбище.

— Не положено без пропуска, — отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без опаски отстраняясь от Каранаровой зу-бастой пасти, жующей жважку. — Здесь охраняемая зона, — пояснил он.

— Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? Похороним и назад. Никаких задержек.

— Не могу. Не имею права,— сказал часовой.

— Слушай, родимый.— Едигей склонился с седла так, чтобы лучше были видны его боевые ордена и медали.— Не посторонние мы. Мы с развезда Бораны-Буранного. Слышал, должно быть. Мы свои люди. Хоронить-то ведь надо. Мы только на кладбище и назад.

— Да я-то понимаю,— начал было часовой, бесхитростно пожимая плечами, но тут некстати подоспел Сабитжан с напускным, поспешающим видом важного, делового человека.

— Что такое, в чем дело? Я из облпрофсовета,— заявил он.— Почему задержка?

— Потому что не положено.

— Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсовета.

— А мне все равно, откуда вы.

— Как это так? — опешил Сабитжан.

— А так. Охраняемая зона.

— Тогда зачем разговоры разводить? — оскорбился Сабитжан.

— А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам. Чтобы ему понятно было. А вообще-то я не имею права вступать в разговоры с посторонними. Я на посту.

— Значит, проезда на кладбище нет?

— Нет. Не только на кладбище. Здесь проезда нет никому.

— Ну тогда что ж,— обозлился Сабитжан.— Я так и знал! — бросил он Едигею.— Так и знал, что ерунда получится! Так нет! Куда там! Ана-Бейит! Ана-Бейит! Вот тебе Ана-Бейит! — И с этими словами он отошел оскорбленно, сплевывая зло и нервно.

Едигею стало неловко перед молоденьким часовым.

— Ты извини, сынок,— сказал он ему по-отечески.— Ясное дело, ты службу несешь. Но покойника куда теперь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да поехал.

— Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут, так я и должен делать. Я же не начальник здесь.

— Да-а, дела-а,— растерянно протянул Едигей.— А сам-то ты откуда родом?

— Вологодский я, папаша,— проокал часовой смущенно и по-детски обрадованно, не скрывая, улыбаясь тому, что приятно ему было ответить на этот вопрос.

— Так что, у вас в Вологде тоже так — на кладбищах часовые стоят?

— Да что ты, папаша, зачем же! На кладбище у нас когда хошь и сколько хошь. Да разве в этом дело? Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и воевал, смотрю, знаешь небось, служба есть служба. Хочу не хочу, а долг, никуда не денешься.

— Так-то оно так,— соглашался Едигей,— только куда теперь нам с покойником?

Они замолчали. И крепко подумав, солдатик с сожалением тряхнул белобровой, ясноглазой головой.

— Нет, папаша, не могу! Не в моих правах!

— Что ж,— проговорил совершенно растерянно Едигей.

Ему было тяжело повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабитжан все больше распалялся, подошел к Длинному Эдильбаю. У экскаватора были слышны его раздраженные выпады:

— Я ведь говорил! Не надо тащиться в такую даль! Это же пред-рассудки! Морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидать мертвеца! Так нет: лопни, а подай им Ана-Бейит. И ты тоже мне — уезжай, без тебя похороним! Вот и хороните теперь!

Длинный Эдильбай молча отошел от него.

— Слушай, друг,— сказал он часовому, подойдя к шлагбауму.— Я тоже служил и тоже знаю кое-какие порядки. Телефон у тебя есть?

— Есть, конечно.

— Тогда так — звони начальнику по караулу. Доложи, что местные жители просят, чтобы им разрешили проезд на кладбище Ана-Бейит!

— Как? Как? Ана-Бейит? — переспросил часовой.

— Да. Ана-Бейит. Так называется наше кладбище. Звони, друг, другого выхода нет. Пусть самолично разрешение получит для нас. А мы — будь уверен, кроме кладбища, нас тут ничего не интересует.

Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу, наморщив лоб.

— Да ты не сомневайся, — сказал Длинный Эдильбай. — Все по уставу. На пост прибыли посторонние лица. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся механика. Что ты на самом деле! Ты обязан доложить.

— Ну хорошо, — кивнул часовой. — Сейчас позвоню. Только начальник караула все время по территории колесит, по постам. А территория-то вон какая!

— Может, и мне разрешишь рядом быть? — попросил Длинный Эдильбай. — В случае чего подсказать что к чему.

— Ну давай, — согласился часовой.

И они скрылись в постовом помещении. Дверь была открыта, и Едигей все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал начальника караула. А тот не обнаруживался.

— Да нет, мне начальника по караулу! — объяснял он. — Лично его... Да нет. Тут дело важное.

Едигей нервничал. Куда же запропастился этот начальник по караулу? Вот не везет так не везет!

Наконец он отыскался.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — громко заговорил часовой звонким, взволнованным голосом.

И доложил ему, что, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. Как быть? Едигей насторожился. Скажет лейтенант — пропусти, и все! Молодец Длинный Эдильбай! Все же сообразительный парень. Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь он все время отвечал на вопросы:

— Да... Сколько? Шесть человек. А с покойником семь. Старик какой-то умер. А старший у них на верблюде. Потом трактор с прицепом. А за трактором экскаватор тоже... Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть... Как? А что мне сказать? Значит, нельзя? Не разрешается? Есть, слушаюсь!

И тут раздался голос Длинного Эдильбая. Видимо, он выхватил трубку.

— Товарищ лейтенант! Войдите в наше положение. Товарищ лейтенант, мы прибыли с разезда Боранлы-Буранный. А куда же нам теперь? Войдите в наше положение. Мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и сразу вернемся... А? Что? Ну как же так! Ну приезжайте, приезжайте, сами убедитесь! У нас тут есть старик наш, фронтовиком был, воевал. Объясните ему.

Длинный Эдильбай вышел из караульного помещения расстроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины.

Буранный Едигей призадумался. Кто мог ожидать такого оборота дела? Придется ждать прибытия лейтенанта. Тем временем Едигей спешился, отвел верблюда к экскаватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул назад, к шлагбауму. Трактористы Калибек и Жумагали негромко разговаривали между собой. Курили. Сабитжан нервно

прохаживался взад и вперед в стороне от всех. А Казангапов зять, муж Айзады, все так же сидел в прицепе у тела покойного.

— Ну что, Едике, как там, пропустят нас? — спросил он у Едигея.

— Должны пропустить. Сейчас приедет сам начальник, лейтенант. Что ж нас не пускают? Что мы, шпионы какие! А ты бы слез с прицепа. Походи, промнись малость.

Было уже три часа. А они еще не добрались до Ана-Бейита, хотя и оставалось не так далеко.

Едигей вернулся к часовому.

— Сынок, долго ли ждать твоего начальника? — спросил он.

— Да нет. Сейчас примчится. Он на машине. Тут минут десять — пятнадцать ходу.

— Ну ладно, подождем. А давно эту колючую проволоку установили?

— Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже год. Выходит, полгода уже как оцепили вокруг.

— То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное — Ана-Бейит. А Казангап покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.

Солдат, видимо, проникся сочувствием к Буранному Едигею.

— Слушай, папаша, — сказал он деловито. — Вот приедет начальник караула лейтенант Тансыкбаев, вы ему скажите все как есть. Что он, не человек? Пусть доложится выше. А там вдруг и разрешат.

— Спасибо на добром слове. А иначе как же нам? Как ты сказал — Тансыкбаев? Фамилия лейтенанта Тансыкбаев?

— Да, Тансыкбаев. Он у нас тут недавно. А что? Знакомый? Из ваших он. Может, свояк какой будет?

— Да нет, что ты, — усмехнулся Едигей. — Тансыкбаевых у нас, как у вас Ивановых. Просто припомнился один человек с такой фамилией.

Тут зазвонил телефон на посту, и часовой поспешил туда. Едигей остался один. Вздыбились опять брови. И, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, Буранный Едигей покачал головой. «А вдруг это сын того, кречетоголазого? — подумал он и сам же себя обругал мысленно. — Еще что! Втемяшится же в голову! Сколько их, с такой фамилией. Не должно, не может быть. С тем Тансыкбаевым сквитались ведь потом сполна... Все-таки есть правда на земле! Есть! И как бы то ни было, всегда будет правда...»

Он отошел в сторону, достал носовой платок и протер им тщательно свои ордена, медали и ударнические значки на груди, чтобы они блестели и чтобы их сразу видно было лейтенанту Тансыкбаеву.

ХИ

А с тем кречетоголазым Тансыкбаевым дело обстояло так.

В 1956 году в конце весны был большой митинг в кумбельском депо, всех тогда созвали, со всех станций и разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии. Сколько всяких собраний промелькнуло на веку Буранного Едигея, но тот митинг не забывался никогда.

Собрались в паровозоремонтном цехе. Народу было полным-полно, иные аж наверх залезли, под самую крышу, на консолях сидели. Но самое главное — какие речи были! Про Берию выяснилось все до дна. Заклеймили проклятого палача, никаких сожалений не было! Крепко выступали, до самого вечера, деповские рабочие сами лезли на трибуну, и ни один человек не ушел, как пригвоздило всех к месту. И только рокот голосов, как лес, шумел под сводами корпуса.

Запомнилось, кто-то рядом в толпе молвил про то чисто российским говором: «Ну как есть море перед бурей». А так оно и было. Колотилось сердце в груди, на фронте перед атакой так колотилось, и очень пить хотелось. Во рту пересыхало. Но где там при таком многолюдье воды достать. Не до воды было, пришлось терпеть. В перерыве Едигей протиснулся к парторгу депо Чернову, бывшему начальнику станции. Тот в президиуме был.

— Слушай, Андрей Петрович, может, и мне выступить?

— Давай, если есть такая охота.

— Охота есть, очень даже. Только вначале посоветуемся. Помнишь, у нас на разъезде работал Куттыбаев. Абуталип Куттыбаев. Ну, еще ревизор написал на него донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Абуталип там воевал в партизанах. И всякое другое приписал еще тот ревизор. А эти бериевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что! Помнишь?

— Да, помню. Жена его приезжала за бумагой.

— Во-во! А потом семья-то уехала. А я вот сейчас слушал, думал. С Югославией у нас дружба — и никаких разногласий! А за что страдают неповинные люди? Детишки Абуталиповы подросли, им уже в школу. Так надо же все на чистую воду. А не то будет им каждый тыкать в глаза. Детишки там и так пострадали — без отца остались.

— Постой, Едигей. Так ты хочешь об этом выступить?

— Ну да.

— А как фамилия того ревизора?

— Да узнать можно. Я его, правда, больше не видел.

— У кого ты сейчас узнаешь? А потом, есть ли документальное доказательство, что именно он написал?

— А кто еще больше?

— Тут фактическое доказательство нужно, дорогой мой Буранный. А вдруг не так окажется? Дело нешуточное. Ты вот что, Едигей, послушай совета. Напиши письмо обо всем этом в Алма-Ату. Напиши все как было, всю ту историю, и пошли в ЦК партии республики. А там разберутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за это дело. Сам видишь.

Вместе со всеми на том митинге Буранный Едигей выкрикивал громогласно и решительно: «Слава партии! Линию партии одобряем!» А потом, под конец митинга, кто-то запел на задах «Интернационал». Его поддержало несколько голосов, и через минуту вся толпа как один запела под сводами депо великий гимн всех времен, гимн всех, кто был вечно угнетаем. Никогда еще не доводилось Едигею петь в таком многолюдье. Как на волнах подняло и понесло его торжественное, гордое и в то же время горькое сознание своего единства с теми, кто есть соль и пот земли. А гимн коммунистов все нарастал, возвышался, вскипая в сердце отвагой и решимостью отстоять, утвердить право многих для счастья многих. И как часто бывало с Едигеем в случаях сильного волнения, опять почудилось ему, что он на Аральском море. И там витал его дух вольной чайкой над беловерхими бурунами — алабашами.

С этим ликующим чувством он вернулся домой. За чаем рассказал Укубале подробно и живо все, что было на митинге. Рассказал и о том, как тоже хотел было выступить и что ему ответил на то теперешний парторг Чернов. Укубала слушала мужа, наливая ему из самовара чай пиалой за пиалой, а тот все пил и пил.

— Да что с тобой, ты вон опорожнил уже весь самовар! — удивилась она, посмеиваясь.

— Понимаешь, там, на митинге, еще так захотелось пить отчего-то. Заволновался очень. А где там, столько народу, не шевельнешься. А потом выскочил, хотел напиться, а тут смотрю — в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту. Свой оказался парень. Жандос с Тогрек-Тама. Ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело!

— То-то же, гляжу,— промолвила Укубала, подливая ему чаю по новой. И сказала потом: — Вот что, Едигей, хорошо, что ты подумал о них, об Абуталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься. Письмо — дело хорошее, но пока оно напишется, пока дойдет, да прочтется, да пока думать будут над ним, ты уж лучше сам поезжай в Алма-Ату. И там все расскажешь как было.

— Так ты думаешь, мне в Алма-Ату? Прямо к большому начальству?

— Ну а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров сколько уже зовет не дозвонится. Адреса оставляет каждый раз. Ну, не я, так ты съезди. Мне-то от дому куда, детей на кого? А ты не откладывай. Бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы — на сто лет. Возьми хоть разок и там, на месте, большим людям все расскажи.

Едигей подивился разумности жены.

— А что, жена, ты вроде дело говоришь. Давай подумаем.

— Не думай долго. Не тот случай. Чем раньше сделаешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет. Куда идти, к кому идти, он-то лучше знает.

— Тоже дело.

— Вот и я говорю. Не стоит откладывать. А заодно посмотришь — кое-что купишь для дома. Девчушки-то наши подросли. Сауле осенью в школу. Ты думал об этом? В интернат определять будем или как? Ты думал об этом?

— Думал, думал, а как же,— спохватился Буранный Едигей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так быстро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу пора.

— Так вот если думал,— продолжала Укубала,— поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца. А потом будет время — походи, посмотри, что для дочерей и для меня не мешало бы. Я ведь тоже уже немолода, — сказала она почему-то со сдержанным вздохом.

Едигей посмотрел на жену. Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разом. Конечно, она немолода была уже, но и до старости было далеко. И, однако, нечто такое, новое, незнакомое почувствовал в ней. И понял он — умудренность во взгляде жены обнаружил и первую ее седину заметил. Их было на виске штуки три-четыре, белеющих нитей, не больше, и все-таки они говорили о прожитом и пережитом...

Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Боранлы-Буранного, чтобы сесть на алма-атинский поезд. Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде. А это можно было сделать только на станции.

Потом прибыл поезд Москва—Алма-Ата, на нем и поехал Едигей, минуя собственный разъезд Боранлы-Буранный. Место у него было в купированном вагоне на верхней полке. Пристроив вещи, Едигей сразу вышел в коридор и стоял у окна, чтобы не пропустить, взглянуть на свой разъезд с поезда, как пассажир, а уже потом можно было залезть на полку и поспать, благо впереди двое суток пути. Так думал он, хотя уже на второй день не знал, куда себя деть от вынужденного безделья. Удивлялся, глядя на иных лежебок в поезде, которые только жрали и спали.

Однако первый день, особенно в первые часы, на душе у него было празднично и даже тревожно с непривычки покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный, подтянутый, в новой шляпе, купленной по такому случаю в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурасстегнутом, хорошо сохранившемся у Казангапа кителе военных времен. Казангап навязал ему этот китель, так, говорит, лучше будет, с орденами и медалями на груди, в галифе и хромовых

сапогах добротной офицерской кожи. Сапоги эти очень нравились Буранному Едигею, хотя редко когда приходилось их носить. Едигей считал, что для представительности у человека прежде всего должны быть хорошие сапоги и новый головной убор. И то и другое у него было.

Так он стоял у окна. Прохожие по вагону уважительно обходили его и оглядывались. Буранный Едигей выделялся своим видом, должно быть, выражением достоинства и взволнованности на лице.

А поезд шел, мчался на всех парах по раздолью весенних сарозек, как бы спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта. В мире существовали только две стихии — небо и открытая степь. Они светло соприкасались вдали, туда и рвался скорый поезд.

Но вот набегают навстречу боранлинские места. Каждая складка земли, каждый камень здесь знакомы. С приближением к Боранлы-Буранному Едигей оживленно задвигался возле окна, заулыбался из-под усов, словно бы годы прошли, как он здесь не был. А вот и разъезд. Мелькнули семафор, домики, пристройки, штабеля рельсов и шпал у склада, и все это предстало с разбегу примкнувшим к железной дороге среди огромного, пустынного пространства вокруг. Едигей успел даже разглядеть своих дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с запада на восток. Размахивая руками, прыгая, чтобы обратить на себя внимание, Сауле и Шарапат радостно улыбаются проносющимся окнам вагонов. Их косички смешно дергались при этом, а глаза сияли. Едигей инстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали его. И все-таки было отраднo, что дочки ждали его проезда. И никто из пассажиров не догадывался, что только что остались позади его дети, его дом, его разъезд! И тем более никто не мог предположить, что в гурте верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый Каранар. Едигей его сразу узнал издали, потеплел глазами.

Потом, когда удалились за несколько станций от дома, Едигей уснул. Спал долго и сладко под мёрный перестук колес, под негромкий говор соседей по вагону.

А на другой день пополудни грянули Алатауские горы — от Чимкента и по всему Семиречью. Вот это были горы, вот это загляденье! И сколько ни любовался Буранный Едигей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алма-Аты, налюбоваться не мог. Для него, для сарозекского степняка, то было чудом, созерцанием вечности. Алатауы вызывали в нем не только восхищение своей величественностью, но и потребность думать, глядя на них. Это ему нравилось — молчаливо думать, когда горы на виду. И мысленно он готовился к встрече с теми пока еще незнакомыми ему ответственными людьми, которые объявили, что ошибкам прошлого больше не быть никогда, и по этой причине он хотел поведать им горькую историю Абуталиповой семьи. Пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то дело. Самого Абуталипа не оживишь, но детей чтобы никто не смел обижать, чтобы им была во всем открыта дорога. Старшему, Даулу, в школу этой осенью, пусть пойдет, ничего не боясь и не таясь. Только где они теперь? Как-то им придираться? А как там Зарипа?

Тягостно холодило на душе, когда вспоминал он об этом. Пора было призабыться быломu, перекипеть. Ведь и ушла она для того, чтобы начисто прервать мысль о ней. Но только одному богу вестимо, что забылось, а что нет! Печалился Буранный Едигей, замирал себя, подчиняясь судьбе. А кому об этом скажешь, кто поймет? Разве что снежные горы, подпирающие небо, но ведь им на высоте такой дела нет до земных невзгод человека. На то они великие Алатауы, чтобы многие смертные приходили и уходили, а они оставались бы навечно,

чтобы многие думу думали, глядя на них, а они молчали несокрушимо...

Припомнилось Едигею, как Абуталип, уже после того как записал «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану», должно быть, много размышлял о записанном сказании, поделился однажды в разговоре мыслью о том, что такие люди, как Раймалы-ага и Бегимай, встретившись на жизненном пути, несут друг другу столько же счастья, сколько и горя, вовлекая один другого в неразрешимую трагедию — в несвободность человека от суда других. Потому и обошлись с ним так, с Раймалы-агой, его же близкие люди для его же блага, как полагали они. Для Едигея эти умные слова были тогда не более чем умными словами, пока сам не познал на себе их правоту, пока сам не настрадался. Пусть они с Зарипой были далеки от подобной истории, как звезды от земли, ничего-то между ними и не произошло, только то, что думал он о ней и очень любил, но Зарипа первой взяла на себя удар, чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости. Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы перехватила, однако не подумала о нем, не подумала, чего будет стоить ему это ее решение. Хорошо хоть жив остался. И теперь бывает, такая тоска подступится, что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз...

И еще припомнил Едигей, усмехаясь над собой, как чудно ему было тогда узнать от Абуталипа, что будто бы в Германии был очень видный человек, великий поэт Гёте. Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть, каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гёте, за семьдесят ему уже было, вроде тоже ведь полюбил юную девушку, и она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали, никто, однако, не вязал Гёте по рукам и ногам и сумасшедшим его не объявлял... А как обошлись с Раймалы-агой! Унизили, уничтожили человека, а хотели добра... Зарипа же тоже по-своему хотела ему добра и поступила так, как подсказывала ей совесть... Потому он на нее не в обиде. Да и можно ли обижаться на любимого человека? Скорей себя в чем-либо обвинишь и виноватым почтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но только не ей... И если можешь, то и тогда, когда она тебя покинула, помни и люби ее...

С тем и ехал Буранный Едигей, помня и любя ее, помня об Абуталипе и его осиротевших детях...

Уже подъезжая к Алма-Ате, Едигей вдруг подумал: а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот те на! Почему-то такое не пришло ему на ум дома. И Укубала не подумала об этом. По себе судили. Если сами живут безвылазно в сарозеках, то, думают, и все так. А ведь очень даже может быть, что Афанасия Ивановича не окажется дома. Человек работает в самой академии, повсюду его ждут, мало ли дел у такого ученого. Может уехать в командировку, и надолго уехать. «Вот незадача-то получится», — тревожился Едигей. И стал он думать о том, что придется тогда обратиться в редакцию своей казахской газеты, адрес газеты в каждом номере указывается. Там ему наверняка растолкуют, как и куда обращаться. Кому как не работникам газеты знать, куда идти с таким вопросом. Дома-то казалось все так просто — собрался и поехал. А теперь, с приближением к месту, забеспокоился Буранный — не зря сказано: плохой охотник мечтает об охоте, сидя дома. Так и он. Но, конечно, он рассчитывал на Елизарова. Елизаров свой человек, друг с давних пор, много раз бывавший у него дома на разъезде, знавший историю Абуталипа Куттыбаева. Он-то с полуслова понял бы. А как рассказать незнакомым людям, с чего начинать да как речь держать — свидетельствовать, как на суде, или докладывать, или еще как? Будут ли слушать его и что скажут в ответ? А кто, мол, ты такой и почему тебе больше всех надо обелить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь отношение? Кто ты ему — брат, сват, свояк?

А поезд тем временем шел уже краем алма-атинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки. Едигей тоже был готов. Вот и вокзал завиднелся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно — разный встречающий и уезжающий люд. Поезд постепенно останавливался. И вдруг в окне среди мелькающих лиц на перроне увидел Буранный Едигей Еливарова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повезло! Не мечтал Едигей, что Елизаров сам встретит. Не виделись они давно, с прошлой осени. Нет, не изменился Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его аргамаком — скакуном чистых кровей. То была высокая похвала — аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался — пусть будет по-твоему, Казангап! И при том добавлял — старый аргамак, но все-таки аргамак! И на том спасибо! Обычно он приезжал в сарозеки в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой, выдавшей вида кепке, а здесь был при галстуке, в хорошем темно-сером костюме. И этот костюм ему очень шел, его фигуру и, главное, цвету волос — седых уже наполовину.

И пока поезд останавливался, Афанасий Иванович шел рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые, со светлыми ресницами глаза Еливарова лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едигея, и недавние сомнения отошли разом. «Хорошее начало, — обрадовался он, — бог даст, поездка будет удачной».

— Ну наконец-то пожаловал! В кои-то веки! Здравствуй, Едигей! Здравствуй, Буранный! — встретил его Елизаров.

Они крепко обнялись. От многолюдья вокруг, от радости Едигей растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. О всех спросил, кто как поживает, — как там Казангап, Укубала, Букей, дети, кто теперь начальник разъезда, не забыл и о Каранаре.

— А как там твой Буранный Каранар? — поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. — Все такой же — лев рыкающий?

— Ходит. Что с ним станется, рычит, — отвечал Едигей. — В сарозеках ему приволье. Чего ему еще надо!

Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едигей видел впервые. То был «ЗИМ» — лучший автомобиль пятидесятых годов.

— Это мой Каранар, — пошутил Елизаров. — Садись, Едигей, — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. — Поедем.

— А кто же поведет машину? — спросил Едигей.

— Сам, — сказал Елизаров, садясь за руль. — На старости лет вознамерился, как видишь. Чем мы хуже американцев?

Елизаров уверенно завел мотор. И, прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя.

— Вот ты и прибыл, стало быть. Выкладывай сразу — надолго ли?

— Я ведь по делу, Афанасий Иванович. Как получится. А прежде посоветоваться надо с вами.

— Я так и знал, что по делу едешь, а не то вытащишь тебя из твоих сарозеков! Как же! Давай так, Едигей. Сейчас мы поедем к нам. Будешь жить у нас. И не возражай. Никаких гостиниц! Ты у меня особый гость. Как я у вас в сарозеках, так ты у меня. Сыйдын сыйы бар — так ведь по-казахски! Уважение от уважения!

— Да вроде так, — подтвердил Едигей.

— Значит, поренили. И мне веселей будет. Моя Юлия уехала в Москву к сыну, второй внук народился. Вот она и поспешила на радостях к молодым.

— Второй внук! Поздравляю! — сказал Едигей.

— Да, слушай, второй уже, — проговорил Елизаров, удивленно приподнимая плечи. — Станешь дедом, поймешь меня! Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял. А вот странно,

мы с тобой понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну так, поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон видишь горы, снег на вершинах? Туда, под горы, в Медео. Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в пригороде, почти в селе.

— Помню, Афанасий Иванович, вы говорили, дом у самой речки. Всегда слышно, как вода шумит.

— Сейчас сам убедишься. Поехали. Пока светло, посмотри на город. Красота у нас сейчас. Весна. Все в цвету.

От вокзала улица шла прямо и, казалось, бесконечно через весь город, постепенно среди тополей и парков поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша. Рассказывал по пути, где что располагалось — то были все больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В самом центре города на большой и открытой со всех сторон площади стояло здание, которое Едигей сразу узнал по изображению, — то был Дом правительства.

— Здесь ЦК, — кивнул Елизаров.

И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание узнал Буранный Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево, — то был Казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор по дороге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади. Ехали долгой улицей среди особняков, палисадников, мимо журчащих от половодья арычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом.

— Красиво! — промолвил Едигей.

— А я рад, что ты попал как раз в эту пору, — ответил Елизаров. — Лучшей Алма-Аты быть не может. Зимой тоже красиво. Но сейчас душа поет!

— Значит, настроение хорошее, — порадовался Едигей за Елизарова.

Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнел, хмурясь, и снова разбежались в улыбке морщины от глаз.

— Эта весна особая, Едигей. Перемены есть. Потому и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, огляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?

— Что-то не помню, — со всей непосредственностью ответил Едигей. — Разве что после контузии...

— Да ты здоров, как бык! — рассмеялся Елизаров. — Я вообще-то и не об этом. Просто к слову... Так вот. Партия сама сказала первое слово. Очень я этим доволен, хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно на душе и надежды питаю, как в молодости. Или это оттого, что на самом деле старею? А?

— А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому делу прибыл.

— То есть как? — не понял Елизаров.

— Может быть, помните? Я вам рассказывал об Абуталипе Куттыбаеве.

— А, ну как же, как же! Прекрасно помню. Вон оно что. А ты в корень глядишь. Молодец. И не откладывая сразу прибыл.

— Да это не я молодец. Укубала надоумила. Только вот с чего начинать? Куда идти?

— С чего начинать? Это мы должны с тобой обсудить. Дома, за чаем, не торопясь обсудим что к чему. — И, помолчав, Елизаров сказал многозначительно: — Времена-то как меняются, Едигей, — года три назад и в мыслях не шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь — никаких онасений. Так и должно быть в принципе. Надо, чтобы все мы, все до единого держались этой справедливости. И никому никаких исключительных прав. Я так понимаю.

— Вам-то здесь виднее, к тому же вы ученый человек, — высказал свое Едигей, — у нас на митинге в депо тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталипе, давно эта боль сидит во мне.

Хотел даже выступить на митинге. Речь не просто о справедливости. У Абуталипа дети ведь остались, подрастают, старшему в школу этой осенью...

— А где они сейчас, семья-то?

— Не знаю, Афанасий Иванович, как уехали тогда, скоро уже три года, так и не знаем.

— Ну, это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас главное, говоря юридически, возбудить вопрос о деле Абуталипа.

— Вот-вот. Вы сразу нашли нужное слово. Потому и приехал я к вам.

— Думаю, что не напрасно приехал.

Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через три недели по возвращении Едигея, прибыла бумага из Алма-Аты, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Боранлы-Буранный Абуталип Куттыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано! Бумага предназначалась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший.

Почти одновременно с этим документом пришло письмо от Афанасия Ивановича Елизарова. То было знаменательное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо среди самых важных документов семьи — свидетельств о рождении детей, боевых наградах, бумаг о фронтовых ранениях и трудовых характеристиках...

В том большом письме Афанасий Иванович сообщал, что премного доволен скорым рассмотрением дела Абуталипа и рад его реабилитации. Что сам факт этот — доброе знамение времени. И, как он выразился, это наша победа над самими собой.

Писал он далее, что, после того как Едигей уехал, он еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посетили с Едигеем, и узнал важные новости. Во-первых, следователь Тансыкбаев снят с работы, разжалован, лишен полученной награды и привлекается к ответственности. Во-вторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа Куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. (Вон в какую даль занесло!) Зарипа работает учительницей в школе. Семейное положение в настоящее время — замужняя. Вот такие официальные сведения поступили с ее местожительства. И еще, писал он, твои подозрения, Едигей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра дела — оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталипа Куттыбаева. «Почему он это сделал, что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Едигей. Представив себе все это, я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему для него человеку — Абуталипу Куттыбаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке — зависть, исподволь опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа? Для меня это остается загадкой. А что касается способа расправы, то он стар, как мир. В свое время стоило лишь донести на кого-то, что он еретик, и такого на базарах Бухары забивали камнями, а в Европе сжигали на костре. Об этом мы с тобой много говорили, Едигей, в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру Абуталипова дела лишний раз убеждаюсь: долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок — ненависть к личности в человеке. Как долго — даже трудно предугадать. Вопреки всему этому славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествова-

ла! И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился ты справедливости бескорыстно...»

Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма. И удивлялся Едигей себе — тому, как изменился он сам, нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и подумал впервые, что, должно быть, пришла пора готовиться к грядущей не за горами старости...

Елизаровское письмо явилось для него неким рубежом — жизнь до письма и после. Все, что было до письма, — отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как берег с моря, все, что после, — спокойно протекало изо дня в день, напоминая, что оно будет длиться долго, но не бесконечно. Но главное — из письма он узнал о том, что Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заставило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя тем, что знал, каким-то образом предчувствовал, что она вышла замуж, хотя и не знал, где она, что с детьми и как живет ей среди других людей. Особенно остро и неотступно почувствовал он это по пути, когда возвращался поездом домой. Трудно сказать, отчего такое пришло в голову. Но все не потому, что на душе было плохо. Наоборот, из Алма-Аты Едигей уезжал в приподнятом, хорошем настроении. Везде, где они побывали с Елизаровым, их принимали с пониманием и доброжелательностью. И это уже само по себе вселяло уверенность в правоте помыслов и надежду на добрый исход дела. Так оно потом и оказалось. А в тот день, когда Едигей уезжал из Алма-Аты, Елизаров повел его обедать в привокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было предостаточно, и они славно посидели, и выпили, и потолковали по душам на прощание. В том разговоре, как понял Едигей, Афанасий Иванович высказал свою сокровенную думу. Он, бывший московский комсомолец, очутившийся еще в двадцатые годы в Туркестанском крае, боровшийся с басмачами, да так и осевший здесь на всю жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы тяжело ни приходилось раслачиваться за ошибки и промахи, но продвижение на неизведанном пути не остановилось — в этом суть истории. И еще он сказал, что теперь движение пойдет с новой силой. Поручкой тому — самоисправление, самоочищение общества. «Раз мы можем сказать себе в лицо об этом, значит, есть в нас силы для будущего», — утверждал Елизаров. Да, хорошо потолковали они тогда за обедом.

С тем настроением и возвращался Буранный Едигей к себе в сарае.

И опять двинулись перед взором сине-снежные Алатауы, пролегая на отдалении кряжистым сопутствующим хребтом, протянувшимся через все Семиречье. И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, понял он, внутренний голос подсказал ему, что, должно быть, Зарипа уже замужем.

Глядя на горы, глядя на весенние дали, думалось Едигею о том, что есть на свете верные люди — и слову и делу, такие, как Елизаров, и что без таких, как он, человеку на земле было бы гораздо труднее. И еще уже по завершении всех хождений по делу Абуталипа думалось ему о превратностях быстротекущего, переменчивого времени — остался бы жив Абуталип, сейчас бы сняли с него возведенные облыжно обвинения и, быть может, заново обрел бы он счастье и покой со своими детьми. Был бы жив! Этим все сказано. Был бы он жив, конечно же, Зарипа ждала бы его до последнего дня. Уж это точно! Такая женщина дождалась бы мужа, чего бы то ей ни стоило. А коли некогда ждать, то и нечего ждать, нечего жить молодой женщине в одиночестве. А раз такое дело, если встретит подходящего человека, то выйдет замуж, а почему и нет? Едигей расстроился от этих мыслей. Пытался переключить внимание на что-то

другое, пытался не думать, не давать воли воображению. Но ничего не получалось. Тогда он пошел в вагон-ресторан.

Здесь было малоллюдно и еще чисто и свежо по началу пути. Сидел Едигей в одиночестве у самого окна. Вначале взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то. Широкий обзор вагона-ресторана позволял созерцать одновременно и горы, и степь, и небо над ними. Этот зеленый простор в мимолетном маковом цветку с одной стороны и торжественность заснеженных горных хребтов с другой стороны возвышали, возносили душу к несбыточным желаниям и приводили к горьким сокрушениям. От горечи ему захотелось горького. И он заказал водки. Выпив несколько рюмок, он, однако, не почувствовал выпитого. Тогда он заказал пиво и сидел, весь отдавшись своим размышлениям. День клонился к концу. В прозрачности весеннего вечера разбегалась земля по сторонам от железной дороги. Пронеслись, мелькая, поселки, сады, дороги, мосты, люди и стада, но все это мало трогало Едигея, ибо тяжкая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрачала и угнетала его душу смутным предчувствием некой законченности былого.

Так просидел он до темноты, пока не набилось в вагон-ресторан много люду и стало трудно дышать от табачного дыма. Не понимал Едигей — и чего эти люди так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за столом и почему они находят удовольствие в водке и табаке? Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех. Он встал, пошатываясь, нашел официантку, запыхавшуюся с подносом между гадящими столами путевого ресторана, и, расплатившись, пошел к себе в вагон. Предстояло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь вместе с поездом, ему становилось все тягостней и сиротливей от ощущения своего полного одиночества и отчужденности.

Зачем было жить, зачем куда-то ехать...

И теперь ему было безразлично, откуда, куда и зачем он едет, куда спешит сквозь ночь скорый поезд. В каком-то тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к прохладным застекленным дверям и стоял здесь не оглядываясь, не обращая внимания на пассажиров, снующих мимо него.

А поезд шел, раскачиваясь. И можно было открыть дверь, поскольку у Едигея, как у железнодорожников, был свой ключ, открыть и переступить черту... В какой-то пустынной местности во тьме Едигей различил два далеких манящих огонька. Они долго не исчезали из виду. То ли то окна одинокого жилья светились, то ли то были костры небольшие. Какие-то люди, должно быть, находились возле тех огней. Кто они? И почему они там? Эх, была бы там Зарипа с детшками! Спрыгнул бы сейчас с поезда и побежал к ней, а добежав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы не стыдясь, чтобы выплакать всю накопившуюся боль и тоску...

Буранный Едигей сдавленно застонал, глядя на те огоньки в степи, уже исчезающие в стороне. И стоял так у дверей тамбура, всхлипывая неслышно и не оборачиваясь, не обращая внимания на шумные хождения пассажиров по поезду. Лицо его было мокрым от слез... и была возможность открыть дверь и переступить черту...

А поезд шел, раскачиваясь.

...Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана.

А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...

Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакумдычак. большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местности. Он облетал свои угедья дважды — до полудня и пополудни.

Внимательно просматривая поверхность степи, примечая все, что шевелилось внизу, вплоть до ползущих жуков и юрких ящериц, коршун молча летел над сарозеками, степенно намахивая крыльями, постепенно набирая высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и одновременно приближаясь, перемещаясь плавными витками, к своему излюбленному месту охоты — к территории закрытой зоны. С тех пор как этот обширный район был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живности и разного рода пернатых, потому что лисы и другое рыскающее зверье уже не смели проникать сюда беспрепятственно. Зато коршуну изгородь была ничем. Тем он и пользовался. Она обернулась ему на благо. Хотя как сказать. Третьего дня засек он сверху маленького зайчонка и когда кинулся на него камнем, зайчишка успел заскочить под проволоку, а коршун чуть не напоролся с размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало шипов. Несколько пушинок с груди потом отделились в воздухе, полетели сами по себе. С тех пор коршун старался подальше держаться от этой опасной изгороди.

Так летел он в тот час, как подобает владыке, с достоинством, не суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот день с утра — в первый и теперь, во второй, залет — он заметил большое оживление людей и машин на обширных бетонированных полях космодрома. Машины катили взад-вперед и особенно часто кружили возле конструкций с ракетами. Эти ракеты, нацеленные в небо, давно уже стояли особняком на своих площадках, коршун давно уже привык к ним, но сегодня что-то происходило вокруг. Слишком много машин, слишком много людей, слишком много движения...

Не осталось не замеченным коршуном и то, что преследовавшие давеча по степи человек на верблюде, два тарактящих трактора и рыжая лохматая собака стояли теперь у колючей проволоки снаружи, точно бы не могли ее преодолеть... Рыжая собака раздражала коршуна своим праздным видом и особенно тем, что околачивалась возле людей, но он ничем не выказал своего отношения к рыжей собаке, не опустится же он до такой степени. Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая, что будет дальше, что собирается делать эта рыжая собака, виляющая хвостом возле людей...

Едигей поднял бородатое лицо и увидел в небе парящего коршуна. «Белохвост, крупный, — подумал он. — Эх, был бы коршуном, кто бы мог меня остановить. Полетел бы и сел бы на кумбезах²⁴ Ана-Бейита!..»

В это время впереди по дороге послышалась приближающаяся машина. «Едет! — обрадовался Буранный Едигей. — Ну, дай бог все уладится!» «Газик» быстро примчался к шлагбауму и резко остановился сбоку от дверей пестового помещения. Часовой ждал приближения машины. Он сразу вытянулся, отдал честь начальнику по караулу лейтенанту Тансыкбаеву, когда тот вышел из «газика», и начал докладывать:

— Товарищ лейтенант, докладываю вам...

Но начальник караула приостановил его жестом и, когда часовой на полуслове убрал руку от козырька, обернулся к стоящим по ту сторону шлагбаума.

— Кто тут посторонние? Кто ждет? Это вы? — спросил он, обращаясь к Буранному Едигею.

²⁴ Кумбез — гробница.

— Биз, бизгой, карагым. Ана-Бейитке жетпей турып калдык. Калай да болса, жардамдеш, карагым²⁵,— сказал Едигей, стараясь, чтобы награды на груди попали на глаза молодому офицеру.

На лейтенанта Тансыкбаева это не произвело никакого впечатления, он лишь сухо кашлянул, и когда старик Едигей намерился было снова заговорить, холодно упредил его:

— Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей,— пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми глазами.

Буранный Едигей засмутился сильно:

— Э-э, извини, извини. Если не так, то извини.— И растерянно умолк, потеряв дар речи и ту мысль, которую собирался высказать.

— Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу просьбу,— выручая старика, обратился Длинный Эдильбай.

— Изложите, только покороче,— предупредил начальник по караулу.

— Одну минутку. Пусть присутствует при этом сын покойного.— Длинный Эдильбай обернулся в сторону Сабитжана.— Сабитжан, эй, Сабитжан, подойди сюда!

Но тот, прохаживаясь в стороне, лишь отмахнулся неприязненно: — Договаривайтесь сами.

Длинному Эдильбаю пришлось покраснеть.

— Извините, товарищ лейтенант, он в обиде, что так получается. Это сын умершего, нашего старика Казангапа. И тут еще зять его, вон он, в прицепе.

Зять подумал, кажется, что его требуют, и стал слезать с прицепа.

— Эти детали меня не интересуют. Излагайте суть дела,— предложил начальник по караулу.

— Хорошо.

— Коротко и по порядку.

— Хорошо. Коротко и по порядку.

Длинный Эдильбай принялся докладывать все как есть — кто они, откуда, с какой целью и почему появились здесь. И пока он говорил, Едигей следил за лицом лейтенанта Тансыкбаева и понял, что ничего хорошего ждать им не следует. Тот стоял по ту сторону шлагбаума лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу посторонних лиц. Едигей это понял и померк в душе. И все, что было связано со смертью Казангапа, все его приготовления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить молодых согласиться хоронить покойника на Ана-Бейите, все его думы, все то, в чем он видел связующую нить свою с историей сарозеков,— все это вмиг превратилось в ничто, все это оказалось бесполезным, ничтожным перед лицом Тансыкбаева. Едигей стоял оскорбленный в лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез за трусливого Сабитжана, который вчера еще только, запивая водку шубатом, разглагольствовал о богах, о радиоуправляемых людях, стараясь поразить боранлинцев своими познаниями, а теперь не желал и рта раскрыть! Смешно и обидно было ему за нелепо обряженного в козловую попону с кистями Буранного Каранара — зачем и кому это надо теперь! Этот лейтенант Тансыкбаев, не пожелавший или побоявшийся говорить на родном языке,— разве он мог оценить убранство Каранара? Смешно и обидно было Едигею за несчастного Казангапова зятя-алкоголика, который, ни капли не употребив спиртного, ехал в трясучем прицепе, чтобы быть рядом с телом покойного, а теперь подошел и встал рядом, судя по всему, еще надеясь, что их пропустят на кладбище. Даже за собаку свою, за рыжего пса Жолбарса, смешно и обидно было Буранному Едигею — зачем увязался он по своей доброй воле и зачем терпеливо выжидает, когда они двинутся дальше? Зачем все это

²⁵ Мы, это мы, сынок. Не пропускают нас на кладбище. Сделай что-нибудь, помоги нам, сынок.

ему-то, псине? А быть может, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет хозяину, потому и примкнула, чтобы быть в такой час рядом. В кабинах сидели молодые парни трактористы Калибек и Жумагали — что им сказать теперь и что они должны думать после всего этого?

Униженный и расстроенный Едигей, однако, явственно ощущал, как поднималась в нем волна негодования, как горячо и яростно исторгалась кровь из сердца, и, зная себя, зная, как опасно ему поддаться зову гнева, старался заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он права не совладать с собой, покуда покойник лежал еще непогребенный в прицепе. Не к лицу старому человеку возмущаться и повышать голос. Так думал он, стискивая зубы и напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни жестом того, что происходило в нем в тот час.

Как и ожидал Едигей, разговор Длинного Эдильбая с начальником по караулу сразу же обернулся в безнадежную сторону.

— Ничем не могу помочь. Въезд на территорию зоны посторонним лицам категорически воспрещен, — сказал лейтенант, выслушав Длинного Эдильбая.

— Мы не знали об этом, товарищ лейтенант. А иначе мы не приехали бы сюда. Зачем, спрашивается? А теперь, раз уж мы оказались здесь, попросите вышестоящее начальство, чтобы нам разрешили похоронить человека. Не везти же нам его обратно.

— Я уже докладывал по службе. И получил указание не допускать никого ни под каким предлогом.

— Какой же это предлог, товарищ лейтенант? — изумился Длинный Эдильбай. — Стали бы мы искать предлог. Зачем? Чего мы не видели там, в вашей зоне? Если бы не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать?

— Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний, сюда доступа нет никому.

— Что значит посторонний! — вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. — Кто посторонний? Мы посторонний? — сказал он, багровея дряблым, испитым лицом, а губы у него стали сизые.

— Вот именно: с каких это пор? — поддержал его Длинный Эдильбай.

Стараясь не преступить некую дозволенную границу, зять-алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, понимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и выправляя слова:

— Это наш, наше сарозекский кладбище. И мы, мы, сарозекский народ, имеет право хоронить здесь своя людей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-Ана, никто не знал, что будет такой закрытый зон.

— Я не намерен вступать с вами в спор, — заявил на то лейтенант Тансыкбаев. — Как начальник караульной службы на данное время, я еще раз заявляю — на территорию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким причинам нет и не будет.

Наступило молчание. «Только бы выдержать, только бы не обругать его!» Заклиная себя, Буранный Едигей глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна, плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он этой спокойной и сильной птице. И решил, что дальше нечего испытывать судьбу, придется убираться, не лезть же силой. И, глянув еще раз на коршуна, Едигей сказал:

— Товарищ лейтенант, мы уйдем. Но передай, кто там у вас, генерал или еще больше, — так нельзя! Я, как старый солдат, говорю — это неправильно.

— Что правильно, что нет — обсуждать приказ свыше я не имею права. И чтобы в дальнейшем вы знали, мне велено передать: это кладбище подлежит ликвидации.

— Ана-Бейит? — поразился Длинный Эдильбай.

— Да. Если оно так называется.

— А почему? Кому мешает это кладбище? — возмутился Длинный Эдильбай.

— Там будет новый микрорайон.

— Чудеса! — развел руками Длинный Эдильбай. — Вам больше негде, места не хватает?

— Так предусмотрено по плану.

— Слушай, а кто твой отец? — спросил в упор Буранный Едигей лейтенанта Тансыкбаева.

Тот очень удивился:

— Это еще зачем? Какое ваше дело?

— А такое, что не должен ты говорить нам о том, о чем должен был сказать там, где задумали уничтожить наше кладбище. Или твои отцы не умирали, или ты сам никогда не умрешь?

— Это не имеет никакого отношения к делу.

— Хорошо, давай по делу. Тогда давай, товарищ лейтенант, кто у вас самый главный, пусть меня выслушает, я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому главному вашему начальнику. Скажи, что старый фронтовик, сарозекский житель Едигей Жангельдин хочет сказать ему пару слов!

— Этого я сделать не могу. Мне указано, как положено действовать.

— А что ты можешь? — опять вмешался зять-алкоголик. — И сказал с отчаяния: — Милица на базаре и то лучше!

— Прекратите безобразие! — выпрямился, бледнея, начальник по караулу. — Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!

Едигей и Длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге, а он продолжал кричать, оглядываясь:

— Саган жол да жетпейди, саган жер да жетпейди! Урдым сейдейдин аузын!²⁶

Сабитжан, который все это время отмалчивался, мрачно прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, выступив навстречу:

— Ну что? От ворот поворот! Так оно и должно было быть! Разбежались! Ана-Бейит! И только! А теперь вот как побитые собаки!

— Это кто побитая собака? — кинулся к нему разошедшийся не на шутку зять-алкоголик. — Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь! Какая разница — тот, что стоит там, или ты? А еще бахвалишься — я государственный человек! Да ты никакой не человек!

— А ты, пьянчуга, язык-то придержи! — крикливо пригрозил Сабитжан, чтобы слышно было и на посту. — Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтоб духу твоего близко не было! Какая польза обществу, уничтожать надо таких, как ты!

С этими словами Сабитжан повернулся спиной, плевать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой, и, проявляя вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно стал распоряжаться, приказывая трактористам:

— А вы что разинули рты? А ну давай заводите трактора! Как приехали, так и уедем! К чертовой матери! Давай поворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался других.

Калибек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд, тем временем зять-алкоголик вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойника. А Жумагали ждал, пока Буранный Едигей отвяжет своего Каранара от ковша экскаватора. Видя это, Сабитжан, однако, не воздержался, а, наоборот, заторопил:

²⁶ Тебе и дороги не хватает, тебе и земли не хватает! Плевал я на тебя!

— А ты чего не заводишь? Давай заводи! Нечего! Крути назад! Похоронил, называется! Я ведь сразу был против! А теперь хватит! Крути домой!

Пока Буранный Едигей садился на верблюда — надо было вначале заставить его прилечь, потом взгромоздиться в седло и поднять его на ноги, — трактора пошли вперед, в обратный путь. Покатали по своим же следам. И даже ждать не стали. Это Сабитжан, сидя в первом тракторе, торопил...

А в небе кружил все тот же коршун. Наблюдая свысока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его своим бесцельным поведением, коршун следил за ней. Непонятно было, почему собака не побежала, когда двинулись трактора, вперед, а осталась возле человека с верблюдом, ждала, пока он сядет верхом, и потом потрусил за ним.

Люди на тракторах, следом верховой на верблуде, а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по сарозекам в направлении обрыва Малакумдычап, где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убистряя полет, позвал бы свою подругу, что охотилась по соседству на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо, но на этот раз коршун-белохвост несколько не беспокоился — птенцы давно уже оперились и покинули гнездо. С каждым днем укрепляя крылья, янтарноглазые, горбатоклювые коршунята уже вели самостоятельную жизнь, имели свои владения в сарозекской округе и теперь не очень-то дружелюбно встречали старого коршуна, когда он заглядывал мимоходом в их края...

Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах его угодий. И особенно вызывала любопытство рыжая лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях. Что связывало ее с ними, почему она не охотилась сама по себе, а бегала, виляя хвостом, за теми, кто занят был своими делами? Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали внимание коршуна какие-то блестящие предметы на груди человека, едущего на верблуде. Именно поэтому коршун сразу заметил, как человек на верблуде, следовавший за тракторами, вдруг резко свернул в сторону и пошел суходолом наискось, обгоняя трактора наперерез, пока они огибали суходол. Он погонял верблуду все быстрее и быстрее, размахивая плетью, блестящие предметы на груди его подпрыгивали и позвякивали, верблуд резво бежал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака припустила галопом...

Так продолжалось некоторое время, пока человек на верблуде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Малакумдычапа. И трактора затормозили перед ним:

— Что? Что случилось еще? — выглянул из кабины Сабитжан.

— Ничего. Глуши моторы, — велел Буранный Едигей. — Разговор есть.

— Какой еще разговор? Не задерживай, накатались досыта!

— Сейчас ты задерживаешь. Потому что хоронить будем здесь.

— Хватит издеваться! — вспыхнул Сабитжан, еще больше раздвигая на шее галстук, свалившийся в тряпку. — Я сам буду хоронить на разъезде, и никаких разговоров! Хватит!

— Слушай, Сабитжан! Отец твой, никто не спорит. Но ведь в мире не ты один. Ты послушай все-таки. Что случилось там, на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Такого не бывало. Это позор на наши головы. Во веки такого не бывало.

— А мне плевать на все, — возразил Сабитжан.

— Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь. А завтра будет стыдно. Подумай. Позора ничем не смоешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад.

Тем временем из кабины экскаватора вылез Длинный Эдильбай, с тележки спустился зять-алкоголик, экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Едигей верхом на Каранаре преграждал им дорогу.

— Слушайте, джигиты,— говорил он.— Не идите против человеческого обычая, не идите против природы! Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв Малакумдычап. Это тоже наша земля сарозекская! Здесь, на Малакумдычапе, Найман-Ана великий плач имела. Послушайте меня, старика Едигея. Пусть будет здесь могила Казангапа. И моя могила тоже пусть будет здесь. Бог даст, сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно, еще есть время — вон там, на самом обрыве, предадим покойника земле!

Длинный Эдильбай глянул на указанное Едигеем место.

— Как, Жумагали, проедет твой экскаватор? — спросил он у того.

— Да проедет, почему же нет. Вон тем краем...

— Ты постой, тем краем! Ты вперед у меня спроси! — вмешался Сабитжан.

— А вот мы и спрашиваем,— ответил Жумагали.— Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?

— А я говорю, хватит издеваться! Это надругательство! Поехали на разъезд!

— Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство как раз и будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь! — сказал ему Жумагали.— Так что ты крепко подумай.

Все примолкли.

— Вот что, вы как хотите,— бросил Жумагали,— а я поеду могилу рыть. Мой долг вырыть яму, да поглубже. Пока еще время терпит. В темноте никто этим заниматься не будет. А вы тут как хотите.

И Жумагали направился к своему экскаватору «Беларусь». Не мешкая завел его, вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него на верх обрыва Малакумдычап. За ним зашагал Длинный Эдильбай, за ним тронул своего Каранара Буранный Едигей.

Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку:

— Если не поедешь туда,— указал он на обрыв,— то я лягу под трактор. Мне это ничего не стоит.— С этими словами он встал перед трактористом.

— Ну чего, куда ехать? — спросил Калибек у Сабитжана.

— Кругом сволочи, кругом собаки! — выругался вслух Сабитжан.— Ну чего сидишь, заводи давай, трогай за ними!

Коршун в небе теперь следил за тем, как люди завозились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дергаться, выгребая землю и откладывая ее в кучу возле себя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подползал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одинокий человек перед странным неподвижным предметом, завернутым в белое и положенным посередине тележки. Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но больше держалась верблюда, лежала у его ног.

Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле. Он плавно отвалил в сторону и, наматывая широкие круги над степью, полетел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по пути и глянуть заодно, что происходило там, на космодроме.

Вот уже вторые сутки на площадках космодрома царило напряжение, работа шла непрерывно днем и ночью. Весь космодром со всеми

прилегающими спецслужбами и зонами ночью был ярко освещен сотнями мощных прожекторов. На земле было светлее, чем днем. Десятки тяжелых, легких и специальных машин, много ученых и инженеров были заняты подготовкой к осуществлению операции «Обруч».

Антиспутники, изготовленные для уничтожения летательных аппаратов в космосе, давно уже стояли, нацеленные к подъему, на особой площадке космодрома. Но по соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использовании до особой договоренности, так же как подобные средства американской стороны. Теперь они находили свое новое применение в связи с экстренной программой по осуществлению транскосмической операции «Обруч». Такие же ракеты-роботы готовились к синхронному запуску по операции «Обруч» и на американском космодроме Невада.

Время старта в сарозекских широтах приходилось на восемь часов вечера. Ровно в восемь ноль-ноль ракеты должны были стартовать. Последовательно с интервалом полторы минуты в дальний космос должны были уйти девять сарозекских антиспутниковых ракет, предназначенных образовать в плоскости Запад — Восток постоянно действующий обруч вокруг земного шара против проникновения инопланетных летательных аппаратов. Невадским ракетам-роботам предстояло установить обруч Север — Юг.

Ровно в три часа пополудни на космодроме Сары-Озек-1 включилась контрольно-предупредительная система «Пятиминутка». Через каждые пять минут на всех экранах и табло по всем службам и каналам вспыхивали напоминания, сопровождаемые звуковым дубляжем: «До старта четыре часа пятьдесят пять минут! До старта четыре часа пятьдесят минут...» За три часа до старта должна была включиться система «Минутка».

К тому времени орбитальная станция «Паритет» успела изменить параметры своего местонахождения в космосе и одновременно были перекодированы каналы радиосвязи бортовых систем станции, чтобы исключить всякую возможность контактов с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1.

А между тем совершенно напрасно, поистине как глас вопиющего в пустыне, из Вселенной шли непрерывные радиосигналы паритет-космонавтов 1-2 и 2-1! Они отчаянно просили не прерывать с ними связи. Они не оспаривали решение Общепупра, предлагая еще и еще раз изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией, исходя, разумеется, прежде всего из интересов землян, они не настаивали на немедленной реабилитации своей, соглашаясь ждать и делать все, чтобы их нахождение на планете Лесная Грудь служило обоюдной пользе межгалактических отношений, но они возражали против предпринимаемой сторонами операции «Обруч» — против той глобальной самоизоляции, ведущей, как они считали, к неизбежной исторической и технологической рутине человеческого общества, на преодоление которой потребуются тысячелетия... Но было уже поздно... Никто на свете не мог их слушать, никто не предполагал, что в мировом пространстве безмолвно взывают их голоса...

Тем временем на космодроме Сары-Озек-1 уже включилась система «Минутка», необратимо отсчитывающая приближение старта по операции «Обруч»...

А коршун, совершив очередной облет, снова появился над обрывом Малакумдычач. Люди там были заняты своим делом — они работали лопатами. Экскаватор уже нарыл большую кучу земли. Теперь он запускал ковш глубоко в яму, выскребая последние порции грунта. Вскоре он перестал дергаться и отошел в сторону, а люди принялись что-то докапывать на дне ямы. Верблюд был на месте, однако рыжей собаки не было видно. Куда она могла деться? Коршун подлетел поближе и, описывая плавный круг над обрывом, поворачивая голову то

направо, то налево, увидел наконец, что рыжая собака лежала под прицепом, растянувшись у самых колес. Собака валялась себе, отдыхая, а может быть, дремала, и дела ей не было до коршуна. Сколько летал он сегодня над ней, а она даже ни разу не взглянула в небо. Сулик и тот, привстав столбиком, вначале оглядится вокруг и посмотрит вверх, нет ли опасности какой. А собака приспособилась к житью возле людей и ничего не боится, и никаких тебе забот. Вон как разлеглась! Коршун завис на мгновение, напрягся и выпустил из-под хвоста резкую, как выстрел, зеленовато-белую струю в сторону собаки. Вот, мол, на тебе!

Что-то шмякнулось сверху на рукав Буранного Едигея. То был птичий помет. Откуда бы? Едигей стряхнул помет с рукава, поднял голову. «Опять белохвост, все тот же. Уже в который раз над головой. К чему бы это? Ишь как хорошо ему. Плывет, качается по воздуху». Мысль его прервал голос Длинного Эдильбая со дна ямы:

— Ну что, Едике, ты посмотри! Хватит или еще копать?

Едигей хмуро склонился над краем могилы.

— Отойди в тот угол, — попросил он Длинного Эдильбая, — а ты, Калибек, вылезай пока. Спасибо тебе. Ну что ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки, Эдильбай, еще чуток расширить надо казанак, пусть будет просторней.

Отдав эти распоряжения, Буранный Едигей взял малую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил омовение, как и полагалось, перед молитвой. И тогда душа его более или менее водворилась на место — пусть не удалось похоронить Казангапа на Ана-Бейите, но как бы то ни было — избежали большого позора: не приволокли покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчивости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то уложиться во времени, чтобы до наступления темноты успеть вернуться на Боранлы-Буранный. Дома, конечно, ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали ведь вернуться не позднее шести, к тому времени готовились поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли захоронение и дорога по сарозекам. Даже при быстрой езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно вечером. Ничего не поделаешь...

После омовения Едигей почувствовал себя облеченным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку канистры, он появился из-за экскаватора со значительным выражением лица, важно разглаживая бороду и усы.

— Сын усопшего раба божьего Казангапа Сабитжан, встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите тело на край могилы, положите покойника головой к закату, — произнес он несколько торжественным голосом. И когда все было сделано, сказал: — А теперь обратимся все в сторону священной Каабы. Раскройте ладони перед собой, думайте о боге, чтобы слова и помыслы наши были услышаны им в такой час.

Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен, а ведь могли же сказать: брось, старик, голову морочить, какой ты, к шутам, мулла, давай лучше прикопая мертвеца побыстрее да вернемся домой. Мало того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребении стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в арабских странах, откуда пришла религия, молятся на кладбищах, стоя во весь рост. Так это или не так, но хотелось Едигею быть поближе головой к небесам.

Но, прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении к нему правой и левой сторонам света и таким же наклоном головы земле и небу и тем самым кланяясь творцу за незыблемое устройство мира, в котором человек возникает случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня и ночи, опять же увидел Буранный Едигей коршуна-бело-

хвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть пошевеливая крыльями, размеренно описывая высоко в небе круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от внутреннего настроя, а, наоборот, помогал сосредоточиться в кругу высоких дум.

Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках завернутый в белую кошму усопший Казангап. Произнося вполголоса погребальные слова, заблаговременно предназначенные всем и каждому, всем и на все времена впредь до скончания света, слова, в которых были изначально сказаны предопределения, неизбежные и равнозначные для всех, для любого человека, кем бы он ни был и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбежно и для тех, кому еще суждено будет народиться, произнося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем пытался дополнить их собственными мыслями, исходящими из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил человек на свете.

«Если ты и вправду слышишь, о боже, мою молитву, которую я повторяю вслед за праотцами из заученных книг, то услышь и меня. Я думаю, одно другому не будет мешать.

Вот мы стоим здесь, на обрыве Малакумдычап, у развернутой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте, потому что не удалось похоронить нам его на завещанном кладбище. А коршун в небе смотрит на нас, как стоим мы с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казангапом. Ты, великий, если ты есть, прости нас и прими захоронение раба твоего Казангапа с милостью и, если он того заслуживает, определи его душу на вечный покой. Все, что от нас зависело, мы постарались сделать. Остальное за тобой!

А теперь, раз я к тебе обращаюсь в такой час, выслушай меня, пока я еще жив и могу мыслить. Ясное дело, люди только и знают что просят тебя — пожалей, помоги, огради! Сlishком многого ждут от тебя по всякому случаю — правому и неправому. Убийца и тот хочет в душе, чтобы ты был на его стороне. А ты все молчишь. Что и говорить, на то мы люди, кажется нам, особенно когда туго приходится, что только для того ты и существуешь в небесах. Тяжко тебе, понимаю, мольбам нашим нет конца. А ты один. Я же ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается.

Сокрушаюсь я крепко оттого, что заветное кладбище наше, где покоится Найман-Ана, отныне нам недоступно. А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в этом месте, на Малакумдычапе, где ступала нога ее. Да будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы предадим земле. И если правда, что душа после смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем, хотелось бы мне превратиться в коршуна-белохвоста. Чтобы летать мне, вон как тот, над сарозеками и глядеть не наглядеться с высоты на землю свою. Вот и все.

А насчет завещания своего я накажу молодым, что прибыли сюда вместе со мной. Скажу я им, что наказ свой возлагаю на них — похоронить меня здесь. Вот только не вижу, кто совершит молитву надо мной. В бога они не верят и молитв никаких не знают. Ведь никто не знает и никогда не узнает, есть ли бог на свете. Одни говорят — есть, другие говорят — нет. Я хочу верить, что ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе, и дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, создатель. В этом ведь все дело! А они, молодые, об этом не думают и молитвы презирают. Но что они смогут сказать себе и другим в великий час смерти? Жалко мне их, как постигнут они сокровенность свою человеческую, если нет у них пути возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы богом? Прости мне это кощунство. Никто из них богом не станет, но иначе и ты перестанешь существовать. Если человек не сможет возомнить себя втайне богом, ратующим за всех, как должен был бы ра-

товать ты о людях, то и тебя, боже, тоже не станет... А мне не хотелось бы, чтобы ты исчез бесследно...

Вот и вся добука моя и печаль. Прости, однако, если что не так. Я простой человек, как умею, так и думаю. Сейчас доскажу я последние слова из священных писаний, и мы приступим к погребению. Благослови же нас на это дело...»

— Аминь,— заключил Буранный Едигей молитву и, помолчав, еще раз глянув на коршуна, с пронзительной тоской, медленно обернулся лицом к стоящим позади молодым, о которых только что высказал свое мнение самому господу богу. Кончилась беседа с богом. Перед ним стояли те самые пятеро, с которыми он прибыл сюда и с которыми предстояло сейчас совершить наконец столь затянувшееся захоронение.

— Так вот, — сказал он им раздумчиво, — что полагалось сказать в молитве, я сказал за вас. Теперь приступим к делу.

Скинув в сторону пиджак с орденами, Буранный Едигей сам опустился на дно ямы. Ему помогал Длинный Эдильбай. Сабитжан, как сын умершего, оставался в стороне, выражая свою скорбь склоненной головой, те трое — Калибек, Жумагали и зять-алкоголик — сняли с носилок кошмяной куль с телом и опустили его в могилу на руки Едигея и Длинного Эдильбая.

«Вот и настал час разлуки! — подумал Буранный Едигей, укладывая Казангапа на вечное пребывание на ложе его в глубине земли. — Прости, что долго не могли определить тебя на место. Целый день возили то туда, то сюда. Но так уж получилось. Не по нашей вине не погребли мы тебя на Ана-Бейите. Но не думай, я это дело не оставляю так. Дойду куда угодно. Пока жив, не промолчу. Уж я им скажу! А ты будь спокоен на своем месте. Велика, необъятна земля, а место тебе в десять вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь. И ты здесь не будешь один. Скоро и я водворюсь сюда, Казангап. Ты подожди меня немного. И не сомневайся. Если только беды какой не приключится, если умру своей смертью, прибуду и я сюда, и будем снова вместе. И превратимся мы в землю сарозекскую. Только знать того не будем. Знать об этом дано, лишь покуда живешь. Потому я и говорю вроде бы тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже нет. Вот так мы и уйдем — из былого в небылое. А поезда будут пробегать по сарозекам, и другие люди придут вместо нас...»

И тут старый Едигей не выдержал, всхлипнул — все, что было-перебыло за многие годы их жизни на разезде Боранлы-Буранный, вся эта, казалось бы, громадная протяженность во времени, все беды, невзгоды и радости поместились в несколько прощальных слов и несколько минут погребения. Как много и как мало дано человеку!

— Ты слышишь, Эдильбай? — проговорил Едигей, соприкасаясь с ним в тесной яме плечом к плечу. — Ты и меня похорони здесь, чтобы рядышком был. И вот так вот руками своими уложи меня и пристрой, как это делаем мы сейчас, чтобы и мне лежалось удобно. Ты даешь мне слово?

— Перестань, Едике, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет божий. А я тут сам закончу дело. Успокойся, Едике, вылезай. Не томись.

Размазывая глину на мокром лице, Буранный Едигей поднялся со дна ямы, ему протянули руки, и он вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостливые слова. Калибек принес канистру с водой, чтобы старик умылся.

Потом они кинули вниз по пригоршне земли и принялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вначале лопатами, а потом Жумагали сел за руль, сталкивая грунт бульдозером. Потом снова укладывали кучу над могилкой лопатами...

А коршун-белохвост все парил над ними, наблюдая за облачком пыли и за этой горсткой людей, совершавших нечто странное на обрыве Малакумдычап. Он отметил какое-то особое оживление среди них, когда на месте ямы стала вырастать свежая гора земли. И рыжая собака, потягиваясь, встала тем временем со своего места из-под прицепа и тоже теперь крутилась возле людей. Ей-то чего надо было? Только старый верблюд, украшенный попоной с кистями, все так же невозмутимо жевал свою жвачку, непрестанно двигая челюстями...

Кажется, люди собирались уезжать. Но нет, вот один из них, хозяин верблюда, развернул ладони перед лицом, и все остальные поступили так же...

Время уже не терпело. Буранный Едигей обвел всех долгим, пристальным взглядом и сказал:

— Вот и делу конец. Хорошим ли человеком был Казангап?

— Хорошим, — ответили те.

— Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын, пусть возьмет на себя долг отца.

Никто ничего не ответил. И тогда Калибек сказал за всех:

— Нет, никаких долгов за ним не осталось.

— В таком случае что ты скажешь, сын Казангапа Сабитжан? — обратился к нему Едигей.

— Спасибо вам всем, — коротко ответил тот.

— Ну раз так, значит — двинулись домой! — сказал Жумагали.

— Сейчас. Одно только слово, — остановил его Буранный Едигей. — Я среди вас тут самый старый. Просьба у меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь меня, вот тут, бок о бок с Казангапом. Вы слышали? Это мой завет, стало быть, так и понимайте.

— Этого никто не знает, Едике, как и что будет, зачем заранее думать, — высказал свое сомнение Калибек.

— Все равно, — настаивал Едигей. — Мне полагается сказать, а вам полагается выслушать. А когда дело дойдет до дела, вспомните, что был такой завет.

— А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике, выкладывай заодно, — подшутил Длинный Эдильбай, желая разрядить обстановку.

— А ты не смейся, — обиделся Едигей. — Я ведь всерьез.

— Запомним, Едике, — успокоил его Длинный Эдильбай. — Если так выйдет, сделаем, как ты того хочешь. Не сомневайся.

— Ну вот это слово джигита, — удовлетворенно пробурчал тот.

Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва. Ведя на поводу Каранара, Буранный Едигей пошел рядом с Сабитжаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел поговорить с ним наедине о том, что его очень тревожило.

— Слушай, Сабитжан, руки у нас освободились, и есть теперь один разговор. Как же нам быть с кладбищем нашим, с Ана-Бейитом? — сказал он ему вопрошающим тоном.

— А что как быть? Тут и голову нечего ломать, — ответил Сабитжан. — План есть план. Ликвидировать его будут, сносить по плану. Вот и весь сказ.

— Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец. И теперь мы его похоронили. Одного, в чистом поле — единственное утешение, что все равно на своей земле. Ты грамотный, работаешь в области, слава богу, разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные читал...

— Ну и что из этого? — перебил его Сабитжан.

— А то, что помог бы ты мне в разговоре, отправились бы мы с тобой, пока не поздно, не откладывая прямо завтра же к начальству здешнему, есть же в этом городке кто-то самый главный. Нельзя, чтобы Ана-Бейит сровняли с землей. Ведь тут история.

— Это все старые сказки, пойми ты, Едиге. Здесь решаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них это — тьфу! Да и все равно туда нас не пустят.

— Так если не идти, то не пустят. А если потребовать, то и пустят. А нет, так сам начальник может подъехать на встречу. Не гора же он, чтобы с места не трогаться.

Сабитжан метнул на Едигея раздраженный взгляд.

— Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рассчитывай. Мне это совсем ни к чему.

— Так бы и сказал. И разговору конец. А то сказки!

— А как же ты думал? Что я, так и побегу! Ради чего? У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу пускать? Чтобы отсюда один звонок — и мне пинком под задницу? Нет уж, спасибо!

— Ты свое спасибо сам принимай, — бросил Буранный Едигей и добавил зло: — Пинком под задницу! Выходит, только для задницы и живешь!

— А как же ты думал? Вот именно! Это тебе просто — кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот послаще попало.

— Во-во! Прежде головой дорожили, а теперь, выходит, задницей.

— Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи.

— Ясно. Разговору конец! — отрезал Буранный Едигей. — Справляй поминки, и больше нам с тобой, бог даст, не встретиться никогда.

— Уж как придется, — скривился Сабитжан.

На том они разминулись. Пока Буранный Едигей садился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя моторы, но он им сразу сказал, чтобы они не задерживались, а ехали своим ходом, да побыстрее насколько можно, люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога, он, мол, поедет сам по себе.

Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на месте, решая, как поступить дальше.

Теперь он был один, в полном одиночестве посреди сарозеков, если не считать верного пса Жолбарса, который вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь не по пути с ними. Но Едигей не обращал на него внимания. Если бы собака убежала домой, он и этого не заметил бы. Не до того было. Свет был не мил. Ничем не мог подавить он в себе душевного ожога — гнетущую, тревожную опустошенность после разговора с Сабитжаном. Эта сосущая пустота неутраченной боли зияла в нем, как сквозная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак. Каялся Буранный Едигей, крепко каялся, что зря затеял разговор, напрасно бросил слова на ветер. Разве же Сабитжан тот человек, к которому стоило обращаться за советом да помощью? Полагался — грамотный, мол, образованный, ему проще найти язык с такими, как он сам. А что из того, что обучался он на разных курсах да в разных институтах? Может быть, его и обучали для того, чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть, где-то есть кто-то проницательный, как дьявол, который много трудов вложил в Сабитжана, чтобы Сабитжан стал Сабитжаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Сабитжан, рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о радиоуправляемых людях. Грядут, мол, те времена! А что, если им самим уже управляет по радио тот невидимый и всемогущий...

И чем больше думал старик Едигей об этом, тем обидней и безысходней становилось от этих мыслей.

— Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — прошептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабитжана.

Но он вовсе не собирался примиряться со случившимся, он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпринять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Едигей понимал, что если он отступит, то это будет его поражением в собственных глазах. Предчувствуя, что предстоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня, он пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел бы сделать, с чего начать и как приступить к тому, чтобы думы и чаяния его по поводу Ана-Бейита дошли до слуха тех, кто действительно может изменить приказ. Дошли бы и возымели какое-то действие, переубедили бы их... Но как этого достичь? Куда двинуться, что предпринять?

В тяжком раздумье том Едигей огляделся по сторонам, сидя верхом на Каранаре. Кругом была молчаливая степь. Предвечерние тени уже закрадывались под краснопесчаные яры Малакумдычапа. Трактора давно уже исчезли вдаль, умолкли. Укатила молодежь. Последний из тех, кто знал и сохранял в памяти сарозекскую быль, — старик Казангап лежал теперь на обрыве, под свеженасыпанным холмом одинокой могилы, посреди необъятной степи. Едигей представил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет, приплюснется, сольется с полынным цветом сарозеков и трудно, а то и просто невозможно будет различить его на этом месте. Тому и быть — никто не переживет землю, никто не минет земли...

Солнце набрякло, отяжелело к концу дня, принижаясь под непосильной тяжестью своей все ближе и ближе к горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на минуту. В чреве заката неуловимо зарождалась тьма, наливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озаренного пространства.

Размышляя, обдумывая обстановку, Буранный Едигей решил на то, чтобы снова вернуться к шлагбауму на проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда похороны были позади, когда он не был связан никем и ничем и потому мог полагаться на себя в полной мере настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему природой и опытом, он мог позволить себе действовать на свой страх и риск так, как считал нужным. Прежде всего он хотел добиться, заставить караульную службу пойти на то, чтобы его препроводили пусть даже под конвоем к большому начальству, или, если потребуется, принудить того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать его, Буранного Едигея. И тогда бы он все высказал в лицо...

Все это им было продумано, и Буранный Едигей решил действовать без промедления — непосредственным поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проявить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или встречи, с этого начать, заставить охранников понять, что он будет добиваться своего до тех пор, пока его не выслушает самый высокий чин, а не какой-то Тансыкбаев...

На том он укрепился духом.

— Таубакель! Если у собаки есть хозяин, то у волка есть бог! — ободрил он себя и уверенно приударил Каранара, направляясь в сторону шлагбаума.

Тем временем солнце закатилось; стало быстро темнеть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем темно. Оставалось с полкилометра до шлагбаума, когда впереди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доезжая до часового, Едигей заранее спешился. Слез, сползая с седла. Верблюд был ни к чему в таком деле. Зачем такая обуза? Да еще какой начальник попадетсЯ, а то ведь не захочет разговаривать, скажет: «Проваливай отсюда вместе со своим верблюдом. Откуда ты такой взялся! Никакого приема тебе нет» — и в кабинет не допустит. Но главное же, не знал Едигей, чем кончится его затея, долго ли придется ждать результата, так уж лучше было заявиться

самому по себе, а Каранара оставить пока стреноженным в степи. Будет себе пастись.

— Ну ты, здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем оно обернется, — пробурчал он, обращаясь к Каранару, но больше для собственной уверенности. Пришлось все-таки укладывать верблюда на землю, потому что требовалось достать из переметной сумки путы, приготовить их.

Пока Едигей возился впотьмах с путами, было так тихо вокруг, царил такая безмерная тишина, что он слышал собственное дыхание и попискивание, жужжание каких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось великое множество звезд, вдруг сразу объявившихся в чистом небе. Так тихо было, точно бы ожидалось что-то...

Даже привычный к сарозекской тишине Жолбарс и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то. Что ему могло не нравиться в этой тишине?

— Ты еще мне тут путаешься под ногами! — недовольно высказался хозяин. Потом он подумал: а куда девать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело, собака не отстанет. Будешь гнать — все равно не уйдет. Появляться же с собакой просителем опять же было не к лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают: вот, мол, пришел старик права отстаивать, а с ним никого, кроме собаки. Так уж лучше быть без пса. И тогда Едигей решил привязать его на длинном поводу к верблюжьей сбруе. Пусть побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку: «Жолбарс! Жолбарс! Поди сюда!» — и склонился, чтобы заладить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе, что-то сдвинулось в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный Едигей отпрянул в испуге, а верблюд, а собака с криком вскочил с места... Собака в страхе кинулась к ногам человека.

То пошла на подъем первая боевая ракета-робот по транскосмической заградительной операции «Обруч». В сарозеках было ровно восемь часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья и еще, и еще... Ракеты уходили в дальний космос закладывать вокруг земного шара постоянно действующий кордон, чтобы ничего не изменилось в земных делах, чтобы все оставалось как есть...

Небо обваливалось на голову, разверзаясь в клубах кипящего пламени и дыма... Человек, верблюд, собака — эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг с другом, они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами...

Но как долго бы они ни бежали, то был бег на месте, ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота вокруг...

А они бежали — человек, верблюд и собака, бежали без оглядки, и вдруг, почудилось Едигею, откуда ни возьмись появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из белого платка Найман-Аны, когда она падала с седла, пронзенная стрелой собственного сына-манкурта... Белая птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в том грохоте и светопреставлении:

— Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой отец — Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай...

И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся тьме...

Через несколько дней из Кызыл-Орды прибыли на Боранлы-Буранный обе дочери Едигея, Сауле и Шарпат, с мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине сарозекского старца Казангапа. Помя-

нуть, засвидетельствовать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денек-другой у родителей, поскольку нет худа без добра.

Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у Едигеева порога, отца дома не было, а Укубала выскочила навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь потомкам, все приговаривала:

— Многое спасибо тебе, господи! Вот кстати-то! Отец как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!

— А где же отец? — спросила Шарапат.

— А он вернется к вечеру. Уехал с утра в Почтовый ящик, к начальству тамошнему. Все дела у него там какие-то! Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же ваш дом, дети мои...

Поезда в этих краях все так же шли с запада на восток и с востока на запад...

А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.

Чолпон-Ата, декабрь 1979 — март 1980 гг.



ТОРЖЕСТВЕННАЯ СОНАТА

★

ЮРИЙ ОКУНЕВ

Олимпийский пьедестал

Здесь не чувствительность виной:
Нет, не наивна
Слеза Ирины Родниной
При звуках гимна.

 Когда к Олимпу вознеслись
 И гимн и знамя,
 Как осветлядась эта высь
 Ее слезами!

Взглянув в прекрасные глаза,
Постиг Лейк-Плесид,
Что засверкавшая слеза
Немало весит.

 В ней груз преодолений всех,
 Вся юность в риске,
 В ней то, какой ценой успех
 Взят с бою олимпийский.

Вся жизнь свершенной мечтой —
Слезой брызнет,
В той капельке такой настой
Любви к отчизне,

 Такая искра красоты
 В ней, как в кристалле,
 Души бесценные черты
 Так заблестали,
 Что сила этих чувств всерьез
 Врагов взбесила.
 Да, есть у некоторых слез
 Святая сила.

Святой порыв, что увлекал,
Вел светоносно
На олимпийский пьедестал,
К победе, в космос!
Отдам весь пыл стране родной,
Себя расплавлю!

 Родные слезы Родниной
 Пою и славлю!

* * *

Мы внимаем той истине, что установлена.
Веришь истине? Не прекословь,
Будто адская жизнь была у Бетховена:
Глухота, без ответа любовь.

Сколько зла, отчуждения, непонимания —
 Но откуда же мощи заряд?
 Мегатонны бетховенского страдания —
 Это музыки взрыв,
 Это ад?
 Это ад, если в муках ты стал всемогущим,
 Переплавил вселенную в звук?
 Что в сравнении с этим все райские кущи?
 Рай, конечно, заманчив... но вдруг
 Отшатнешься ты, вскрикнешь, пронзенный прозрением:
 Адом, адом, судьба, покарай!..
 Беспощадная, адская жизнь вдохиновения —
 Только это лишь истинный рай.

Павел Нечипоренко играет Баха

Элементарно: балалайка.
 Улада сельской стороны.
 Гляди, эстет, гурман, всезнайка,—
 Та самая, что в три струны.
 И ты и многие мудрили:
 — Есть свой предел, своя среда,
 И дальше польки и кадрили
 Ей не пробиться никогда.—
 Сейчас свою поймешь ты косность.
 Смотри — она в таких руках,
 Что будет несомненный космос
 И неопровержимый Бах.
 Тут не бренчанье балагура...
 Твои глаза изумлены:
 Да тут рояль. Клавиатура!..
 Та самая, что в три струны.
 Ты в руки взял — совсем неплохо...
 Заглядываешь, что внутри...
 Считаешь, нет ли тут подвоха...
 Элементарно: только три.
 Считаю, но все-таки смекай-ка
 Своим заносчивым умом
 Не сколько струн на балалайке,
 А сколько струн в тебе самом.

СВЕТЛАНА СОМОВА

Комиссар Цюрупа

Я живу на улице старого наркома,
 Что давно уж умер, и немолодым,
 Верьте иль не верьте, я впервые дома
 В этом странном доме по соседству с ним.
 Полночью ноябрьской затихают звуки,
 И дыханье дома — как морской прибор.
 И тогда, устало уронивши руки,
 Комиссар Цюрупа, говорю с тобой.
 Я себе твой облик смутно представляю,
 Как шагал по тюрьмам, побеждал в борьбе...
 Мой товарищ старший, наклонись к роялю
 И припомни песни о своей судьбе.
 Знаю, что с пшеницей вез ты эшелоны,
 А своим детишкам ни зерна не брал,
 В кабинете Ленина в обморок голодный,

Хлеб отдав народу, помертвев, упал.
 Комиссар приходит будто бы за мною,
 Я ищу в дороге стелющийся свет,
 Доброе уменье жертвовать собою,
 Позабытой песни клинописный след.
 Человек невидим и рояль невидим,
 Но напев все шире и доступней всем,
 И под звуков мощных огненным покрытием
 Трауром очерчен красноезвездный шлем.
 Кто-то оглянулся призрачно и хрупко,
 Изморозью льдистой, тающим снежком...
 И пошел бульваром к улице Цюрупы
 Александр Цюрупа — ленинский нарком.

ЮРИЙ СОРОКИН

* * *

У деревни Кузьминичи в братской могиле
 Восемьсот сорок два безымянных солдата,
 Невысокие сосны застыли над ними,
 Невысокое небо, что было им свято.
 Тишина над оградой склонилась сторожко,
 Кто-то должен был лечь у холмов этих древних,
 Где желтеют опята на тоненьких ножках
 И доносятся песни из близкой деревни.
 Где-то ваши товарищи были зарыты —
 Под Варшавой, у Двинска, у горного брода,
 Разлучили вас с ними цементные плиты
 И прощальный салют поредевшего взвода.
 И куда ни оглянешься мысленным взором —
 Обелиски стоят, будто памяти доты,
 Острова тишины над зеленым простором
 Посреди неумолчного гула работы.

* * *

На отмелях темнеет галька в русле,
 Мелеет Полота из года в год,
 Где на ладьях свободно плыли русы,
 Теперь уже и лодка не пройдет.
 На берегу, на самом солнцепеке,
 Взгрустнулось сердцу тихо о своем,
 Ведь где-то здесь лежат всего истоки,
 Всего, что было создано потом.
 История, мы без нее лишь тени,
 Обложки книг, не помнящих родства,
 Сколоченные наскоро ступени
 Для каждого пустого божества.
 И, совершая трудный путь прозренья,
 У древних стен идя в вечерний час,
 Вдруг ощутишь иные поколенья,
 В чертах камней их сдержанный рассказ.

МИХАИЛ ШЛАИН

* * *

Все явственней недругов клики.
 Все строже границы страны.

А люди и вправду привыкли
 К тому, что не будет войны.
 Все миром живут и любовью,
 В заботах своих трудовых.
 И катит Москва в Подмосковьё
 В субботу на два выходных.
 По радио что и в газетах —
 Прослушали все и прочли.
 В вагоне судачат про лето,
 Что дождик хорош для земли,
 Что нынче прохладно ночами,
 Но дальше хороший прогноз.
 А видно в окне, как качает
 Верхушки осин и берез.
 Наверно, почудилось это,
 Что так повела колея —
 И к нам возвращаются ветры,
 Не к нам, а на круги своя!
 А ветры-то не непростые,
 Они — не от северных льдов,
 Они — не из южной пустыни,
 Они — из тридцатых годов.
 Оттуда, где жили на совесть,
 Не ведая, что впереди,
 И пели, что наш бронепоезд
 Стоит на запасном пути.

* * *

В любимое время — в апреле —
 Сквозь почки деревьев и ручьи
 Вдруг сразу проступят потери —
 Ушедшие люди твои.
 В ненастье, в январскую память
 Видения этих людей
 Случайней приходят на память,
 Случайней, спокойней, слабей.
 Что ж ныне их легкие лица
 Явились до боли ясны?
 Ты с ними хотел поделиться
 Обычным приходом весны.
 Ликует фасад новостройки.
 Удачи чужому жилью!
 А солнце... Куда его столько
 На долю земную твою!

ИННА КЛЕМЕНТ

Московское ополчение

I

Сжимавшие израненную землю,
 как тело обтекаемой гранаты, —
 о бледные учительские пальцы
 и темные рабочие ладони!
 Московское уходит ополчение...
 Земля перемещается на небо
 зеркальностью воюющего мира,
 где танки перевернуты,

а сверху
 распластаны шинели ополченцев —
 тяжелые победные знамена.
 В том космосе, где мертвые снаряды
 встречаются без пороха и крови,
 убитые не видят побежденных.
 Под ними пролетает Подмосковьё.
 Над ними пролегал Подмосковьё.
 И видят их закрытые глазницы
 деревню и картофельное поле,
 зеленые машины урочая
 и мальчиков, играющих в войну...

II

Мне не хватает этих людей
 В суеде переходов, машин, площадей,
 в клубе фабричном и в Доме ученых...
 Место какое-то кажется вдруг отключенным —
 место живущего, странное здесь без него,
 ветер, его обтекаая, становится черным
 силою памяти,
 склонной творить колдовство.

Словно в Москве есть иная, другая Москва,
 павшая насмерть с ушедшим своим ополчением,
 и оживают под факельным медным свеченьем
 части ее,
 как размытой страны острова,
 входят в глаза земляною окопную черную —
 словно сквозь тело мое, как сквозь город,
 проходит вдова.

Гранью,
 порогом,
 деталью ожившего быта
 улица рвется на месте людей незабываемых...
 Память расходится улиц ночными кругами.
 Смерти не хватает,
 чтоб жившие были убиты,
 если мой город гудит ополченцев шагами,
 если их лица оставили в воздухе слепки,
 и не войти в этот воздух и мест не занять,
 если те окна, что вслед им глядели, ослепли.
 Горечь — у памяти,
 вечность — у павшего,
 город от города мне не отнять.



СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ КУРТ БАХМАН*

К. Бахман. Уже в октябре 1922 года Гитлер в своей памятной записке, адресованной промышленникам, назвал целью НСДАП «уничтожение и искоренение марксистского мировоззрения». Этой контрреволюционной концепции Гитлер последовательно придерживается.

В июне 1926 года в широком кругу промышленников и торговцев в гамбургском «Национальном клубе 1919 года» он заявляет: «Вопрос немецкого возрождения это вопрос уничтожения марксистского мировоззрения в Германии. Если это мировоззрение не будет искоренено, то Германия никогда не воспрянет».

27 января 1932 года Гитлер в своем выступлении в клубе промышленников в Дюссельдорфе говорил о «большевизме». Он заявил: «Мы приняли непреложное решение до последнего корня выдрать марксизм в Германии». Выдрать — таков был язык диктатора-человеконенавистника, который предлагал свои услуги владельцам концернов.

Чтобы народ — имелось в виду организованное немецкое рабочее движение — «не впал в большевистский хаос... наш народ должен пройти школу железной дисциплины и постепенно... излечиться». Гитлер обещал в качестве «исцеления» закрыть учение Маркса—Энгельса—Ленина. Если дело пойдет хорошо, то, как говорил Гитлер в клубе промышленников, «немецкий народ будет для начала выправлен».

Его глубокое презрение к трудовому народу ощущается в каждом слове. Гитлер предлагал ликвидировать рабочее движение и привязать рабочие массы к «национальному движению». Затем он обещал исправить результаты первой мировой войны, уничтожить революционные завоевания Октябрьской революции в Советском Союзе. Он утверждал это в бесчисленных речах и меморандумах, адресуясь к промышленникам. Идеи Гитлера наилучшим образом отвечали их империалистическим намерениям. Некоторые промышленники, представшие перед судом в Нюрнберге после 1945 года, пытались обелить себя отговорками, будто все это нельзя было принимать всерьез, поскольку звучало слишком патетически.

В. Рекерт. Не «патетической», а жестокой действительностью явилось то, что после передачи власти нацистам Германия столько лет воевала с Францией, Англией и СССР.

К. Бахман. Я говорил, что постановка вопроса о том, читали или не читали руководящие и иные реакционные слои буржуазии «Майн кампф», является очко-втирательством, обманным шагом. В сущности речь идет о том, ставили ли они в лице Гитлера на лошадь, у которой они видели лишь хвост, действительно ли их не интересовала внешнеполитическая программа НСДАП. Это абсурдно, ибо успехи или поражения во внешней политике в существенной мере определяют могущество капитала и прибыли. Полтора десятилетия после окончания войны в 1918 году германский рейх занимал после мирового экономического кризиса такое положение в мире, что смог перейти к более энергичной политике ревизии существующих в Европе границ. С учетом намерения буржуазии расширить

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

границы ее власти, было бы совершенно наивно предполагать, будто ее не интересуется, как нацисты хотят решать международные вопросы.

В. Реккерт. Стало быть, имелся большой, рассчитанный на длительное время план осуществления нацистских целей, которые отвечали целям реакционных крупных капиталистов.

К. Бахман. Это не был, правда, готовый план правительства, разработанный во всех подробностях. Такой взгляд — неисторичен. У фашистов было то, что можно бы назвать общей схемой: разгром рабочего движения всеми средствами террора, ликвидация всех буржуазно-демократических свобод, подавление любых проявлений враждебности со стороны оппозиции, материальное и идейное вооружение в быстром темпе, чтобы можно было начать, имея превосходящие силы, военное столкновение для исправления итогов первой мировой войны, для разгрома Советского Союза.

Разрабатывая планы тысячелетнего «нового порядка в Европе», нацисты имели перед собой в качестве основы старые империалистические требования пангерманистов времен до 1884 года.

Детальные планы к 1933 году готовы не были. Они разрабатывались постепенно, некоторые подвергались исправлению или заменялись другими. О подробностях велись подчас ожесточенные споры. Но эти детальные планы не выходили за рамки общей схемы, конкретизировали ее и никогда не противоречили ее существу. Да по-иному и быть не могло, ведь предпринимались первые шаги по осуществлению стратегического плана, выяснению пригодности средств и методов проведения внутренней и внешней политики. Успехи или поражения, само собой разумеется, влияли на последующие планы и действия.

В. Реккерт. Доказуемы ли сведения об этой общей схеме?

Из речи Геббельса перед руководством НСДАП в Вене 26 октября 1940 года:

«У меня такое впечатление, что в данный момент происходит передел мира, причем иным образом, чем его делили до сих пор. И поскольку нас при прежних разделах мира обходили, то для нас может быть только один лозунг: присмотреться и теснить. Если меня кто-нибудь спросит, что вы, мол, собственно, хотите, то на это я ему не могу дать совершенно точного ответа. Это зависит от обстоятельств. В зависимости от того, чего мы хотим и что мы можем. Нам нужно жизненное пространство. А что же это означает? Определение мы дадим после войны [...]. Когда эта война закончится, тогда давайте мы станем хозяевами Европы [...]. Тогда мы наконец вновь будем принадлежать к имущим нациям, тогда у нас будут сырье и ресурсы и тогда нашей собственностью станет крупная колониальная империя [...].»

Мы, национал-социалисты, всегда стояли на той точке зрения, что в 1918 году война не закончилась. Это было только завершение, а потом наступил большой перерыв. **Заключительный** акт разыгрывается сейчас. Эта драма закончится немецкой победой и не станет трагедией¹.

К. Бахман. Ответ на это дают имеющиеся записи выступления Гитлера перед верхушкой генералитета рейхсвера и имперского военно-морского флота 3 февраля 1933 года, то есть на пятый день его вступления в должность канцлера. Уже там обсуждался вопрос о том, куда было бы лучше направить в один прекрасный день созданную военную ударную силу: против Востока или против Запада.

В. Реккерт. Словом, военщина была заблаговременно посвящена в планы фашистов и это можно доказать. А как было с осведомленностью боссов?

К. Бахман. О политических намерениях Гитлера они были наслышаны еще до 30 января 1933 года во время многочисленных встреч, об отдельных из них мы уже упоминали. Гитлер выступал перед большой аудиторией также 20 февраля 1933 года. Он подтвердил своим слушателям, что все останется так, как он обещал до вступления в должность рейхсканцлера: политически крепкое государство, ликвидация коммунизма и так далее.

Настало время избавиться от представления будто у Гитлера имелась программа, а капиталисты ее оценивали, взвешивали и одобряли. Гитлер и НСДАП

¹ В. Руге и В. Шуман (издатель). Документы немецкой истории 1939—1942 гг. Франкфурт-на-Майне. 1977, стр. 54—55.

боролись за программу крайних сил немецкого империализма и милитаризма, сложившихся в конце проигранной первой мировой войны при участии многих политиков, идеологов и капиталистов.

Из обращения Адольфа Гитлера 3 февраля 1933 года к командующим рейхсвером и военно-морским флотом:

«Цель всѣй политики одна: возвращение пол. власти. На это должно быть ориентировано все государственное руководство (все направления).

1. По внутриполитическим вопросам. Полный поворот всей современной внутриполитической обстановки в Германии. Полная нетерпимость к деятельности каких-либо инакомыслящих, противостоящих этой цели (пацифизм!). Тех, кто не желает изменить свой образ мыслей, надо согнуть. Искоренение марксизма до конца. Ориентирование молодежи и всего народа на мысль, что спасти нас может только борьба, а все остальное, кроме этой мысли, должно отойти в сторону. (Осуществлено в отношении миллионов участников нацистского движения. Оно будет расти.)

Оздоровление молодежи и укрепление воли к обороне любыми средствами. Смертная казнь за измену стране и народу. Строжайшее авторитарное руководство государством. Ликвидация раковой опухоли демократии!

2. По внешнеполитическим вопросам. Борьба против Версаля. Равноправие в Женеве: бесцельное, однако, если народу не привить волю к обороне. Забота о соотечественниках.

3. Экономика! Крестьянин должен быть спасен! Политика колонизации! Будущее увеличение вывоза не имеет смысла. Емкость мирового рынка ограничена, и производство повсюду превышает необходимость. В колонизации состоит единственная возможность вновь частично занять армию безработных. Но не следует ожидать времени и коренных изменений, поскольку жизненное пространство для немецкого народа слишком мало.

4. Возрождение вермахта — важнейшая предпосылка для достижения цели: вновь добиться политической власти. Всеобщая воинская повинность должна быть восстановлена. Однако сперва руководство государством должно позаботиться о том, чтобы военнообязанные перед призывом не были отравлены пацифизмом, марксизмом, большевизмом или не подпали под действие этого яда после окончания службы.

Как следует использовать политическую власть, если она будет получена? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, завоевание новых возможностей экспорта, возможно — и это лучше, — захват нового жизненного пространства на Востоке и его безжалостная германизация. Ясно, что только с помощью политической власти и борьбы могут быть изменены экономические условия. Все, что сейчас может произойти, — колонизация — выход из положения».

То, что фашистский фюрер предложил капиталистам, не было для них никаким откровением с точки зрения основного содержания и как генеральная линия. С классовой точки зрения это было и их программой, и они шли по этому же пути рассуждений. Речь шла лишь о том, каким образом успешнее выполнить эту всеобщую программу.

В. Рекерт. Прежде чем завершить этот круг вопросов, нам следовало бы попытаться выяснить, было ли уничтожение миллионов советских людей, евреев, поляков составной частью общей схемы нацистов.

К. Бахман. План массового уничтожения лиц еврейского происхождения, план искоренения евреев, в 1933 году еще не существовал. Но то, что в идеологический и политический арсенал немецких фашистов входил и крайний антисемитизм, что уже существовало отвратительное, живое, с идейной стороны жестокое оправдание массовых убийств, — этого забывать нельзя. В числе официальных партийных органов НСДАП была также газета «Дер штюрмер» («Штурмовик». — А. Г.), издававшаяся в Нюрнберге Юлиусом Штрайхером. С ним Гитлер поддерживал подчеркнуто тесную связь, и «фюрер франконцев» и «антисемит номер один», как любил себя называть Штрайхер, был одним из тех немногих, кто был с Гитлером на ты. Этот «Штурмовик» открыто пропагандировал, что жизнь еврея ничего не стоит и ничего не заслуживает и что евреи являются туеядцами и паразитами. Власть рабочего класса в Советском Союзе клеветнически называли «еврейским большевизмом».

В. Реккерт. Почему антисемитизм был составной частью национал-социалистской идеологии?

К. Бахман. У антисемитизма постоянно была функция размывать классовые позиции, скрывать истинные причины общественных противоречий. «Расовая теория», по которой люди другого происхождения или иного цвета кожи являются неполноценными, ставит на место классовой борьбы миф о расе, крови, расизме.

При немецких фашистах антисемитизм разросся до предела. Он привел к уничтожению миллионов евреев в оккупированных Гитлером областях Европы. Национал-социалистское государство, нацистское правительство и СС создали в специально для этого оборудованных концентрационных лагерях — концлагерь Освенцим, например, по желанию концерна «ИГ Фарбен» — настоящие фабрики уничтожения. Отправным пунктом были так называемые Нюрнбергские законы и Конференция в Ванзее² 11 мая 1942 года в Берлине. Это было совещание немецких госсекретарей и высоких чинов СС под председательством Гейдриха в помещении комиссии международной уголовной полиции в Берлине на улице ам Гроссен Ванзее, № 56/58.

В. Реккерт. Действительность превзошла все, что может дать сила человеческого воображения. Кто мог бы представить себе полную утрату свободы, террор в концлагерях или шествия смертников в газовые камеры Освенцима, Треблинки, Майданека или других?

К. Бахман. Лагерь уничтожения, предназначенные для евреев, были частью массового террора национал-социалистского государства и его органов, включая юстицию, против инакомыслящих, коммунистов, социал-демократов, оказывавших сопротивление, готовых отдать все, даже свою жизнь, за свободу, демократию и общественный прогресс. Они, лагеря, были частью фашистского террора против советских военнопленных, политических комиссаров, борцов Сопротивления во всех оккупированных странах Европы.

В. Реккерт. Большинство буржуазных историков и средства массовой информации Федеративной Республики Германии отделяют убийство миллионов евреев от гигантских жертв, которые понесли народы Европы, особенно народы Советского Союза, в борьбе за освобождение Европы от гитлеровского фашизма.

К. Бахман. Захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадную германизацию Гитлер назвал заранее, 3 февраля 1933 года, целью завоеваний. Восемь лет спустя выступая на совещании командующих вермахта, он, как об этом записал генерал Гальдер в своем военном дневнике 30 марта 1941 года, заявил:

«Наша задача в отношении России: вооруженные силы разгромить, государство ликвидировать... Русский не устоит против массового применения танков и авиации... Речь идет о битве на уничтожение... Уничтожение большевистских комиссаров из коммунистической интеллигенции».

Ведение войны было цепью преступлений против мира, человечности, военных преступлений без числа, зверские и террористические акты против как Красной Армии, так и гражданского населения. В течение тысячи дней до освобождения осажденного Ленинграда умерло от голода 600 тысяч советских граждан. В Белоруссии, крае с самым сильным партизанским движением, погиб каждый четвертый житель. Всего Советский Союз потерял в Великую Отечественную войну, в борьбе за освобождение родины и народов Европы от фашистского ига, 20 миллионов человек: это были самые большие потери за всю историю войн. Историческая справедливость требует того, чтобы обо всем объеме национал-социалистского варварства сообщалось на уроках в школах и через средства массовой информации.

В. Реккерт. Как объяснить то, что многие сегодня утверждают, будто ничего не знали о размерах совершенных фашистами тяжких преступлений? Единичное убийство по праву карается высшей мерой наказания. Так что же, убийства по приказу или без него десяти, ста или сотен тысяч людей менее отвратительны? Кто желает жить с такими массовыми убийцами? Не отвратительно ли, если такой человек, как Штраус, требует теперь полной амнистии для фашист-

² Ванзее — район Западного Берлина.

ских массовых убийц — будто зверски убивать людей было просто грехом молодости?

К. Бахман. Фашистская пропаганда гитлеровского режима, миф о «крови и земле», теория «народа без пространства», мнимое арийское превосходство, антикоммунизм в своей агрессивнейшей форме, сопровождаемые теорией, будто другие — русские, поляки, все славяне — это «недочеловеки», роковой лозунг: «Фюрер, приказывай — мы идем за тобой» — за всем этим для большинства немецкого народа просматривалось так же мало, как и не знало оно о массовом терроре, скрывавшемся за этим же.

Весь нацистский аппарат, генеральный штаб, как и СС со всеми их ответвлениями, были настолько убеждены в молниеносной победе — их будущем господстве над народами Европы, что они с уверенностью предполагали, будто их преступления, кровавые следы, оставленные после каждого похода, каждой их акции, так и останутся нераскрытыми, безнаказанными, а сами они как бедители останутся скрытыми перед историей. Мы — заключенные, антифашисты и другие — были так называемыми носителями тайны. Носителями какой тайны? Именно мы знали о массовом терроре СС, полицейских подразделений и других, мы, пережившие этот террор и выжившие. Поэтому-то и был отдан приказ об уничтожении всех заключенных в концлагерях, свидетелей их позорных деяний. Все они должны были быть перед падением третьего рейха заранее уничтожены как возможные свидетели. Большинство фашистских террористов тех времен остались не тронутыми юстицией Федеративной Республики Германии.

Амнистия, которую требуют Штраус и другие для фашистских преступников, для террористов, которые совершили беспримерные в истории убийства, совершили преступления против мира и человечности, придала бы фашизму и неофашизму неслыханный импульс.

В. Реккерт. Буржуазные историки возносят хвалу ликвидации безработицы в третьем рейхе. При этом замалчивается тот факт, что экономический кризис при переходе власти к фашистам шел к концу. Несмотря на это, в 1936 году было еще 1,6 миллиона безработных — вопреки гонке вооружений, строительству автострад и другим мерам стимулирования.

К. Бахман. Ликвидация безработицы, как это признает сегодня и большинство буржуазных историков, явилась результатом бума вооружений, а не самостоятельным явлением или самостоятельным результатом фашистского правления. Расширение производства автомашин, самолето- и судостроительной промышленности, строительной промышленности и других отраслей экономики, а также соответствующих предприятий предварительной обработки и сырьевой базы с первых же дней нахождения у власти правительства Гитлера служило войне.

Уже в феврале 1933 года, когда на заседании правительства речь зашла о строительстве искусственного водного пути в Верхней Силезии, Гитлер указал на то, что все экономические вопросы следует рассматривать и решать под углом зрения военных приготовлений, «завоевания нового жизненного пространства на Востоке», а также «укрепления воли к защите всеми средствами».

Конечно, экономику германского рейха нельзя было перестроить для целей вооружения незамедлительно. Необходимо было решить, несмотря на все предварительные достижения при правительствах Веймарской республики, технические, технологические, финансовые, внешнеполитические и другие проблемы роста. Крупный бум вооружений мог быть организован лишь постепенно. Поэтому в переходный период в области обеспечения работой в 1933—1934 годах предпринимались специальные меры.

В. Реккерт. Знаменитые автострады!

К. Бахман. Первые планы строительства автострад разрабатывались уже в 1924 году. «Общество по изучению вопроса об автострадах» возникло в 1925 году, такое же общество при Рейнском провинциальном управлении — в 1925—1926 годах. «Объединение по строительству автострады Гамбург — Франкфурт — Базель», сокращенно названное «Га-Фра-Ба», родилось в 1926 году. Движение по ней началось в 1932 году. Все разработанные планы были собраны в 1937 году в Имперском объединении автострад. Они не были избранием Гитлера, а продолжали сооружаться и вступали в строй, будучи либо уже

начаты буржуазными политиками до 30 января 1933 года, либо находились еще на политических чертежных досках.

Временно выделялись государственные средства на нужды насущных проблем городов и общин. Переходные меры давали рабочим временную занятость, чаще всего не по их профессии и при самой низкой оплате, по большей части вряд ли превышающей размер пособия по безработице. Эти меры к тому же способствовали стабилизации фашистской диктатуры и помощи ей. Вскоре эти задачи отпали, рабочих направили на военные заводы, в вермахт или на имперскую трудовую службу. Проблемы оздоровления и модернизации городов остались нерешенными. Пушки не только вместо масла, но и вместо квартир — таков был лозунг.

В. Реккерт. Как это выглядело в других областях социальной политики? Не было никакого улучшения уровня жизни трудящихся?

К. Бахман. Видимость того, что фашистские заправилы длительное время пользовались уважением у остальных слоев населения, они создали с помощью процесса, который происходил на мрачном фоне периода веймарской массовой безработицы. Мировой экономический кризис уже прошел свою нижнюю отметку, прежде чем Гитлер стал канцлером. Безработица достигла своей высшей точки в январе — феврале 1933 года. Циклическое экономическое развитие вступило в полосу оживления. Этот процесс был ускорен с помощью мероприятий по вооружению. Появилось больше возможностей увеличить занятость, хотя и по низким ставкам, поскольку правительство Гитлера объявило о замораживании зарплат. Лишь специалисты с дефицитными профессиями могли получать большую зарплату, потому что концерны, производившие оружие, в погоне за прибыльными заказами нуждались в весьма больших количествах этих специалистов.

В. Реккерт. И в области политики оплаты труда фашизм ничего хорошего не предложил семьям рабочих.

К. Бахман. Квалифицированные рабочие получали в 1937 году 78,4 пфеннига³ в час, вспомогательные рабочие — 62,3 пфеннига, женщины — 43,4 пфеннига. В 1939 году часовая оплата рабочих возросла для рабочих до 79,1, для вспомогательных рабочих до 62,8 и для женщин до 44,1 пфеннига.

Недельная зарплата увеличивалась, так как число сокращенных рабочих дней постепенно уменьшалось и рабочее время увеличивалось. Становились больше семейные доходы, поскольку несколько членов рабочей семьи получали работу, и снижалась безработица.

Однако почасовые заработки оставались жалкими, и между собой нацистские главари это признавали. Некоторые нацистские бонзы даже считали необходимым повлиять на капиталистов, чтобы произошли изменения. Однако и здесь, как и в других областях, возобладал реакционный курс.

Таким образом капиталисты получили положительную конъюнктуру. Ведь не было легальных профсоюзов, которые могли бы добиться повышения заработной платы.

Фашизм был выгоден для эксплуататоров в полном смысле слова: в то время как покупательная способность минимального тарифа зарплаты снизилась с 1932 года по 1937 год на 7 процентов, чистая прибыль концерна Круппа, например, за тот же период увеличилась с 6,65 миллиона до 17,22 миллиона рейхсмарок.

В. Реккерт. Очевидно, был выгоден также и закон «Об упорядочении национальных работ», принятый 20 января 1934 года. Владельцы предприятий назначались фюрерами предприятий, а рабочие низведены до дружин точно так, как того требовали предприниматели.

К. Бахман. Тем самым были ликвидированы права и завоевания рабочих и профсоюзов. Слово «дружина» происходит из времен феодализма. Рабочие были обязаны быть верными «производственному сообществу». Так говорилось в законе. Так маскировались эксплуататорские отношения между капиталом и трудом, так устанавливалось «внутреннее спокойствие». На предприятиях царил всеобщая слежка и безудержный террор, усиленная потогонная система.

С помощью разгрома профсоюзов и введения фашистского «принципа фю-

³ П ф е н н и г — одна сотая марки.

рерства» на производстве имелось в виду, по существу, парализовать классовое сознание и нанести поражение сознательной части рабочего класса: рабочим — коммунистам и социал-демократам. Так был насильно внедрен «трудовой мир».

С начала 1939 года была запрещена даже перемена места работы.

Все служило политическому, экономическому и духовному порабощению рабочих, служащих, а также научно-технической интеллигенции на предприятиях. Это служило осуществлению принципа «хозяин в доме». В равной мере это был и решающий шаг к милитаризации предприятий, одной из предпосылок для военных приготовлений.

Именно обе эти функции «народного сообщества» хозяева концернов рассматривали как ценное дополнение к национал-социалистскому режиму под руководством Гитлера. Они их приветствовали и всеми средствами добивались их осуществления. Имперский союз немецкой промышленности (позднее Имперская группа промышленности) тотчас ввел «принцип фюрерства» и у себя и перенес его на отрасли экономики. Во главе каждой промышленной группы химии, угля, железа, стали и так далее стоял чаще всего представитель руководства самого мощного концерна отрасли.

В. Реккерт. В социальном плане нацисты ничего хорошего не предложили трудящимся. Тем удивительнее то, что им, несмотря на жестокую эксплуатацию, удалось привязать к себе значительную часть трудящихся. Очевидно, они достигли этого, выдавая свои и крупного капитала корыстные интересы за общенациональные, тем самым издевательски использовали такие замечательные особенности народа, как готовность пойти на жертвы.

К. Бахман. Прежде всего: сознательную часть рабочего класса не согнули ни идеологическое давление, ни социальная демагогия, ни террор нацистов, не заставило все это и отказаться от организованной борьбы против гитлеровской диктатуры. Именно из рядов заводских рабочих и вышло большинство самых активных антифашистов. Об этом свидетельствует также и повлекшая многие жертвы подпольная работа КПГ на крупных предприятиях. С другой стороны, немало было и таких, которые попались на социальные и националистические уловки нацистов.

В. Реккерт. Возвращаясь в этой связи к вопросу о зарплате, хочу отметить, что большинство интересовалось сначала тем, а что же оказывалось в конце месяца в кошельке, или, точнее, в кассе домашнего хозяйства.

К. Бахман. Кроме того, нацисты были подлинными мастерами демагогии. Любое малейшее достижение они подавали так, как будто они создали рай на земле. Уже в 1933 году они объявили Первое мая «праздником национального труда», и это тот день, в который даже социал-демократическое коалиционное правительство Веймарской республики запретило проведение демонстраций. Молодые рабочие могли участвовать в так называемых имперских профессиональных соревнованиях. Способности, которые они там проявляли, предприниматели могли использовать в своих целях. Одновременно создавалось впечатление, будто высокое мастерство вознаграждается и находит социальное признание. Фашисты постоянно давали рабочим массам словесные пилюли, которые им льстили и вводили в заблуждение насчет их подлинного места в обществе.

В. Реккерт. Нужно также пролить свет на то, как показывали Гитлера в кинофильмах и киножурналах.

К. Бахман. Строжайшей цензуре в третьем рейхе особенно подвергался кинематограф. Основное из показанного о Гитлере в фильме Феста — это с особой тщательностью отработанный материал из того, что сняли нацистские агитаторы и киноделяги, включая Лени Рифенштала, и что потом отобрали геббельские спецы как наиболее подходящее для их фашистских целей.

В. Реккерт. Словом, трижды профильтрованный образ Гитлера: сначала фашистскими киноделягами, затем министерством Геббельса и, наконец, Фестом.

К. Бахман. И вот итог: история третьего рейха персонифицирована как результат деятельности Гитлера, представленного в качестве великой личности, за которой безропотно идут массы. Действенная нацистская реклама показывала желательный для фюрера фасад, а не задворки, не зверскую, террористическую сторону нацизма, не его бесчеловечную, антигуманную сущность, не тех, кто им пользовался и командовал, — не монополистическую буржуазию.

Стряпня на кухне лжи Геббельса ныне получает от комиссии по контролю фильмов оценку «особо ценное»; все это называют документальным материалом, якобы пригодным в качестве «убедительного» учебного пособия для молодежи. Этот «документальный» исторический источник не показывает жестокое подавление рабочего движения, фильм оставляет за кадром те массы, которые не приветствовали фюрера возгласами ликования, те десятки тысяч заключенных, которые противились террору СА и СС, гестапо и юстиции, которые оказывали сопротивление государству, где царило бесправие,— их-то и не видно. Точно так же скрыта связь между Гитлером и монополистами. Такая фальсификация путем отбрасывания всей исторической действительности, путем замалчивания помогает сегодня фашизму или неофашизму предстать в респектабельном виде.

В. Реккерт. Однако вернемся еще раз к причинам того, почему у нацистов имелась массовая база.

К. Бахман. То, что, между прочим, создавало Гитлеру с 1935-го по 1938 год популярность, это роль «национального освободителя», который смог достичь поставленной цели — во всяком случае до тех пор — без единого выстрела.

Вермахт снова вступил в Рейнскую область. Саар «возвратился в рейх». Англия согласилась на то, чтобы Гитлер имел военно-морской флот с тоннажем, который мог составлять 35 процентов от британского. Затем последовала оккупация и присоединение Австрии. После позорного мюнхенского договора с Англией и Францией последовало отторжение Судетской области и вслед за этим уничтожение Чехословакии как государства.

Гитлер предстал как деятель, который разбил постоянно расписываемые нацистской демагогией «цепи Версаля» и в мирные дни исправил результаты первой мировой войны без помех со стороны западных держав и даже при их содействии. Как слишком многие ошибочно думали, он добился того, что Германия вновь обрела уважение, хотя народы Европы отчетливо видели растущую военную опасность, исходившую от гитлеровской Германии.

В. Реккерт. Имелись, как мы отметили, не только ликующие людские толпы. Были и такие, кто уже в начале 30-х годов признал правильность лозунга КПГ: «Кто голосует за Гинденбурга — тот голосует за Гитлера, кто голосует за Гитлера — тот голосует за войну». Они не поддались дурману социальной и национальной демагогии нацистов. Были и такие, кто вскоре после захвата Гитлером власти заметил, что между обещаниями и делами существовал огромный разрыв, и такие, кто в течение предвоенного периода, но особенно во время войны, распознал преступность нацистского режима и не оставался пассивным.

К. Бахман. Нацистское господство отображалось не только сценами ликования в киножурналах, но также находило свое выражение в широко распространенной гестаповской системе слежки и надзора, деятельности кровавых нацистских судей, в переполненных тюрьмах и системе превентивных арестов, по которой людей без приговора упрятывали в концентрационные лагеря на неопределенное время. Сопротивление коммунистов, социал-демократов, католиков и других демократов продолжалось. Различными способами боролись они за свержение Гитлера.

Только за 9 месяцев в 1938—1939 годах, говорилось в гестаповской сводке, арестовано 5606 антифашистов, в числе которых 3212 коммунистов, 498 социал-демократов, 49 членов социалистической рабочей партии и 1847 других противников Гитлера... Это показывает не только размеры террора за короткий отрезок времени, но и размах сопротивления против фашизма. Несмотря на аресты и убийство десятков тысяч коммунистов — в 1939 году 60 процентов их опытных кадров находилось в тюрьмах или было убито,— нацистам не удалось разгромить Коммунистическую партию Германии. Она ни на минуту не прекращала организованную борьбу за демократическую Германию, против гитлеровского фашизма. Если отдельные партийные организации и уничтожались, они возрождались вновь и вновь, хотя условия были очень сложными и суровыми. Поэтому рабочее движение после второй мировой войны имело — пусть и ослабленную в численном отношении — испытанную революционную партию с большим опытом борьбы за жизненные интересы и будущее нашего народа.

Сообщение гестапо об обстановке от января 1936 года:

«Открытое и охотное сотрудничество общественности в борьбе за ликвидацию коммунизма, которое явно можно было отмечать вплоть до 1935 года, существенно уменьшилось. Об иммунитете против яда марксизма в широких кругах берлинского населения более не может быть и речи... Вообще же надо сказать, что коммунизм не представляет в настоящее время опасности для существования государства прежде всего благодаря усиленной борьбе против него, проводимой государственными органами, и связанными с ней уничтожением его организаций и арестом его руководящих лиц. Следует, однако, со всей серьезностью указать на то, что, несмотря на все успехи борьбы против организованного коммунизма, вновь ощущается наличие растущей массы отравленных коммунистическими идеями — снова или вновь...»⁴.

В. Рекерт. История периода нацистского господства в Германии — это также история героического сопротивления молодежи, прежде всего рабочей молодежи.

Многочисленные битвы развертывались вокруг требований на производстве. Особенно после VII конгресса Коммунистического Интернационала. В 1935 году антифашисты попытались внутри самих фашистских организаций, таких, как рабочий фронт — псевдопрофсоюз нацистов, — в спортивных союзах или в таких нацистских объединениях, как ГЮ — гитлерюгенд, — вести политическую работу и дать отпор нацистскому ядовитому влиянию на молодежь. Это было непросто и чревато большими жертвами.

К. Бахман. Разъяснительная работа среди солдат пошла на подъем особенно после битвы под Сталинградом и создания Национального комитета «Свободная Германия», равно как усилились акции солидарности в отношении военнопленных. Было проведено много мероприятий, которые содействовали более скорому окончанию войны и кровопролития.

Коммунисты оказывали сопротивление всюду, где они были. Конечно, и в концентрационных лагерях, под надзором СС и гестапо. Узники Бухенвальда, например, смогли освободиться, действуя интернационалистски, путем вооруженного восстания, прежде чем появились американцы. Неоспоримо, что КПГ за двенадцать лет подполья была самой последовательной силой немецкого движения сопротивления. К сожалению, нашего совместного сопротивления и других антифашистских сил было недостаточно, чтобы собственными средствами освободить наш народ от фашистского ига. Поражение Гитлера и освобождение нашего народа произошло благодаря освободительному подвигу Советской Армии и других сил антигитлеровской коалиции, включая и движение Сопротивления народов Европы.

Антифашистское сопротивление воплощало лучшие демократические и гуманистические традиции другой Германии в то время, когда название нашей страны покрывалось грязью и позором фашистского варварства. Сопротивление же организованного рабочего движения спасало национальную честь нашего народа.

В. Рекерт. Утверждению, будто во всем виноват только Гитлер, соответствует и содержащаяся в наших школьных учебниках мысль, что не только рабочие, но и собственники были в фашистском государстве лишь колесиками, подчиненными диктату Гитлера. И в вопросах подготовки курса на вооружение они якобы были всего-навсего исполнителями, а не самостоятельными действующими лицами.

К. Бахман. Никто всерьез не поверит в сказку о том, будто капиталисты после 30 января 1933 года сдали свой разум и влияние первому попавшемуся руководителю местной группы НСДАП. С 1933 года, когда были размещены первые значительные заказы на производство оружия, в фашистской Германии, как и в любом другом капиталистическом государстве, разыгралась борьба за самые крупные и лакомые военные сделки. Год от года расширялся рынок военных материалов. Стремление наладить производство синтетического каучука и стать независимыми от поставок нефти из-за рубежа путем развития производства собственного синтетического бензина отвечало нацистским планам вооружения

⁴ «История немецкого рабочего движения». Берлин. 1966, т. 5, стр. 478.

так же, как и планам крупных химических предприятий во главе с «ИГ Фарбен».

На одном из двенадцати процессов, предшествовавших Нюрнбергскому международному военному трибуналу, перед судом предстали также директора концерна «ИГ Фарбен». Господа Генрих Таттино и Генрих Бюгефиш, директор завода в Лейне, показали, что они уже в ноябре 1932 года посетили Гитлера на его личной квартире в Мюнхене, чтобы разъяснить ему значение гидрации, то есть превращения угля в бензин, в синтетическое жидкое топливо. После этого НСДАП включила в свои экономические планы меры по созданию в Германии собственной сырьевой базы и получила пожертвование от «ИГ Фарбен» в 100 тысяч рейхсмарок.

В. Реккерт. Концлагерь Освенцим возник как следствие сотрудничества в области планирования с находящимся поблизости заводом «ИГ Фарбен». Если эксплуатации используемых там заключенных «не хватало», то хозяева фабрик попускали эсэсовских палачей, чтобы те применяли еще более жестокий террор.

Органы гестапо неоднократно получали от обергруппенфюрера СС Гейдриха, шефа полиции безопасности и главного управления имперской безопасности, указания воздерживаться от любого задержания предпринимателей, а если вообще какой-либо фюрер предприятия, тот есть капиталист, войдет в конфликт с политической полицией, то предоставить решение вопроса центральному управлению гестапо в Берлине.

...Недавно некоторые авторы утверждали, будто Гитлер был революционером, а фашизм оказал в некоторых областях революционное воздействие.

К. Бахман. В фильме Феста Гитлер говорит: «В Германии происходит революция». Имелось в виду так называемое национальное народное сообщество, которое якобы устранило классовые противоречия. Если бы приход фашистов к власти был революцией, то тогда он должен был бы разгромить господство власть имущих, то есть власть финансового капитала.

В период нацизма управляли экономикой и направляли ее представители крупных монополий и концернов непосредственно и без вмешательства. Имперская группа промышленности и экономические группы своим четырехлетним планом выработали по согласованию с Герингом экономическо-вооруженческую концепцию создания «великогерманского рейха» как предпосылки для нападения на Советский Союз.

Упомянутая имперская группа индустрии переняла государственные функции по снабжению сырьем, распределению заказов на вооружение, предоставлении кредитов, зарплате и ценообразованию. Нацистское государство и концерны были, таким образом, тесно переплетены друг с другом. Этим путем при Гитлере была достигнута высокая степень государственно-монополистического капитализма. Государственные заказы на вооружение, а также непосредственное участие в ограблении еврейской собственности в захваченных областях. Государство и концерны основывали на оккупированной территории Советского Союза на базе захваченных предприятий свои фирмы. Благодаря жесточайшей эксплуатации узников концентрационных лагерей, военнопленных и более 10 миллионов иностранцев, насильно угнанных и превращенных в рабов, крупные концерны получали сказочные барыши.

Немецкий фашизм разгромил буржуазно-демократические учреждения и партии. Одновременно рабочий класс и его организации были лишены их социальных прав — зарплата заморожена на самом низком уровне. На предприятиях могли командовать благодаря «принципу фюрера и дружины» только предприниматели, так что трудящиеся были беззащитными перед произволом и эксплуатацией со стороны крупных концернов и монополий.

Все завоеванные со времен Французской революции буржуазные права были уничтожены, установлен режим неприкрытого бесправия масс, жестокой диктатуры финансового и монополистического капитала. И все это следует считать революцией?

Гитлер и его режим — явная контрреволюция как внутри страны, так и контрреволюция, направленная вовне ее. Ведь, нападая на Советский Союз, они хотели ликвидировать завоевания Октябрьской революции в первом государстве рабочих и крестьян.

Тем самым фашизм немецкого образца стал главным ударным отрядом реакционнейших империалистических сил во всем мире. Запад сделал до 1939 года все, чтобы отвести от себя ожидавшуюся агрессию гитлеровской армии и направить ее против Советского Союза. Победа над немецким фашизмом и милитаризмом выбила из рук мировой реакции острое копьё международной контрреволюции, опасное оружие.

В. Реккерт. Вот вопрос, который связан с фашистским режимом террора: я всегда теряю самообладание, когда слышу, что во время нацизма можно было по крайней мере без помех пройти вечером по улице.

К. Бахман. Это очередная сказка. Общая преступность возросла. Более того, фашизм, нацистское государство и его приспешники сами были преступлением как система господства. Насильственное помещение в концентрационные лагеря без суда и следствия, классово пристрастные приговоры юстиции, выносимые политическим противникам, заключение в исправительные дома и тюрьмы, аресты органами гестапо как первое предупреждение тех, кто вслух рассуждал о фашизме или в нетрезвом виде неосторожно облегчил душу, может быть, рассказал анекдот или слушал иностранную радиостанцию. Люди быстро становились жертвой нацистской юстиции даже тогда, когда они вовсе не являлись сознательными противниками Гитлера.

Все это были типичные поводы для подавления инакомыслящих. Любовные отношения между молодыми людьми различных рас, отношения с людьми еврейского, польского или советского происхождения могли стоить головы. Антифашисты, политические противники, особенно члены КПГ, преследовались вплоть до физического уничтожения. Запугивание, угрозы, вымогательство или пытки стали в национал-социалистском государстве средствами навязывания его политической линии инакомыслящим. В выборе средств для навязывания своего мнения нацисты не стеснялись.

Если политический противник попадал в лапы СС, СА или гестапо, он был абсолютно бесправным, оказывался вне закона. Политическая юстиция растаптывала все человеческие права. Она становилась послушным слугой господствовавшей фашистской власти. Из страны поэтов и мыслителей Гитлер и его банда сделали страну кровавых судей и палачей.

В. Реккерт. И опять-таки монополисты были теми, кто содействовал таким преступлениям и извлекал из этого выгоду, например «ИГ Фарбен» — концлагерь Освенцим. «ИГ Фарбен» жестоко эксплуатировал заключенных из Освенцима на своих заводах в Буне (СС получали за одного работающего от 3 до 4 рейхсмарок в день). Они экономили средства для исследований путем экспериментов на живых узниках.

К. Бахман. Во время второй мировой войны варварский террор усиливался также еще и против народов временно оккупированной Европы. Все вообразимые рамки превзошел террор в отношении польского и советского народов. Никто когда-либо за всю историю не причинил такого ущерба нашему престижу, нашему народу, нашей молодежи, как гитлеровский режим.

Как же иначе можно охарактеризовать этот режим, кроме как величайшее организованное в государственном масштабе преступление против мира и человечности?

В. Реккерт. Давайте поговорим о самой мрачной главе, о планах мирового господства германского империализма, об агрессии против народов Европы, которая началась 1 сентября 1939 года. Кому служила война? Кто ее спланировал?

К. Бахман. «Новый порядок в Европе» германский империализм планировал самое позднее с наступления этого столетия. Гитлер, как и экспансивные, алчущие захвата чужих земель силы немецкой крупной буржуазии, исходил из того, что следует продолжить разработку, модернизировать старые грабительские, захватнические планы. К крупным стратегическим, экономическим и военным приготовлениям они приступили совместно с Гитлером заранее и конкретно, начиная с «четырёхлетнего плана». Обретшие новые силы монополии стремились к новым рынкам сбыта и источникам сырья так же, как и перед 1914 годом. Они рвались к господству в Европе. Гитлер и те, кто стоял за ним, поставляли необходимый для этого политический и военный инструментарий.

Из речи Райнхарда Гейдриха, руководителя имперского главного управления безопасности, 2 октября 1941 года в Праге:

«Это означало, однако, что будущее рейха после окончания этой войны будет зависеть от способности рейха и от способности людей этого рейха удерживать эти пространства, управлять ими и при необходимости слить их с рейхом. Словом, все зависит от того, насколько мы сумеем обращаться с этими людьми, руководить этими людьми и растворить их. Здесь мы, собственно, должны различать крупные группы:

первая — это пространства с людьми германского происхождения, это те люди, которые принадлежат к нашей крови и поэтому, в сущности, обладают нашим характером. Это те люди, которых в какой-то мере деформировало плохое политическое руководство и влияние еврейства, которые постепенно должны вернуться к основным элементам современного мышления. Это те пространства, которые я вижу такими: Норвегия, Голландия, Фландрия, такими я вижу в более отдаленном будущем Данию, Швецию. Это те пространства, которые населены германскими народностями и которыми в том или ином виде (и мы должны иметь здесь ясность) — то ли в союзе государств, или как округ, или еще как угодно — будут принадлежать нам. Ясно, что в отношении с этими людьми мы должны найти совсем другой подход, чем с людьми других рас, славянскими и подобными народами [...];

вторая группа — это восточные пространства, которые частично заселены славянами, это пространства, где всегда надо помнить, что доброта воспринимается только как слабость, это те пространства, где славянин сам вовсе не желает, чтобы с ним обращались как с равноправным, где он привык, что господин ничего общего с ним не имеет. Словом, это пространства, которыми нам следует теперь руководить и управлять на Востоке. Это пространства, где немецкий верхний слой этого общества должен включиться в работу для нас — после военных действий до глубины России, до самого Урала, — используя при совершенно ясных формах руководства эти пространства, грубо говоря, как сырьевую базу, а их рабочих как илотов⁵ для великих и культурных задач [...];

затем следует великопольское пространство, являющееся ближайшей областью, которую следует постепенно заселить немцами, из которой польский элемент должен быть постепенно вытеснен на Восток. После этого идет Украина, которая сначала должна продолжать жить под немецким руководством. Это промежуточное решение, в ходе которого она постепенно выделяется из великорусской сферы с учетом и использованием определенных, еще теплящихся в подсознании собственных народных идей и одновременно будет служить крупной сырьевой и энергетической базой. Все это должно происходить без того, чтобы этому народу давать возможность культурного укрепления или усиления, чтобы там была создана крупная прослойка интеллигенции. Иначе в более позднее время из этого может возникнуть оппозиция, от которой при слабом руководстве потом за много лет не избавишься».

Любая война является лишь продолжением политики средствами насилия, той самой политики, которую господствующие классы проводили долгие годы перед войной.

Значит, характер войны определяется не тем, кто в конечном счете принимает решение продолжить политику другими средствами, а тем, из-за каких социальных противоречий возникает война и, следовательно, в каких целях она ведется.

В. Реккерт. Лишь это является научной ленинской постановкой вопроса, которая оправдала себя при расшифровке тайны того, почему возникла и велась та или иная конкретная война.

К. Бахман. В различные времена по-разному правили и, коль скоро имелась какая-то форма господства, различным образом решался вопрос войны и мира.

В. Реккерт. Это ясно, мотивы действий поджигателей войны следует искать не в особенностях их характера.

К. Бахман. Представители немецкого финансового капитала не были ни наивными, ни скромными. Их поведение определялось не мелкобуржуазным складом ума и образом мыслей (по схеме: «У меня все ж есть мой домик, мой сад, моя лавка — что же мне еще надо?»). Маркс в своих экономических исследованиях доказал, что капиталисты и эксплуатируют не потому, что они плохие и мо-

⁵ И л о т, г е л о т — раб, эксплуатируемый.

рально испорченные, что они и войны ведут не потому, что они образуют группу особо нетерпимых людей, а потому, что поведение класса капиталистов как целого определяется капиталистическим законом наживы. Капитал стремится к прибыли и сверхприбыли, подстегивает буржуазию к расширению внутреннего и внешнего рынка.

В. Реккерт. Маркс, таким образом, исходит из положения класса капиталистов в производственных отношениях, не из случайных особенностей характера отдельного капиталиста. Ленин указывал на то, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. Его сущность заключается в стремлении к господству, а не к свободе, он означает реакцию внутри страны и стремление к захвату вовне. Но это не может, однако, означать, что в один определенный день определенного года должна быть в определенном направлении развязана война, в частности что немецкий финансовый капитал должен был начать войну в 1939 году.

К. Бахман. Общий интерес немецкой монополистической буржуазии состоял в том, чтобы ликвидировать результаты поражения 1918 года, добиться сырьевых баз, рынков сбыта, новых территорий и сфер влияния. То, как следовало осуществить эти империалистические интересы, решено политической группой, которой была в 1933 году передана государственная власть. В этом смысле позволительно припомнить слова классиков о том первом шаге, сделать который можно по свободному решению, в то время как следующий делается уже рабом, только что бывшим свободным. В рассматриваемом нами случае это верно в двойном смысле.

Монополистическая буржуазия вовсе не для того содействовала партии войны — НСДАП, самым решительным образом подгоняя давно начатую, еще при Веймарской республике, гонку вооружений, чтобы в тот момент, когда обнаружались бы успехи всех этих усилий, подойти к господину Гитлеру и заявить ему: все это было задумано не так уж всерьез и лучше всего пусть дело обойдется без войны.

Мыслимы лишь две ситуации, которые могли бы привести к изменению примерного плана. Сильная внутренняя оппозиция войне, которая не существовала, или внешняя сила, которая угрожала бы немецким фашистам коллективным отпором такой военной силы, что явная бесперспективность их затей сделала бы неизбежным принятие иных решений. Изменение стратегии фашистской диктатуры под давлением внутренних или внешних факторов или же комбинации обоих не осталось бы без последствий для стабильности режима и его перспектив.

В. Реккерт. С помощью образа свободного и раба можно прояснить ту специфическую экономическую ситуацию, которая сложилась в предвоенный период.

К. Бахман. Гонка вооружений требовала концентрации сил внутри страны и оставляла мало сил, чтобы быть активными на мировом рынке. Для международных соперников это было приятно. Между обеими главными монополистическими группами, тяжелой индустрией, с одной стороны, и электропромышленностью и химической индустрией — с другой, существовали разногласия относительно того, не следует ли замедлить темпы вооружений и тем самым дать возможность активизации на внешнем рынке. Дело решилось, однако, в пользу политики гонки вооружений.

В. Реккерт. Подобная политика окупалась только тогда, когда временные экономические потери восполнялись бы вдвойне и втройне благодаря военной наживе. Уже в 1939 году предстояло дело, которое должно было окупиться.

К. Бахман. Для этого необходимы некоторые точные данные.

1. Без предварительно произведенных самолетов Мессершмитта, Хейнкеля и Дорнье, пушек Круппа и «Рейнметалла», танков, пулеметов, без боеприпасов и синтетического бензина, всего этого, произведенного немецкими предприятиями, входящими в концерны, 1 сентября 1939 года ни один солдат вермахта не смог бы сделать ни единого выстрела.

2. «ИГ Фарбениндустри» разослал в марте 1935 года членам совета по вооружениям памятную записку «О подготовке промышленности к войне». В ней обосновывалась необходимость «создать новую военно-экономическую организа-

цию, которая включает всех, вплоть до последнего мужчины и до последней женщины, все производственные предприятия и все сырье в экономический организм, который управляется жесткими военными методами». Далее требуется «планирование экономики» и сырьевых материалов и «включение в военном порядке всей рабочей силы в военную экономику в случае войны».

3. Именно этим требованиям соответствовало то, что писал Гитлер в своей секретной памятной записке о «четырёхлетнем плане» в августе 1936 года: «Немецкая армия должна быть через 4 года готова к действиям. Немецкая экономика должна быть через 4 года готова к войне».

17 месяцев спустя после памятной записки в адрес «ИГ Фарбен» он публично обосновывал «четырёхлетний план» на нюрнбергском съезде партии следующими словами: «Через 4 года Германия должна быть независимой... Лишь социальный мир создаст предпосылки...»

4. В 1937 году около 400 ведущих представителей монополий дали согласие на присвоение им звания «фюрер обороны экономики». Ведение войны было в сильной зависимости от безупречной экономики, которой предстояло обеспечить в соответствии с «четырёхлетним планом» подготовку промышленности к войне. В начале 1938 года был создан военно-экономический совет, в который вошли высшие представители концернов «ИГ Фарбен», «Рейнметалл», Клекнера, Борзига и других. Военное планирование и подготовка к войне проходили только с их участием.

5. Публично Гитлер потребовал пересмотра немецко-польской границы 5 января 1938 года. Тайно он дал указание относительно «Белого дела» 3 апреля 1939 года. Это была военная подготовка нападения на Польшу, которое произошло 1 сентября 1939 года.

Война была тщательно заранее запрограммирована как в военном, так и экономическом отношении. Здесь сотрудничество Гитлера и хозяев монополий в политике и экономике было явным.

В. Реккерт. Это говорит об опасности политики гонки вооружений. Поэтому коммунисты были и остаются решительными борцами за разоружение. Но и в лагере буржуазии вышеописанный курс на подготовку к войне не был бесспорным.

К. Бахман. Но решающим было то, что верх одержали реакционнейшие силы монополистической буржуазии. Это относится также и к генеральному штабу вермахта.

В. Реккерт. После 1945 года историки утверждали, что по меньшей мере до 1938 года в рейхсвере существовали военная и антивоенная партии.

К. Бахман. Тем самым хотели снять вину и ответственность с прусско-немецкого милитаризма и начертить традиционную линию и для бундесвера. Тогдашние противоречия в рейхсвере касались не вопроса, следует ли вести войну, а того, какие должны быть предпосылки для победоносного похода, какие противники вермахту уже по плечу, каким образом и в каком объеме следовало бы продолжать вооружать армию, флот и авиацию, каких союзников следовало бы приобрести.

Что касается запланированной войны против Советского Союза, то тут было единство, не существовало единства в том, следует ли сначала разгромить империалистические государства-конкуренты и воспользоваться их потенциалом или следует искать союза с ними, но это означает также поделить с ними ожидаемую добычу. Пойти на это реакционнейшая часть немецкой буржуазии не была готова. Многие буржуазные историки критикуют Гитлера только за то, что он избрал «неправильный вариант» войны.

В. Реккерт. Эти разногласия касались, в сущности, планирования военных приготовлений.

К. Бахман. ...но все же во всяком случае второстепенных вопросов. Главным же был такой: следует ли применить вновь обретенную военную силу для войны или нет. А генерала фашистского вермахта, который противопоставил бы себя преступлению посягательства на мир и попросил бы у Гитлера отставку, буржуазная историография должна сначала еще предъять.

В. Реккерт. О целях войны и методах ее ведения можно спорить лишь тогда, когда о них знают. Разногласия, о которых мы сейчас говорим, — однознач-

ное доказательство того, что конкретные военные намерения и военные планы имелись и германский генеральный штаб их знал, потому что он их сам разрабатывал, — такие, как план «Барбаросса», или другие.

К. Бахман. Обвинять Гитлера, и только его, за подготовку и развязывание войны — это значит никоим образом не отражать действительное положение и тем самым смазывать вопрос о вине. Таким путем имелось в виду фальсифицировать историю немецкого фашизма и его грабительских войн как деятельность одного-единственного диктатора, одного-единственного виновника, без учета всей взаимозависимости, всех условий, сделавших возможной эту деятельность.

Кто командовал нападающими дивизиями 22 июня 1941 года? Кто поставлял им оружие, за какие захватнические цели они боролись? Ни национал-социалистское руководство, ни генеральный штаб Гитлера, ни владельцы концернов не могут быть освобождены от вины за их преступления против мира и человечности. Возвышение Гитлера до роли главнокомандующего с последнего предвоенного года стало возможным только благодаря общей позиции высшего социального слоя и руководящей военной касты.

В. Реккерт. Положение и власть Гитлера как высшего военачальника было во всяком случае к началу войны прочным.

К. Бахман. В самом деле, ни в каком империалистическом государстве не было сравнимой концентрации власти. Высокая концентрация власти монополий соответствовала концентрации военной власти. Гитлер и сам, конечно, стремился к ней. Его сознание своего «призвания» росло. Культ фюрера получал гротескные формы и разрастался до фюреромании.

В. Реккерт. Гитлер хотел начать в сентябре 1939 года мировую войну. Тем не менее он выразил смущение, как сообщает один его современник, когда поступило объявление войны от Великобритании и Франции, которые были союзниками Польши.

К. Бахман. Конечно, Гитлеру было бы предпочтительнее продолжать тактику «одного за другим». Вместо этого он почувствовал уже в течение 1939 года, что этот метод не может применяться вечно. Он хорошо представлял себе, что политика «мирного» завоевания, бывшая возможной только благодаря политике умиротворения, проводившейся Англией и Францией, теперь достигла грани европейской войны. Военная сторона «нового порядка в Европе» была скалькулирована и подготовлена в расчете на блицкриг.

Фактически бумажные объявления британского и французского правительств не разрушали военных планов руководства вермахта. Союзники Польши разорвали свои военные обязательства взаимопомощи и ничего не делали. Первый военный поход против капиталистической страны — Польши прошел, как и планировалось, как молниеносный и закончился молниеносной победой над Польшей.

В. Реккерт. Польское государство прекратило существование, и фашистский рейх получил общую границу с СССР. Как случилось, что военный поход сразу не продолжился против Советского Союза, объявленного главным врагом?

К. Бахман. Чтобы понять, почему Советский Союз заключил в конце августа 1939 года пакт о ненападении с гитлеровской Германией, надо пояснить предысторию.

Через неделю после установления гитлеровской диктатуры Советский Союз выдвинул на конференции по разоружению в Женеве предложения об обеспечении мира. Впервые он дал определение, кто является агрессором. 29 января 1934 года Советский Союз опубликовал в газете «Известия» предложение создать систему коллективной безопасности в Европе, которая должна была оказать совместное сопротивление напавшему государству.

Западные державы вместо того, чтобы принять это предложение, смирились с оккупацией Рейнской области, вооружением германского флота, доведенного до уровня в одну треть британского флота, с военным вмешательством Гитлера на стороне франкистского фашизма, оккупацией Австрии. Они вынудили позорным мюнхенским соглашением своего союзника, чешское правительство, без боя уступить Гитлеру Судетскую область.

Несколько позднее захват земель беспрепятственно продолжился: в начале года — оккупация и аннексия всей Чехословакии; неукоснительно проводилась

политика попустительства Гитлеру, саботажа советских предложений об организации фронта коллективной защиты. Было ясно, что западные державы хотели с помощью все новых уступок направить ударную силу немецкого фашизма и милитаризма против Советского Союза, а самим выйти из борьбы против фашизма. Ведь они надеялись на крушение большевиков.

Из протокольной записи беседы между Адольфом Гитлером и лордом Эдвардом Галифаксом во время его пребывания в Германии 19 ноября 1937 года:

«В начале беседы лорд Галифакс отметил, что он приветствует возможность смочь благодаря личной беседе с фюрером достигнуть лучшего взаимопонимания между Англией и Германией. Это было бы весьма важно не только для обеих стран, но также и для всей европейской цивилизации. Перед своим отъездом из Англии он разговаривал с премьер-министром и английским министром иностранных дел об этом визите, и они были абсолютно едины в отношении его целеустановки. Речь идет о том, чтобы определить, каким образом следовало бы создать возможность для всеобъемлющего и откровенного обсуждения вопросов, касающихся обеих стран. В Англии полагают, что существующие в настоящее время недоразумения вполне могут быть убраны с пути. Признаются целиком и полностью большие заслуги фюрера в восстановлении Германии, и если английское общественное мнение относительно определенных немецких проблем подчас и занимает критическую позицию, то частично причина тому недостаточно полная осведомленность в Англии насчет движущих причин и обстановки. Так, например, английская церковь с большой озабоченностью и беспокойством следит за развитием вопроса о церкви в Германии. Равным образом критически относятся в кругах лейбористской партии к определенным вещам в Германии. Несмотря на эти трудности, он (лорд Галифакс) и другие члены английского правительства прониклись пониманием того, что великого сделал фюрер не только для самой Германии, но также и того, что он, уничтожив коммунизм в собственной стране, закрыл ему дорогу в Западную Европу и что поэтому Германию можно рассматривать как бастион Запада против большевизма. Английский премьер-министр полагает, что вполне возможно найти решения путем открытого обмена мнениями...»

В. Рекнерт. В 1939 году, когда фашисты вступили в Прагу, Советский Союз еще раз попытался побудить правительства в Лондоне и Париже скорректировать курс в направлении совместной политики отпора агрессору, однако тщетно.

К. Бахман. Положение было таковым, что Польше угрожала такая же судьба, как и Чехословакии. Правительства Англии и Франции заявили, что они берут на себя гарантии государственной независимости Польши, Румынии, Греции и Турции. В ответ на это Советский Союз проявил инициативу и обратился к западным державам с предложением заключить военное соглашение о коллективном отпоре агрессору, о защите стран Европы, которым угрожал германский фашизм.

С марта по август 1939 года тянулись переговоры в Москве. В ходе начавшихся в августе военных переговоров выяснилось, что правительства Чемберлена и Даладье не были готовы остановить агрессора всеми своими военными средствами. Даже в случае действительной опасности советские войска не имели права на проход через Польшу или Румынию. Но иначе эти страны не могли быть защищены. Англия и Франция не проявляли в то время готовности к каким бы то ни было военным действиям, к заключению договора о взаимопомощи... Они хотели, чтобы Советский Союз, взяв односторонние обязательства, был втянут в войну с гитлеровской Германией.

Кроме того, Англия и Франция избегали брать обязательства о принятии коллективных мер по обеспечению безопасности прибалтийских республик и Финляндии. Они косвенно указывали Гитлеру путь безнаказанного нападения на Советский Союз.

Тогда Советскому Союзу еще не было известно, что правительство Гитлера вело в то же время тайные переговоры с британским правительством о британско-германском пакте о ненападении и о разделении сфер влияния. Беседы велись между уполномоченным Геринга и внешнеполитическим советником Чем-

берлена, что явствует из записей тогдашнего немецкого посла фон Дирксена от 21 июля 1939 года. Британский и французский империализм в то время еще не оставил надежду все-таки создать антисоветский единый фронт. К этому моменту гитлеровское правительство предложило Советскому Союзу провести переговоры о заключении договора о ненападении.

В. Реккерт. В Москве не могли, ясное дело, выбирать себе партнеров в Лондоне и Париже и не могли также изменить положение в Берлине. Так что им нужно было считаться с имевшимся соотношением сил и условиями господства в капиталистических государствах. Генеральная линия советской внешней политики состояла в том, чтобы избежать фашистского нападения и второй мировой войны.

К. Бахман. Советскому Союзу при полной политической изоляции угрожала опасность войны на два фронта — в Европе, а также в Азии. Японский империализм, хотя и безуспешно, дважды посягал на чужую территорию — в 1938 году у озера Хасан и в 1939 году на реке Халхин-Гол. Эти военные поражения явились действенным уроком для японцев, которые уже с 1931 года оккупировали важные области Китая. С учетом двуличной позиции западных держав положение для Советского Союза складывалось самым неблагоприятным образом. Следовало считаться с тем, что вся мощь фашистской военной машины как в Европе, так и на Дальнем Востоке могла бы быть нацелена на Советский Союз. Необходимо было предотвратить образование единого антисоветского фронта, чтобы избежать опасности попасть в тиски и выиграть время для повышения собственной безопасности и насколько возможно отодвинуть нападение на свою страну. Советское правительство решило пойти на предложение фашистского правительства.

При таких условиях отклонение пакта о ненападении означало бы, что пришлось бы вести войну без собственных союзников одновременно в Европе — против гитлеровского фашизма, в Азии — против японских милитаристов. Гитлеровская Германия и Япония могли бы полагаться на активную помощь всех антикоммунистов как на вспомогательное средство всего капиталистического мира.

В. Реккерт. Это объясняет, почему СССР заключил пакт о ненападении со своим заклятым врагом. В то время этот договор вызвал, конечно, бурную дискуссию.

К. Бахман. Это совершенно верно. Пакт о ненападении между столь разными партнерами вызвал бурную дискуссию во всем мире, в нашей стране, а также среди антифашистов. 23 августа 1939 года обе стороны — Германия и СССР — обязались «воздерживаться от любых актов насилия, любых агрессивных действий и любого нападения друг на друга».

Тот факт, что гитлеровская Германия, которая хотела покорить Европу, да и весь мир, заключила соглашение с единственным на Земле социалистическим государством, окруженным врагами, подействовал шокирующе. Ведь подоплека и взаимосвязи оставались сначала неизвестными для многих.

Из заявления ЦК КПГ по поводу германо-советского пакта о ненападении от 25 августа 1939 года:

«Немецкий народ приветствует пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией, потому что он хочет мира и видит в этом пакте успешную мирную акцию со стороны Советского Союза. Он приветствует этот пакт, потому что он не является, как союз Гитлера с Муссолини и японскими милитаристами, инструментом войны и империалистического насилия над другими народами, а является пактом, направленным на сохранение мира между Германией и Советским Союзом. Созданная с помощью пакта внешнеполитическая и внутривнутриполитическая ситуация ставит, однако, перед всеми антифашистами, перед всеми миролюбивыми и свободными немцами большие задачи, которые должны быть решены в усиленной борьбе против нацистской диктатуры...»

В. Реккерт. Пакт о ненападении между такими разными партнерами имел большой политический вес и позитивные последствия.

К. Бахман. Я бы хотел перечислить некоторые из позитивных последствий. Советский Союз выиграл передышку. Красной Армии, приступившей к перевоо-

ружению, требовалось еще время для модернизации ее оружия и снаряжения. Для КПСС было ясно намерение Германии напасть, однако не было ясности насчет момента нападения, которое она и стремилась оттянуть.

Японские милитаристы были вынуждены пересмотреть свои планы нападения на Советский Союз. Они действовали теперь не в духе антикоминтерновского пакта, заключенного Гитлером, Муссолини и Японией с целью идеологической подготовки мировой войны за передел мира.

Англо-французским деятелям мюнхенской политики умиротворения не удалось вначале направить агрессию Гитлера против Советского Союза.

В. Реккерт. Ни один из выживших немецких генералов не набрался мужества признать непобедимость Советского Союза. Для их последователей в бундесвере был бы очень полезен такой трезвый взгляд, согласно которому для немецкого народа губительно вести войну против Советского Союза.

К. Бахман. Советская Армия, понесшая огромные потери, защищая родную землю и изгоняя с нее гитлеровские армии, победила не в последнюю очередь и потому, что весь народ, который вел справедливую освободительную борьбу и понимал это, стоял единой силой под руководством партии большевиков и Советского правительства. Кто в руководстве вермахта мог себе представить у советских людей эту моральную силу сопротивления, готовность к жертвам, способность терпеть страдания или мог при составлении планов нападения правильно оценить все это?

Контрреволюционный план гитлеровской Германии, нацеленный против страны Ленина, провалился. Вермахт должен был безоговорочно капитулировать. Одновременно было разрушено фашистское германское государство. Тем самым было доказано, что капиталистический общественный строй уступает социалистическому и в военном отношении.

Из призыва ЦК КПГ от 24 июня 1941 года по поводу нападения гитлеровской Германии на СССР:

«Наше собственное дело — это то, которое победоносно защищает Красная Армия. Наш враг находится в собственной стране: фашистские наемники крупных капиталистов, тех, кто наживается на войне и является нашим врагом! Общая победа Красной Армии и борющихся за свою свободу поработенных народов Европы будет также победой и нашего немецкого народа.

В наших руках, в руках создающего немецкого народа, находится ныне судьба нашей нации.

Освободимся от оков позорного, оскорбляющего имя нашего народа господства обгаренного кровью фашизма!

Мы сильны, если только мы всерьез захотим. У нас есть друзья и союзники среди всех замученных народов, которые хотят вновь обрести свою свободу. Нашим самым большим и сильнейшим другом был и остается советский народ, знамя которого стало символом правого дела всех людей, борющихся за свободу, счастье и честь. [...]

Трудовой немецкий народ борется на стороне Красной Армии и народов оккупированных стран, борющихся за свою национальную свободу против врага цивилизованного человечества, против фашизма».

Конечно, первоначальные успехи вермахта принесли смертельную угрозу для Страны Советов. Германские армии располагали новейшим опытом ведения войны, были полностью моторизованы и превосходили в первое время в технических боевых средствах. Нападение застигло находившуюся в стадии реорганизации Советскую Армию раньше, чем ожидалось. Ошибки, допущенные в первый период войны, были быстро исправлены. Это доказывает и неожиданное для вермахта первое советское зимнее наступление в декабре 1941 года, которое навсегда похоронило гитлеровский план молниеносной войны.

В. Реккерт. Советский Союз являлся главным врагом фашизма, о чем последний открыто заявлял. Земли СССР должны были подвергнуться оккупации. А социализм уничтожен и народы Советского Союза имелось в виду сделать рабами немецкого империализма.

Гитлер видел в Сталине своего самого трудного врага!

К. Бахман. Что бы ни гнали фашистские демагоги собственному народу о СССР, Гитлер, политики и военные, стоявшие во главе третьего рейха, знали, что социалистическому обществу война не нужна и советская политика коллективной безопасности в Европе проводилась всерьез. Им было также известно, что Советское правительство под руководством Сталина хотело уберечь СССР от войны между группировками империалистических держав, однако Советский Союз одновременно интенсивно готовился к отражению возможного нападения фашистов. Гитлер видел, что время работает против него, пустил в ход беспрецедентную военную ударную силу и развязал войну.

В. Реккерт. После этого его звезда начала закатываться.

К. Бахман. То, что произошло, — закономерное событие. Попытка создать фашистский мировой рейх под немецким руководством, развернуть всемирную контрреволюцию в середине XX века не соответствовала историческому развитию. Гитлер и его генеральный штаб были обречены на провал. Анахронический план создания «нового порядка в Европе» под фашистским немецким господством провалился из-за отпора со стороны Советского Союза, несшего главную тяжесть борьбы в битвах, которые вели народы антигитлеровской коалиции.

В. Реккерт. В ходе второй мировой войны наступил поворот. Близилось поражение германского фашизма. Не было ли это подходящим моментом для того, чтобы немецкий финансовый капитал покончил с ненужным теперь Гитлером?

К. Бахман. Сначала фашистские войска двигались вперед на восточноевропейском театре военных действий, хотя темпы продвижения и далеко отставали от планов. Немецкие монополисты следовали за вермахтом по пятам и принялись бессовестно эксплуатировать богатства СССР в захваченных областях и оставшихся там советских людей. В этих целях уже до нападения создавались специальные общества и предприятия.

Нельзя обойти трудности, возникающие при практическом ответе на вопрос, как можно было выйти из этой войны. Политическое руководство и его главная фигура — Гитлер — не воспринимались противниками войны в качестве партнеров, и требование о безоговорочной капитуляции было неизбежным. Кто должен был встать на место политической нацистской клики? Какого-нибудь Фридриха Эберта — как в 1918 году — не имелось, да и Гитлер не хотел уступать свое место. И тут оказалось, что легче установить фашистскую диктатуру, которая обладает собственным весом, чем выбраться из ее всестороннего кризиса.

В. Реккерт. Часто утверждают, будто крупный капитал покинул тогда тонущий корабль и продолжение войны стало делом только Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера, Мюллера из гестапо и других нацистских преступников, которые хотели продать свою шкуру как можно дороже.

К. Бахман. Нельзя империалистическую войну называть империалистической только до тех пор, пока грабители имеют успех.

Прежде всего немецкие монополисты связывали свои надежды на успешный исход войны и дальше с личностью Гитлера и окружавшей его политической группировкой.

В. Реккерт. А покушение полковника Штауфенберга на Гитлера?

К. Бахман. Заговор 20 июля 1944 года был, несомненно, частью немецкого антифашистского движения. Он особенно наглядно доказывал, что лишь меньшинство капиталистов, крупных землевладельцев и военных признали, что политико-дипломатическую свободу действий можно получить в случае, если по меньшей мере исчезнет Гитлер.

От их намерений следует отличать замыслы группы молодых штабных офицеров под руководством мужественного патриота графа Шенка фон Штауфенберга, которые хотели для ликвидации гитлеровского режима сотрудничать с движением сопротивления рабочего класса.

С ведома Штауфенберга социал-демократы Юлиус Лебер и Адольф Райх-вайн, выступавшие за сотрудничество с КПГ, установили связи с подпольной группой Антона Зефкова. У Клауса Шенка фон Штауфенберга росло понимание того, что в условиях национал-социалистического террора не может быть успешным даже наилучшим образом организованное офицерское восстание, если оно останется изолированным от рабочего класса и его организаций сопротивления.

Из проектов наибольшей группы лиц 20 июля, группировавшихся вокруг

Карла Герделера, полковника Бека, Ялмара Шахта и других, на период после свержения Гитлера однозначно вытекает, что они хотели спасти германский империализм и отклоняли всякое сотрудничество с коммунистами. Они цеплялись за идею о том, будто Рузвельт, Черчилль и де Голль могли бы приказать своим офицерам и солдатам совместно с немецко-фашистскими милитаристами бороться против СССР. Многие лица из прусской феодальной и милитаристской касты не постигли двух вещей: во-первых, что война велась не по образцу феодальных войн XVIII века, когда толпам наемников можно было скомандовать стрелять сегодня против той, а завтра против этой армии; во-вторых, что антигитлеровская коалиция, в которую вступили правительства США, Англии... как и... 60 государств мира, одновременно была и союзом народов, которые очень бдительно следили за верностью своих правительств союзу с Советским Союзом до совместной победы.

В. Реккерт. Какой же смысл вообще еще был с точки зрения интересов крупного капитала продолжать войну? Квартиры, города превращались под англо-американским градом бомб в развалины точно так же, как и заводы, машины... Все это не могло оставлять равнодушными капиталистических собственников, и тем более после того как они получили совсем новый опыт. В 1918 году была их война, которую они развязали и проиграли, но битвы ее до последнего момента почти без исключения происходили за пределами немецкого кайзеровского рейха.

К. Бахман. Очевидно, развалины развалинам рознь. Бросается в глаза, что немецкие концерны и крупные банки, несмотря на разрушения, причиненные многим промышленным сооружениям, все же пережили это и выдержали как капиталисты. Нельзя закрывать глаза на то, что помыслы и планы буржуазии перед окончанием войны концентрировались в первую очередь на том, как ей спастись как классу после военного поражения. В 1918 году, как мы уже говорили в начале нашей беседы, ей это удалось с трудом. Теперь она во второй раз стояла перед проблемой, чтобы переход от войны к миру обошелся без революции, словом, без ее экспроприации и отстранения от власти.

В. Реккерт. Если рассматривать дело с точки зрения этого основополагающего интереса, то сразу становится ясным, что фашистская диктатура и личность Гитлера в 1944 и 1945 годах вовсе не были такими уж ненужными. Аппарат подавления под главнокомандованием Гитлера функционировал, террор гестапо продолжался, кровавая юстиция и ее палачи свирепствовали. Полевая жандармерия и военно-полевые суды чинили кровавую расправу над всеми, кто хотел покончить с бессмысленной войной.

К. Бахман. Последняя фаза падения гитлеровского режима сравнима лишь с бессмысленным бешенством измотанного, издыхающего чудовища, которое пытается удушить волку к миру нашего населения с помощью крайних средств террора и бесправия.

Когда Советская Армия уже сражалась на немецкой земле и англо-американские войска — после трехлетнего промедления — открыли наконец второй фронт в Европе, резко возросло число немецких солдат, не хотевших более умирать «за фюрера». Больше новобранцев, чем ранее, понимали бессмысленность смерти на фронте, который не был в состоянии удержать самый стойкий генерал Гитлера. Они хотели домой, покончить с чужой им войной.

Об антивоенных настроениях среди немецкого населения.

Протокольная запись ставки фюрера от 8 марта 1945 года:

«Из призыва гауляйтера Штера, 18 ч. 10 мин. В сообщении о положении в группе войск «Густав» имеется следующее предложение: «Враждебное отношение населения в Эйфеле затрудняет самоотверженные бои войск». То же самое сообщила мне сегодня армия через своего уполномоченного. В области Мозельланда (политический округ фашистской партии, идентичный бывшему прусскому административно-округу Кобленц.— К. Б.) население одной деревни встретило собственные войска стрельбой. В другой деревне крестьяне пошли с вилами на солдат, которые хотели произвести взрыв. Группу солдат, которая пробилась из американского плена к собственным позициям, жители одного села встретили выкриками: «Эй вы, затягиватели войны!»⁶.

⁶ В. Руге и В. Шуман (издатель). Документы немецкой истории 1942—1945 гг. Франкфурт-на-Майне. 1977, стр. 106.

В этот заключительный период, когда в многообразных формах росло антифашистское сопротивление и все больше солдат понимали бессмысленность дальнейшей борьбы, военные суды Гитлера вынесли тысячи смертных приговоров. Откатывавшихся солдат на месте расстреливали «цепные собаки» из полевой жандармерии.

До тех пор, пока фашистские заправила могли подавлять народные массы или продолжать удерживать их подле себя, ведущие силы немецкого монополистического и финансового капитала выигрывали время для подготовки к периоду без Гитлера, к переходу к миру, чтобы сохранить капиталистическую систему.

В. Реккерт. Значит, немецкий империализм хотел спастись, предотвратить революцию. Тогда почему же он концентрировал свои силы не против Советского Союза, а бросил последние силы для наступления в Арденнах против западных государств, у которых был такой же капиталистический общественный строй? Ведь тем самым он ослаблял фронт против Советского Союза, представлявшего социалистическое будущее!

К. Бахман. В 1944 году Гитлер и генералы не могли больше и мечтать о том, чтобы вновь получить инициативу на восточном театре военных действий. Они надеялись с помощью новой победы на французской земле выбить капиталистическое государство из антигитлеровской коалиции. Затея провалилась. Не союзники были разбиты, а они разбили фашистские армии и стояли перед западной границей рейха.

Наступление в Арденнах началось 16 декабря 1944 года и уже 18 декабря 1944 года захлебнулось. Оно являлось отчаянной попыткой осуществить первоначальную концепцию и все же еще создать антикоммунистический единый фронт. Таким образом, последнее наступление на западе, предпринятое по приказу Гитлера, является прямо-таки образцовым примером того, что проявление и существо какого-либо исторического события могут распадаться.

Благодаря союзнической верности СССР наступление в Арденнах не оправдало расчетов Гитлера. Советское руководство решило — по настоятельной просьбе Черчилля — перенести на более ранний срок собственное зимнее наступление. Уже в конце января 1945 года удался оперативный прорыв Советской Армии на Одере и Нейсе. Оно положило начало полному военному крушению вермахта и укрепило антигитлеровскую коалицию.

В. Реккерт. Вместо поворота на западе, на который возлагалась надежда, предстоял штурм Советской Армией имперской столицы. Гитлеровские армии сидели в клещах. Их положение было безнадежным.

К. Бахман. Тем не менее фашистские авантюристы цеплялись за надежду на чудотворный поворот военных событий. Хотя они сами и не были способны поссорить своих противников, но все же они и далее спекулировали на том, что встреча армий империалистических государств с войсками Красной Армии могла бы создать новую ситуацию.

В. Реккерт. А в это же время продолжали гибнуть немецкие солдаты...

К. Бахман. ...и миллионы немцев, которые ранее проживали в восточных областях, тянулись на запад в бесконечных колоннах беженцев с зимы 1944 года, загнанные на проселочные дороги. Женщины, дети, старики с их скарбом на телегах или пешком откатывались повсюду с земель, которые заставляли их очистить вермахт и фашистские гаулейтеры, прозванные «золотыми фазанами». Так миллионы изгнанных немцев в условиях невзгод зимы и нужды очутились на пути «домой в рейх».

При вынужденном отступлении вермахт и подразделения СС уничтожали все, что пощадила война. Особенно наглядно это показывают разрушения вермахтом шпал на железных дорогах. Для этого была разработана специальная техника. Оккупанты оставляли после себя только выжженную землю. 25 миллионов советских граждан в конце войны оказались без жилья.

Тузы финансового и монополистического капитала возобновили с капиталистическими зарубежными странами старые связи, утраченные во время войны, переводили деньги и ценные бумаги в нейтральные страны, преимущественно в Швейцарию, уничтожали или прятали компрометирующие документы и гото-

вились встретить офицеров американской и английской армий как людей своего класса, не фронтовиков, а экономических специалистов и политических профес- сионалов.

В. Рекерт. Красная Армия достигла 3 февраля 1945 года Одера. Несмотря на это, Гитлер играл свою роль дальше и продолжал бесперспективную борьбу против Красной Армии. Под свою ответственность он затягивал неизбежную капитуляцию. Солдат продолжали сжигать в топке войны. Города рушились, пре- вращались в руины и пепел.

К. Бахман. Идя навстречу поражению, Гитлер и его команда творили пре- ступления — в том числе против собственного народа — во все возрастающих размерах. При отступлении противнику ничего не оставлялось, кроме выжжен- ной земли. Свою собственную гибель Гитлер рассматривал как гибель немецко- го народа, который не стоит того, чтобы продолжать жить. В пресловутом «неро- новском приказе» он указывал: «Все военные, транспортные, промышленные сооружения, сооружения связи и снабжения, а также материальные ценности в рамках территории рейха... подлежат разрушению». Ответственными за уничтожение оставшихся жизненных основ нашего народа были воен- ные штабы и гаулейтеры. Этот приказ был по варварству и враждебности к на- роду самым жестоким среди всех приказов Гитлера.

В. Рекерт. Соответственным было и сопротивление нашего населения «не- роновскому приказу», чтобы спасти оставшиеся основы для выживания в послед- нюю фазу войны. На основании многих городских архивов можно доказать, что рабочие и крестьяне в те апрельские дни 1945 года делали и рисковали боль- ше, чтобы спасти жизненную основу для первых дней мира, чем их хозяева.

«Долой войну — мир любой ценой» — таким было всеобщее настроение народа. Многие тогда отвернулись от фашизма. Впрочем, есть разница между тем, крупная ли буржуазия бросила своего ставленника или трудовой человек начал понимать, что им злоупотребляли Гитлер и его банда.

К. Бахман. Те, кто уполномочил Гитлера, и те, кто пользовался его услуга- ми, — монополистическая буржуазия — отвернулись от политика, который более чем десятилетие вел их дела и длительное время успешно представлял интересы капитала равно как против рабочего класса и других слоев трудящихся, так и против зарубежных конкурентов. Главная же империалистическая внешнепо- литическая цель — победа в войне, «новый порядок в Европе», разрушение Со- ветского государства — не была достигнута. К 1945 году политик Гитлер был для немецкой буржуазии уже использован, стал лишним, злым роком для ее дальнейшего существования.

Человек, который в последние дни апреля, обессиленный и изнуренный, дро- жащий и трясущийся, бродил, как призрак, по лабиринтам бункера имперской канцелярии, был лишь препятствием для финансового капитала, который пытал- ся найти новый исходный пункт для своей политики. Из страха перед судом на- родов Гитлер покончил жизнь самоубийством.

Жизненные интересы народа Гитлер и его партия никогда не представляли даже на мгновение. Презирая простых людей, он использовал их, чтобы сделать из них маленьких соучастников своих больших преступлений. Официальная свод- ка потерь с 1 сентября 1939 года по 20 апреля 1945 года, конечно приглаженная, насчитывает согласно докладной армейского врача верховному командованию сухопутных войск на 24 апреля 1945 года 8 314 950 человек убитых, пропавших без вести и раненых. Потери авиации и флота в этой докладной не учитываются. Миллионы молодых людей были обмануты в расцвете лет, «святейшие идеа- лы», привитые им в нацистском духе, оказались пеной, отбросами человеческих мыслей и ощущений.

В. Рекерт. Многим немцам, прежде всего молодежи, требовались годы, чтобы понять это. Немало из тех, кто внутренне порвал с фашизмом и НСДАП, все-таки были на стороне Гитлера, прямо-таки цеплялись за него в надежде, что они годами преследовали не фальшивые цели, посвятили свою жизнь не самым худшим идеалам. Их воспитали, чтобы видеть в Гитлере человека со сверхъесте- ственными, даже божественными силами. Им вдолбили, что великие люди делают историю по своим планам и своей воле. Фашистские специалисты по

пропаганде вскармливали эту веру в фюрера буквально до последних часов жизни Гитлера.

К. Бахман. Предпринимается попытка ослабить бдительность, снять требование не допустить вновь немецкий фашизм. Причем делается это посредством концентрации внимания на одной личности. Поэтому-то «гитлеровская волна» вновь достигла ныне почти такого же размаха, как и во времена геббельсовской пропаганды. При этом умышленно прячут связь между личностью и общественными условиями, в которых она действует и вообще только и может действовать. Взаимосвязь между фашизмом и монополистическим капитализмом, между экономикой и политикой сегодня пытаются более чем когда бы то ни было затушевать, замолчать или целиком отрицать, будь то у Феста, будь то у Хаффнера («Заметки о Гитлере») или будь то у других буржуазных авторов, пишущих о Гитлере.

В. Рекерт. За этим скрывается страх, что вместе с собственно фашистскими заправилками, с наживавшимися и военными преступниками одновременно будут обвинены те, кто и ныне является могущественным в нашей стране. Что с разоблачением фашизма как формы капиталистического господства вся капиталистическая система будет пригвождена к позорному столбу.

К. Бахман. Когда немецкий народ в 1945 году освободился от фашизма, у него накопился определенный опыт. Он освободился от такой формы господства, которой, если измерить по ее преступлениям и бедствиям, причиненным миру, не было примеров в истории. Немецкий народ служил инструментом и жертвой этой системы. Такой вывод пробивал себе дорогу после мая 1945 года также благодаря деятельности антифашистов и привел к мнению: никогда более мы не должны братья за оружие, никогда более фашизм и милитаризм не должны получить возможность подняться в нашей стране.

Однако вскоре в трех западных оккупированных зонах бывшего рейха вновь зашевелились те, кто не хотел воспользоваться этой истиной. Затуманивание новейшей немецкой истории началось...

В. Рекерт. ...затуманивание исторических фактов и прежде всего выводов, которые должны сделать трудящиеся.

К. Бахман. Эта фальсификация истории цветет ныне горьким цветом. Показательно, что 8 мая 1945 года называют днем капитуляции, будто все немцы в этот день стояли перед одной судьбой: все одинаково виновны и все-таки опять невинны, потому что фашизм будто бы был творением одного Гитлера. Все якобы наравне стояли у руин.

В. Рекерт. Такого национального блюда — айнтопф⁷ — было бы вполне во вкусе Гитлера. Сначала кайзер Вильгельм II, когда он развязал войну, воскликнул: «Я не знаю больше никаких партий, я знаю только лишь немцев!» Когда германский империализм проиграл мировую войну, лозунг звучал так: «Немцы, держитесь вместе». Нацисты выступили с призывом: «Германия, пробудись!» Позднее, когда они подготовили вторую мировую войну, их лозунг звучал так: «Один народ, один рейх, один фюрер».

К. Бахман. Сегодня прошедший свой путь и преобразованный лозунг звучит так: «Держать открытым германский вопрос». Тем самым к экспансионистским устремлениям крупной буржуазии должно быть приковано не только население Федеративной Республики, но за этим скрывается негодная попытка поглотить однажды социалистическую ГДР. За «национальными» фразами в устах буржуазных политиков постоянно кроются только классовые интересы буржуазии. За свои интересы наживы она готова обречь на кровопролитие целые нации, в том числе и собственную.

И в 1945 году, в «час ноль», капиталисты оставались эксплуататорами, а рабочие эксплуатируемы. Война не принесла социального выравнивания. Непреодолимые противоречия продолжали существовать. Из них с необходимостью выростала классовая борьба в послевоенный период. Началась новая глава немецкой истории. Здесь речь идет только о трех зонах западных оккупационных держав. На западе Германии одни — монополисты — стремились к вос-

⁷ В переводе — все в одном горшке; немецкое национальное блюдо, готовится из картофеля, мяса, гороха и пр.

становлению своей власти, а другие — широкие слои народа, КПП, сторонники СДПГ и даже ХДС — хотели уничтожить фашизм с его социальными корнями, то есть отнять власть у монополистического капитала.

В. Рекерт. Таким образом, мы пришли к первоначальному вопросу, к исторической оценке личности Гитлера. Кому служила его «карьеря»?

К. Бахман. Историю вершат люди, общественно действующие люди, которые решают свои задачи в соответствии с соотношением классов. При этом деятельность отдельных личностей может играть большую роль, эта деятельность влияет на судьбы общества по-разному: двигает вперед в смысле общественного прогресса или назад, тормозя ход истории, враждебна свободе и прогрессу.

Личности, свойства их характера или особенности могут придать историческому событию индивидуальный отпечаток. Однако они не могут изменить общее направление событий — оно определяется другими силами. Гитлер, например, не мог сделать ни шагу за рамки данной государственно-монополистической системы, внутри которой он двигался. И он этого не сделал. Его ненависть против рабочего движения происходит из сущности империализма, враждебной всему демократическому. Его стремление к войне и завоеваниям коренилось в агрессивной сущности империализма.

Совокупность его анахронической политики, идеологии и военной политики была авантюристичной, соответствовала общественному строю, который исторически обречен на гибель, пользуется в ненависти к социализму любыми средствами и не останавливается перед любым преступлением. Гитлер не обладал способностью предвидеть исторически неизбежное поражение. Он продолжал политику германского империализма в направлении установления «нового порядка в Европе» и мирового господства вплоть до полной капитуляции. Гитлер и его политика провалились, потому что в наш век у контрреволюции нет долговременных шансов.

Случайные личные особенности Гитлера бросались в глаза больше, чем глубокие общественные причины — как тот факт, что империализм должен был стать на колени перед социализмом. Это произошло бы также, если бы руководители имели другие имена. Гитлер был негативной личностью, антиличностью.

Великие личности обладают особенностями, которые делают их самих способными служить великим общественным потребностям своего времени. Они видят дальше, сильнее желают движения вперед, чем другие, лучше решают задачи, которые ставит в повестку дня развитие общества, берут на себя инициативу решения общественных задач нашей эпохи — эпохи перехода человечества от капитализма к социализму.

Великими в наше время являются те, кто убеждает и вдохновляет народные массы, ведет их и этим более других способствует решению проблем человечества на пути к миру, социализму и коммунизму.

В. Рекерт. Историю сегодня определяет не контрреволюция, а выросшие после Октябрьской революции и окрепшие мировые революционные силы.

К. Бахман. Когда Гитлер «решил» стать политиком, существовало единственное социалистическое государство — советская Россия, которая должна была держаться против мира врагов, владевших пятью шестыми земного шара. Капиталистический строй был, правда, не везде одинаково стабильным, но мог удерживаться против рабочего класса. Самое большое число людей жило в условиях колониального угнетения и зависимости.

В. Рекерт. Когда гитлеровский фашизм был разбит, мир выглядел совсем иначе.

К. Бахман. Социалистическое государство — Советский Союз — внесло решающий вклад в разгром крупнейшей военной машины всех времен, которая служила самым разбойничьим, самым человеконенавистническим целям. Авторитет Советского Союза, КПСС, всего советского народа, его солдат, как и вообще престиж коммунистов во всем мире, никогда ранее не был столь большим, как в те майские дни 1945 года. Фашизм как форма господства монополистического капитализма самым глубоким образом дискредитировал империалистическую систему в глазах народов.

Социализм доказал свое превосходство над капиталистической системой и в военное время. Советский Союз показал и показывает себя непобедимым. Вторая

мировая война, начавшаяся как империалистическая, стала освободительной антифашистской войной, прогрессивной и справедливейшей войной народов антигитлеровской коалиции.

Борьба движения Сопротивления в ее разнообразнейших формах, партизанская война, национально-освободительная борьба в ряде государств перерастали в борьбу за социализм. Всемирно-историческое значение победы Советского Союза состояло, между прочим, и в том, что в ряде стран победила социалистическая революция. Это привело к возникновению мировой социалистической системы, неотделимой составной частью которой является Германская Демократическая Республика. В колониях поднимался народ за народом против империалистических угнетателей. Колониальная система рухнула под ударами борющихся за свою национальную независимость народов Африки, Азии и Латинской Америки.

В. Реккерт. Фашизм вознамерился окончательно искоренить коммунизм. Произошло обратное. Он сам оказался поверженным в прах. Цели и результаты империалистической политики явно разошлись. Это является выражением того факта, что империализм более не определяет в наши дни ход мировой истории.

К. Бахман. С тех пор все более определяющими ход будущей истории человечества в мире являются три крупных революционных течения — мировая социалистическая система, рабочее движение в капиталистических странах и национально-освободительное движение. Революционные перемены в мире не смогла удержать и головная сила контрреволюции — гитлеровский фашизм. Этот исторический процесс можно задержать, ему можно помешать, но не повернуть назад. Он стал необратимым.

В. Реккерт. Буржуазные историографы сожалеют, что Гитлеру не удалось создать антикоммунистический военный фронт. В этом фронте они видят основу для того, чтобы, несмотря ни на что, попытаться еще раз изменить ход истории. Такие мысли питают НАТО и некоторые современные «евростратеги», которые полагают, будто в интеграции капиталистических стран Европы заключается рецепт, позволяющий как-нибудь или когда-нибудь устранить социализм.

Даже во время самого большого территориального расползания нацистской Германии современность принадлежала не фашизму. Кто утверждает обратное, тот хочет отвлечь внимание от действительно направляющих эпоху сил социализма. Лишь тот, кто не видит эту силу, может не увидеть то, что личность и политика Гитлера были обречены на провал. На этом пути фюреру все же приписывается некий вид мистического величия, дабы создать вокруг Гитлера и фашизма некую смесь восхищения и ужаса.

И то и другое в одинаковой мере непригодно, чтобы распознать сущность фашизма и его причины, а также чтобы мобилизовать силы сопротивления против неофашизма и урезывания демократических прав.

К. Бахман. Гитлер несомненно был крупным политическим преступником. Но он работал не на страх и риск, а на благо германского империализма. В конце баланс не сошелся.

Буржуазия выдвинула лишь немного гениальных умов с тех пор, как она находится в исторически уходящей фазе своего развития. Однако дурак во главе германского фашизма вряд ли был в состоянии вынудить мир предпринять такие усилия, которые потребовались для разгрома этого режима в период с 1941-го по 1945 год.

Гитлер познакомился с политическим обликом верхнего социального слоя, в интересах и по законам которого он действовал как политик. Он узнал, что немецкая буржуазия (даже ее высшие и могущественные представители) в ходе ее истории во всех противоречиях и столкновениях с феодальной и позднефеодальной верхушкой, кайзером и князьями всегда смирялась, всегда шла на компромисс. Окольный путь к власти всегда предпочитался открытому полю боя.

Германская буржуазия — в противоположность ее английским и французским «братьям по классу», например, — никогда не осуществляла успешную буржуазную революцию, предпочитала делить власть с крупными землевладельцами, князьями и кайзером. Эта буржуазия — и Гитлер, можно сказать, это учуял — предоставила бы сильной личности, которую она искала для осуще-

ствления своих планов, большой простор для действий, чем какая-нибудь фракция финансового капитала в любой другой стране с иной историей.

Нет вопроса — Гитлер обладал некоторыми свойствами, которые делали его особенно пригодным, чтобы занять в какой-то момент руководящий пост, поскольку германский империализм в рамках одной четверти века во второй раз тянулся к оружию. Глубочайшим образом враждебный людям, лишенный какого бы то ни было гуманизма, он был готов на любое полигическое преступление таких размеров, каким до тех пор не было примера. Эти свойства отражали безграничное моральное разложение класса, которому он служил, немецкой монополистической буржуазии.

Беспощадность Гитлера в отношении политических противников в собственной стране простиралась вплоть до их убийства. Уже в 1933 году фашисты чествовали зачинщиков самосуда и убийц рабочих, а после взятия власти возводили их чуть ли не в ранг героев. У Гитлера не было угрызений совести в отношении миллионов людей, которых нацисты называли «недочеловеками» и уничтожали. Короче: Гитлер был способен на любое преступление.

Разве германские империалисты с 1914-го по 1918 год не пожертвовали миллионами немцев на полях сражений только для того, чтобы усилить свою власть? Преступная сущность Гитлера была доведена до крайней степени преступной сущностью умирающего капитализма; не желая уйти добровольно, он готов использовать любое средство, чтобы сохранить и расширить существующие системы власти и имущественные отношения.

Умереть за «фюрера, народ и отечество», за «великогерманский рейх» — это не было национальной политикой, а, наоборот, противоречило жизненным интересам народа. Те, кто проводил такую политику, действовали самым антинациональным образом. Рейх, выкованный Бисмарком в Версале в 1871 году «железом и кровью» после поражения Франции, лежал 8 мая 1945 года разбитым в прах; он более не существовал. В ходе обеих мировых войн власть имущие в Германии выдавали интересы денежного мешка за интересы нации, которую они всегда предавали. Буржуазия и ее политические представители давно утратили право говорить от имени нации. Эта задача давно выпала на долю рабочего класса.

В. Резкерт. Отсутствию угрызений совести у Гитлера и других нацистских главарей сопутствовала способность бессовестно обманывать своих приверженцев. Своим бесспорным ораторским талантом, своей демагогией и способностью мобилизовать в своих целях самые дурные предрассудки Гитлер умел довести слушателей на своих собраниях до истерического состояния, готовности следовать за ним. Этой способностью обладали и другие нацистские величины, такие, как Геббельс или Геринг, а вообще говоря, все это означает: Гитлер был подходящим главарем немецкого фашизма. Однако в немецкой истории он мог быть и заменен.

К. Бахман. Абсурдно представить, что два человека в одинаковой исторической обстановке реагировали бы полностью одинаково, выдвигали бы одинаковые соображения, приходили бы к одинаковым выводам и так далее.

Если бы Гитлер когда-то умер, что изменилось бы? Фашистская нацистская партия ни в коей мере не утратила бы в связи с этим своего характера империалистической, антикоммунистической и антидемократической террористической организации. С другой стороны, нисколько не поубавился бы интерес реакционных сил немецкой монополистической буржуазии к этой фашистской партии с ее миллионами приверженцев. Социальные силы и интересы, приведшие к уничтожению республики, созданию фашистской диктатуры и с этой целью использовавшие НСДАП и ее руководство, помогли бы найти подходящего преемника Гитлера и укрепиться ему.

В. Резкерт. В лице Германа Геринга, одинаково как жестокого, так и обладавшего хорошими манерами человека, который имел много личных связей в кругах капитала, аристократии и высших военных, а также в лице Грегора Штрассера, руководителя имперской организации НСДАП, в руках которого находился мюнхенский штаб партии, были наготове политики, которые могли бы перенять роль Гитлера. В принципиальных целях фашистского режима ничего бы не изменилось от такой замены, даже если некоторые решения в отдельных ситуациях принимались бы иначе.

К. Бахман. Империалистический политик Гитлер был заменен в любое время, не без трудностей, осложнений, потрясений, но — заменен.

В. Реккерт. Мы рассмотрели вопрос о роли Гитлера в истории и его месте как политика германского империализма. В нем персонифицировалась политическая система, которую породил не он, а сам капиталистический, эксплуататорский строй. Надо было бы еще выяснить, почему именно сегодня вновь всплыла дискуссия о его личности.

К. Бахман. История не имеет такого существенного вопроса, который не касается ныне существующих классов. Ответы даются в соответствии с интересами тех или иных классов. Идеологи капитализма, ставя вопрос о личности Адольфа Гитлера, ищут такой ответ, который по меньшей мере не противоречил бы интересам буржуазии, а еще лучше — содействовал бы им. Главная задача буржуазных исследователей фашизма, следовательно, состоит в том, чтобы замаскировать причинные связи между Гитлером и буржуазией, между фашизмом и империализмом.

Господствующая точка зрения в буржуазной историографии исходит из того, чтобы представить фашизм в лице Гитлера как продукт исторической случайности, а фашизм выдать за его творение, выдать за творение великой личности. Историю отождествляют с личностью. При этом выхолащивают условия возникновения, исторические связи, внутренние отношения между монополиями и фашистской партией. Массовый террор против революционного рабочего движения и антифашистского сопротивления приуменьшается или замалчивается. Гитлер, если не считать «ошибки» в «еврейском вопросе», предстает, собственно, как вполне приемлемый. Сильная личность при еще большей массовой безработице должна быть еще раз рекомендована как подходящий рецепт. Этот вид изображения Гитлера служит подготовке реакционного выхода из кризиса, это в принципе не исключает новую фашистскую диктатуру, хотя антифашисты ныне располагают куда большими силами и возможностями.

Дело вовсе не в отсутствии документов, что якобы ведет к искаженному и в целом неверному изображению Гитлера и фашизма. Неправильное изображение фашизма и Гитлера фабрикуется и будет фабриковаться до тех пор, пока существует империализм. Ведь что могло бы сильнее обвинять империализм, как не его авторство в создании самой преступной политической системы, которую когда-либо знала история? Однако так же, как фальсификация фашизма служит защите монополистического капитала, так и правда о фашизме помогает атаковать его позиции.

В. Реккерт. Мы, марксисты, — и в этом смысл нашей беседы — хотим изучить историю, чтобы уметь оценить наши собственные силы, понять нашу историческую задачу и смочь лучше бороться против нашего противника — империализма. В ходе нашей дискуссии мы уже провели различные параллели с нынешними условиями.

В эти дни неофашисты проводят интенсивную мобилизацию в пользу своей политики. Речь идет о «сильной личности», в которой нуждается наша страна, чтобы выйти из кризиса. Урезаются демократические права. Ведущие круги буржуазии хотят осуществить в нашей стране поворот вправо.

К. Бахман. Осталось еще выяснить также и то, почему нет опасности развития вправо в ГДР. Вроде бы даже абсурдно и спрашивать, есть ли там беспокойство по поводу возрождения фашизма или неофашизма.

Ни один из народов Европы, подвергшихся нападению Гитлера, не чувствует угрозы со стороны ГДР. Такие вопросы касаются исключительно Федеративной Республики. Что было тому причиной?

День освобождения от фашистского ига 8 мая 1945 года был одновременно днем безоговорочной капитуляции вермахта и разгрома фашистского немецкого государства — третьего рейха на всей территории Германии. Чтобы обеспечить мир в Европе в послевоенный период на долгое время, главные державы антигитлеровской коалиции — Советский Союз, США и Англия — пришли в Потсдамских решениях к согласию управлять страной по единым принципам в четырех оккупационных зонах (включая французскую). Решающая задача заключалась в том, чтобы уничтожить милитаризм и фашизм, распустить все их организации и ликвидировать тех, кто давал задания Гитлеру, — концерны, тресты и

монополии — покарать за преступления против мира и человечности и тем самым открыть немецкому народу демократические перспективы.

Исходное положение было тогда одинаковым во всех четырех зонах. Был ли использован этот шанс? В ГДР, тогдашней Восточной зоне, решения были последовательно выполнены в соответствии с этим международным соглашением. Была конфискована — по решению народа — собственность монополистов, военных преступников и крупных землевладельцев, предприятия переданы в собственность народу, земля передана для пользования крестьянам.

Так были ликвидированы в ГДР на вечные времена общественные корни, породившие фашизм, — равно как и его духовные пережитки. В нашей стране эту исторически необходимую задачу по преодолению и ломке власти монополий еще предстоит решать.

Между социалистической ГДР и капиталистической Федеративной Республикой, несмотря на различный общественный строй, теперь установлены договорные отношения, которые позволяют и могут облегчить мирное сосуществование. В договорах с СССР, ГДР, ПНР и ЧССР Федеративная Республика признала в международно-правовой обязующей форме суверенитет всех государств в Европе в их сегодняшних границах.

В договоре с ГДР в статье 3 подтверждается «неприкосновенность границ теперь и в будущем». Равным образом в хельсинкском Заключительном акте объявлены неприкосновенными существующие европейские границы.

Строгое соблюдение этих договоров служит миру в Европе. Однако наша история заставляет напоминать о том, что гитлеровская Германия ставила под вопрос существующие границы и суверенитет государств Европы и этим вызвала вторую мировую войну.

Новые реваншисты теперь пытаются, хотя и с различным обоснованием, поставить под вопрос существующие договоры и послевоенные границы. Исторический опыт должен был бы охладить этот пыл. Демократические силы нашей страны призваны предпринять все необходимые усилия, чтобы мы соблюдали существующие договоры и границы с нашими соседями — социалистическими государствами, чтобы не допустить никакого нового национализма и шовинизма, энергично отбросить все идеи реванша и выступать в интересах мира в Европе, за неограниченную верность договорам. Это отвечает жизненным интересам нашего народа и народов Европы, с которыми мы хотим жить в духе хорошего добрососедства, на Востоке и на Западе.

«ЗА РОСПУСК ЭСЭСОВСКИХ СОЮЗОВ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ЛЮБОЙ НАЦИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ»

Мы, собравшиеся здесь, в Кельне, 22 апреля борцы Сопротивления и жертвы нацистского режима из всей Европы, объединенные верностью идеалам, которые вели нас на борьбу за освобождение народов от нацистского варварства, и памятью о миллионах убитых нацистским режимом мужчин, женщин и детей, обращаемся со всей решительностью против все чаще проводимых мероприятий бывших эсэсовцев в Федеративной Республике Германии и других странах, против мероприятий, которые представляют собой глумление над памятью их жертв.

Эсэсовские союзы осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге за преступления против человечности, их возрождение запрещено межсоюзническим соглашением от 1945 года, их деятельность противоречит конституции Федеративной Республики Германия и законам многих стран.

В нарушение этого соглашения эсэсовские формирования вновь конституировались в союзы, носят военные и походные знаки их старых соединений. Их цель — поддержание военных традиций гитлеровского режима, приукрашивание его фюрера и реабилитация военных преступников.

Они настолько бесстыдны, что отрицают преступления, совершенные нацистами в Германии и оккупированной Европе. Они пытаются приуменьшить размеры нацистского геноцида, уничтожение миллионов узников концентрационных лагерей в газовых камерах, они фальсифицируют историю, клеветуют на движение Сопротивления и силы антигитлеровской коалиции, целью которой было освобождение народов, включая немецкий народ, от ига нацистского варварства. Они хотят реабилитировать

нацизм, что означало бы угрозу нашей свободе и свободному будущему нашего континента.

Происки бывших эсэсовцев, их провокационные мероприятия и их международные связи подбадривают неонацистские и расистские группировки, которые совершают террористические налеты в Федеративной Республике Германии и во многих других странах на помещения демократических и антифашистских организаций, на европейские памятники и кладбища, памятные места движения Сопротивления и депортации, а также на бывших борцов Сопротивления и переживших нацистский ад. Этим они способствуют созданию атмосферы насилия и неуверенности.

Союзы бывших эсэсовцев вредят в первую очередь Федеративной Республике Германии, ее населению и ее молодежи, которая осуждает нацистское прошлое. Они являются препятствием для подлинного примирения с народами, которые были жертвами нацизма, и мешают мирному сотрудничеству между всеми европейскими государствами.

Мы собрались сегодня в Кельне, чтобы в соответствии с действующими законами и договорами, а также резолюциями ООН о наказании военных преступников и осуждении нацистской и расистской идеологии потребовать:

ропуска союзов бывших эсэсовцев;

пресечения любых нацистских происков и пропаганды.

Мы вновь заверяем немецкий народ, который также тяжело пострадал при нацистском режиме, что нашим желанием является борьба без ненависти и помыслов о мести за сближение между всеми народами и за мирное сотрудничество, которое уважает безопасность и независимость каждого отдельного народа.

Будем же содействовать тому, чтобы преодолеть проклятое прошлое и создать счастливое будущее в мире и дружбе между всеми людьми» (заявление 84 участвовавших союзов из всех стран Европы по случаю международной манифестации 22 апреля 1978 года в Кельне).

Резолюция очередного, 11-го федерального конгресса Объединения немецких профсоюзов, Гамбург, 26 мая 1978 года:

«Объединение немецких профсоюзов с озабоченностью следит за вновь усиливающейся деятельностью неонацистских групп в Федеративной Республике. Профсоюзы считают себя и в дальнейшем обязанными активно бороться против неонацистской деятельности.

ОНП и его профсоюзы настойчиво требуют:

полного использования всех правовых возможностей для борьбы с неонацистскими организациями и акциями;

запрета неонацистских пропагандистских материалов (печатных изданий, плакатов, фильмов);

особого учета роли фашизма в немецкой истории и неонацизма в печати и общественной работе правительств и парламентов, а также в профсоюзных публикациях;

обязательного разбора проблем фашизма на уроках истории и политики во всех школах.

ОНП и входящие в него профсоюзы будут неизменно бороться против неонацистских сил.

Деятельность профсоюзов в этой области также необходима, чтобы информировать, особенно молодежь, об опасности фашизма и тем самым воспрепятствовать вводу в заблуждение другими политическими группами в ходе борьбы против неонацизма».

Перевел с немецкого А. ГРИЩЕНКО.



ПУБЛИЦИСТИКА

МИХАИЛ САДОВЯНУ

★

О ВСЕМИРНОМ ЗНАЧЕНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В день окончания Великой Отечественной войны Михаил Садовяну выпустил книгу под названием «Свет идет с Востока». Заметки Михаила Садовяну о всемирном значении русской классической и советской литературы опубликованы тридцать два года назад, в 1948 году. Великий писатель, живой классик румынской литературы, авторитет которого среди писателей и читателей был непререкаем, в общедоступной, популярной форме рассказывал своему недавно освободившемуся от фашизма народу правду о культуре и литературе Советской страны.

Романы, повести и рассказы нашего большого друга Михаила Садовяну, чье столетие со дня рождения отмечается в этом году (умер он 19 октября 1961 года), издавались в СССР неоднократно. Публикуемая ниже работа печатается на русском языке впервые. При переводе сделаны незначительные сокращения.

Еще в годы литературного ученичества, еще в старших классах лицея я понял, что главным источником моего творчества, моей работы всегда будет великая любовь к родному народу, румынскому пейзажу. Однако не та любовь, что готова принять свое только потому, что оно свое, и ненавидеть чужое только потому, что оно чужое. Читая русскую литературу, я ощутил, насколько мне близок патриотизм русских писателей. Их горячее стремление бороться во имя идеалов гуманизма. Для них счастье родины означало счастье народа, а врата к этому счастью можно было открыть, только устранив эксплуататорское меньшинство.

Еще Гьорький отмечал, что, несмотря на ярко выраженную индивидуальность каждого из писателей России, их объединяла постоянная забота о будущем родины, о судьбе народа на земле. Великий пролетарский писатель справедливо высоко оценивал общественную роль русских писателей, видя в них честных борцов за правду, отдающих все силы тому, чтобы сеять в народе разумное, доброе, вечное. Художники России чувствовали свою кровную связь с народом, и шовинизм был им всегда чужд. Они считали его позорным явлением.

Русская литература XIX века принесла всему европейскому миру мощный поток благородных чувств, великодушие, оказала огромное влияние на интеллигенцию того времени. В основе большинства произведений, шедших с этого удивительного Востока, лежали серьезные социальные и моральные проблемы. В те далекие годы моей юности я зачитывался произведениями Толстого, Гоголя, Достоевского, Тургенева. Помню, как глубоко взволновали меня «Обломов» Гончарова и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрин. А роман «Что делать?» Чернышевского буквально потряс. Я и мои ровесники с глубочайшим восхищением и уважением произносили имена Герцена, Белинского, Добролюбова.

Удивительно, что такая животворная и «неспокойная» литература возникла в стране жестокого царского террора. После восстания декабристов Сибирь ока-

залась для многих просвещенных людей могилой — местом их гибели или предания забвению.

Но, может быть, именно это жестокое подавление революционных мыслей и действий стало сильнейшим возбудителем благородных порывов. Героическая преданность идеалам революции умножала силы борцов, и писатели были в их первых рядах. Передовые люди Западной Европы с восхищением взирали на это.

В царской России прогрессивные художники, пламенные патриоты горячо поддерживали революционеров, марксистов, освободительную борьбу других народов.

Все это подготовляло духовные условия, благодаря которым после победы Октябрьской революции Россия из тюрьмы народов превратилась в единую братскую семью, в которой расцвели творческие силы больших и малых народов.

В годы моей молодости блестяще вошел в европейскую литературу Максим Горький. Его произведения были переведены на множество языков. В самом начале XX века и у нас в Румынии появились в журналах и газетах многочисленные переводы горьковских рассказов, пьес. Благодаря им европейский мир лучше узнавал подлинную действительность России того времени, душу ее многострадального народа.

Характерным для классиков русской литературы является не только их отмежевание от царизма, но и активное проявление симпатий к обездоленным и угнетенным, к чему призывал писателей еще Белинский. И призыв великого критика нашел свой отклик, в частности, в таких бессмертных шедеврах, как «Записки охотника» Тургенева, «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Севастопольские рассказы» Толстого.

В западной эстетике до конца XIX столетия сохранялись предрассудки, в силу которых в литературе якобы должны главенствовать «исключительные» персонажи, потомки богов, героев греческой мифологии. Западные эсты отрицали возможность литературы, главными героями которой являлись бы плебеи — крестьяне, рабочие. В драматургии и прозе им отводилась скромная и подчас унижительная роль чудаков, простаков — одним словом, комических персонажей, смешивших публику своей хитростью либо глупостью. Даже в произведениях Бальзака, Золя и Мопассана крестьяне не поднимаются до уровня истинно положительных героев.

Классики русской литературы освободили простых людей от такого высокомерного отношения к ним. Отступив от иерархии, узаконенной старыми традициями, русские писатели стремились глубже раскрыть богатый духовный мир и высокие моральные качества людей из народа, показать крестьян, обладающих интуитивным чувством правды и справедливости, человеческим достоинством.

Как известно, великий Горький — приверженец Октябрьской революции, друг Владимира Ильича. Семена, из которых взошла и расцвела советская литература, были заложены в плодородной почве пролетарской революции. Новая литература неразрывно связана со всеми этапами развития первого социалистического государства в мире и является художественной хроникой этих этапов.

В западной литературе нашего века немало произведений, отмеченных печатью безнадежности, тоски и пессимизма. И здесь тоже, хотя и на свой лад, обнаруживается связь между писателями и средой, которая породила и выдвинула их. Буржуазной средой.

Литература нового мира развивалась в совершенно иных условиях, а именно в атмосфере мирного созидания. Героям этой литературы чужды настроения безнадежности. Они преисполнены любви к жизни, во имя которой готовы на любые подвиги. От «Тихого Дона» и «Чапаева» до «Молодой гвардии» советская литература развивалась всесторонне и ярко, продолжая служить высшим интересам общества и социалистического государства. Эта литература отличается оптимизмом, свойственным обществу, которое породило ее. Беспредельно преданные высоким идеалам социализма, вдохновляемые благородными целями, герои этой литературы добиваются побед в жизни.

Скоро советские писатели уже не будут иметь вокруг себя живых героев прошлого. Даже те, кто были еще детьми в дни Великого Октября, ныне сами отцы семейств. Нынешние поколения молодых граждан СССР росли и воспитывались

вались в условиях победившего социализма. Литература Советского Союза отражает все особенности этой новой, замечательной смены. Произведения советских писателей являются в этом смысле живым примером для их собратьев из стран, недавно избавившихся от ига угнетателей и эксплуататоров.

Капиталистическое общество в своей сегодняшней стадии господства монополий и корпораций недалеко ушло от великих империй прошлого: с одной стороны, незначительное меньшинство, владеющее сказочными богатствами, с другой — нищета многомиллионных масс. И это общество прославляет свободу, но какую? Свободу одних угнетать, поработать и эксплуатировать других. Подобная профанация демократии не могла не породить явления гангстеризма во всех сферах жизни.

По сути, между средствами подавления демократических сил, используемыми главами монополий и главарями банд, почти нет разницы. Гангстеры также объединяются, выносят приговоры, в том числе и смертные. Они стали грозной силой, и благодаря коррупции, господствующей в капиталистическом обществе, им частенько служат полиция, судьи...

В романе «Цитадель» английский писатель Кронин, ставший очень популярным в последние годы, например, рассказывает, как врачи и аптекари в целях наживы, стараясь выжать как можно больше денег у своих клиентов, действуют бесчестно, превращая науку в источник незаконных доходов. В таких условиях владельцы похоронных бюро могли бы поощрять денежными дотациями подобных учеников Эскулапа.

По контрасту с этим вспоминается роман Веры Пановой «Спутники», герои которого, люди науки, врачи, принадлежат, по сути, к тому же кругу, что и персонажи романа Кронина. В тяжелейших условиях войны советские врачи до конца выполняли свой долг. Врач Белов отдает все свои знания и силы облегчению страданий людей. Правда, его работу подчас затрудняют бесплодность одних его сотрудников или эгоизм других. Но ценой немалых усилий все трудности оказываются преодоленными, ибо в мире социализма, где живет советский врач Белов, махинации, описанные Кронином в «Цитадели», расцениваются как преступление. В романе Веры Пановой читатель знакомится еще с одним врачом, Супруговым, который, несомненно, мог бы превратиться в труса и подонка, если бы его не сдерживали законы нового общества, если бы вся атмосфера окружающей его жизни не заставила подчиняться принципам долга и чести.

Советская литература постоянно борется за утверждение новой морали, за торжество благородных идеалов социализма, выполняя тем самым свой высокий общественный долг.

Пройдет время, и тяжелое прошлое исчезнет. Ленин говорил: «Внуки наши, как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости... До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети»¹.

Слова Ленина находят практическое воплощение в делах советских людей, возводящих замечательное здание коммунизма. Литература СССР внимательно следит за процессом развития нового человека, отмечая достоверно и с большой любовью его великие дела, рассматривая нового человека как самое ценное достижение социалистического строя.

Внуки, о которых говорил Ленин, будут с удивлением читать в документах нынешнего времени о том, что империалистические монополии стремились достичь военного превосходства с помощью величайших достижений науки — использования ядерной энергии, с помощью бактериологического оружия. Это, безусловно, преступные планы.

Если говорить о социальной роли советской литературы, нельзя не отметить, что рост культурного и общеобразовательного уровня населения Советского Союза привел к резкому расширению круга просвещенных читателей. Прогресс нового общества сопровождался прогрессом литературы. Если в первые

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 325.

годы были созданы произведения, которые выполняли свою роль, что называется, на данном этапе, то позже советская литература обогатила всемирную сокровищницу культуры произведениями, неподвластными времени.

Следует отметить, что тесная связь с народом и высокая миссия писателей в социалистическом обществе накладывает на них особую ответственность, пожалуй не меньшую, чем на государственных деятелей.

Какими далекими кажутся в наших условиях тяжелые времена нищеты и прозябания! Сколько гениальных представителей искусства и литературы были унижены и обездолены! Ныне писатель посвящает свой талант творчеству на благо народа, что отвечает подлинному призванию художника, его роли на земле. Значительными произведениями советской литературы являются «Чапаев», «Железный поток», «Тихий Дон», «Как закалялась сталь», «Поднятая целина», «Повесть о настоящем человеке» и другие. Это произведения активных борцов нашей эпохи, но по своей художественной ценности они не знают границ времени и пространства.

Октябрьская революция 1917 года, победившая под руководством гениального Ленина, смогла создать самые благоприятные условия для творчества писателей, подняв как никогда в истории значение и роль талантливых творцов литературных ценностей и резко повысив влияние литературы как большой общественно-политической силы.

Так литература становится активным фактором социального прогресса, а ее представители — бойцами фронта идеологической борьбы.

Я вспоминаю Илью Эренбурга, посетившего нас несколько лет назад. Я познакомился с ним в Бухаресте. Мы вместе поехали в Болгарию, где нам показали замечательные исторические памятники прошлого этой страны, познакомили с ее сегодняшним днем, с ее трудолюбивыми людьми, строящими светлое здание будущего. Илья Эренбург произвел на меня впечатление типичного представителя советских писателей — активного борца, человека с острым, ироничным пером, разящим словно меч; человеком, готовым, как и его герои, отдать всего себя делу победы над врагом.

Этому примеру беззаветной борьбы до победного конца должны следовать и мы, румынские писатели. Сжигая в очистительном пламени старые предрассудки, мы направим всю силу нашего дара на служение новой жизни.

Народ Советской страны, неоднократно удивлявший мир на протяжении своей истории начиная с побед над завоевателями, шедшими с востока или с запада, создал первое социалистическое государство, простирающееся до Тихого океана, государство, в котором гармонично разрешены вопросы не только социальные, но и национальные.

Глубоко закономерной была и победа славных советских войск во второй мировой войне, положившая начало новой эре в истории человечества.

Перевел с румынского М. РОЗЕНФЕЛЬД.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 100-летию со дня рождения Александра Блока

Столетие Александра Блока — славная дата в жизни нашей культуры, широко отмечаемая и у нас в Советской стране и за рубежом.

Своей многомиллионной аудиторией Блок воспринимается как одно из вершинных явлений русской и мировой поэзии, художник пронзительной искренности, неповторимого певческого гара, острейшей отзывчивости на запросы, тревоги, исторические чаяния своего народа. С именем Блока для нас связано представление о всепобеждающей правде Великого Октября, на которую не мог не откликнуться сердцем, не увидеть в ней важнейшей правды эпохи художник столь обостренной социальной чуткости, столь верный традициям русской демократической культуры.

Призывы Блока к интеллигенции «слушать музыку революции», его бессмертная поэма «Двенадцать», насквозь проникнутая ощущением державной поступи революции, остаются для нас ярким примером гражданственности в искусстве, верности художника своему долгу перед народом и историей.

Ниже мы публикуем ряд материалов о жизни и творчестве поэта.

ИМАНТ ЗИЕДОНИС,
народный поэт Латвии

★

ПУТЬ ПОЭТА

Думаю: действительно, почему я переводил именно поэму «Двенадцать»? почему не стихи — самые драгоценные, неуловимые, почти нематериальные его вещи? почему я стал переводить не очень типичную для его стиля эту четкую (и все-таки удивительно чуткую), эту жесткую по своей фактуре поэму? Сугубо грубая материя, пахнет силой, порохом и волей, верой и насилием.

И почему я переводил лирические стихи, именно лирические стихи Маяковского? Почему не большие политические поэмы? Ведь Маяковский — трибун, Маяковскому лирика будто бы совсем несвойственна.

Наверное, меня интересовало то, что называется пограничной ситуацией. Поэт на границе, на линии новых возможностей, на самой отдаленной точке своих способностей. Его поэтическое амплуа. Крайние точки широкоугольного зренья. Правда крайностей. Его творческие муки и творческая мука между двумя жерновами — между стабильным, хрупким, личным и личностным нижним и находящимся в непрерывном движении, актуальным, историческим и злободневным верхним.

Мне хотелось понять, почему А. Блок, поэт сугубо «нижнего камня», заинтересовался «верхним камнем», его «осознанную необходимость». Но вот несколько размышлений Блока по поводу «нижнего камня»:

«...мысли и впечатления, увы, часто противоположные моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда — просто ненавидеть «ин-

теллигенцию». Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом и его вышвырнут — скоро, жестоко и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа?»

Это 1917 год. 21 июня. Петроград. «Нижний жернов» Блока запротестовал против своего абсолюта.

Читаю его письма жене. Письма жены ему. Поэмы «Двенадцать» еще нет, но есть уже предчувствие этой поэмы.

1917 год, 17 апреля, Л. Д. Менделеева-Блок: «Мне очень беспокоино, и я хотела бы с тобой быть, помочь тебе в это головоломное время... Теперь я уже боюсь, чтобы ты оставался здесь — ведь грозят ленинскими действиями многие рабочие...»

1917 год, 3 мая, Ал. Блок: «Как ты пишешь странно, ты не проснулась еще. Уезжая отсюда, ты мне писала об угрозах ленинцев. Неужели ты не понимаешь, что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах».

1917 год, 8 мая: «В кратких словах: я один из 3-х редакторов Чрезвычайной следственной комиссии, хожу в Зимний дворец, читаю письма Николая Романова, работаю дома и должен работать, соблюдаю тайну. Надеюсь присутствовать на допросах».

1917 год, 28 мая: «Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась все-таки иначе; твоя точка зрения — несколько обывательская, надо подняться выше».

...Нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного».

Эти цитаты не новы, наверно, не первый раз употреблены в разных целях. Моя цель: доказать (во-первых, себе) красоту диффузии истории и личности, убедиться, как важны эти сливания и переливания. Потому и переводил Блока «Двенадцать», посмертную поэму Вл. Луговского, потому интерпретировал — «переводил» в эссеистической форме драмы Райниса «Илья Муромец» и «Играл я, плясал», потому сейчас перевожу «Гильгамеша».

Неумная позиция для поэта считать, что му́ку твою и муку́ твою молотит только один «жернов». Как нелепо жить только одним «камнем», даже если он твой основной. Тем более нелепо жить только одним «верхним жерновом», одним «верхним камнем» актуальности. Поэт — то зерно, которое осознает необходимость мельницы. Вот триполярная диалектика мельницы: Я — Зерно, Верхний Жернов и Нижний Жернов. Это путь творческого человека, эволюциониста, который совестливо, умно и благородно старался, хотел и сумел осмыслить жернов революции.

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ

★

ВЕЧНЫЙ ЮНОША

Блок, чье столетие мы празднуем в эти дни, был вечным юношей. Другого возраста для себя он не знал и знать не хотел. Даже детство было для него ожиданием юности, ее предвкушением. «С раннего детства, — пишет в «Автобиографии» тридцатипятилетний Блок, — я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад».

Ребенку снится юность. Перед будущим поэтом, как волны, проходят основные мотивы его лирики: тут и свежесть, и молодость, и влюбленность, тут и вечная его зоря, и вечный блоковский «соловьиный» сад, и его вечное «снится», ибо творческие сны были для него предметом гордости, основанием для самоуважения. «Что пока — я? — запишет он в 1911 году. — Только — видел кое-что во снах и наяву, чего другие не видели».

Добавим, что стихи Полонского называются «Качка в бурю», юность снится их герою в момент кораблекрушения, разгула стихии. Вся поэзия Блока будет создана в эпоху великих мировых катаклизмов. Все сны, и ужасные и прекрасные, приснятся ему в бурю.

В отличие от героя Полонского, которому снится прошлое, ушедшее, мальчику Блоку в этих стихах грезилось будущее. Так будет с ним всегда. У Блока даже прошлое «страстно глядится в грядущее», для него «человек — есть будущее». Вот какое удивительное, пророческое «запечатление», используя термин современной науки, произошло с поэтом в раннем детстве.

«Снится мне: я свеж и молод», — шептал мальчик слова старого поэта, ибо юность свою, вечную свою поэтическую юность, он получил еще в детстве от стариков — Тютчева, Полонского и особенно Фета, изобразившего в своих «Вечерних огнях» вместо старости забытую, вновь пережитую юность.

Идут года. Блоку скоро двадцать два. Это конец «календарной» юности, дальше она уже называется просто молодостью. И снова отзвуки детства, грезящего о юности, снова интонации Полонского:

Сны раздумий небывалых
Стерегут мой день.
Вот видений запоздалых
Пламенная тень.

«Пламенная тень» почти не уступает «роскошному холоду», не правда ли? И опять, но иным, чем у Полонского, размером:

Я и молод, и свеж, и влюблен...

Теперь уже он сам частица дивного сада, напоминающего «гулистан» восточных поэтов, он зеленеющий клен (предчувствие есенинских кленов), он шептывает «таинственный сон» Ей, размечтавшейся в его зеленой тени.

Прошло еще десять лет. Давно уже сказано им, что «все миновалось, молодость прошла», уже прогремели одна из тех трех войн и одна из тех трех рус-

ских революций, которые ему довелось пережить всем своим существом. И снова, с интонациями того же навсегда запечатлевшегося стихотворения Полонского — стихи о малом ребенке, которому снится юность:

И пора уснуть, да жалко,
 Не хочу уснуть!
 Конь качается качалка.
 На коня б скакнуть!

 Раз-два, раз-два! Конник в латах
 Трогает коня
 И манит и мчит куда-то
 За собой меня...
 За моря, за океаны
 Он манит и мчит,
 В дымно-синие туманы,
 Где царевна спит.

Но и через десять лет после юности он с нею не расстался:

И вновь — порывы юных лет,
 И взрывы сил, и крайность мнений...

Все удалось сохранить за исключением одного:

Но счастья не было — и нет.
 Хоть в этом больше нет сомнений!

Но опять, «как в годы юности, не знаю бездонных чар твоей души», опять —

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
 Молодеет душа.

И опять —

...напев заглушенный и юный
 В затаенной затронет тиши
 Усыпленные жизнью струны
 Напряженной, как арфа, души.

Мало того что неизвестно, какой ценой, может быть ценою счастья, он сохранил свою вечную юность. Он уверен, что и впереди ничего, кроме юности, не будет и не должно быть. Ведь нужно всего лишь услышать «звук», «напев», покориться ему — и душа снова молода.

Зрелость, взрослость для него в 1912 году всего лишь переходный возраст, «опасные годы», угрожающие потерей юности. Он так и пишет:

Пройди опасные года.
 Тебя подстерегают всюду.
 Но если выйдешь цел — тогда
 Ты, наконец, поверишь чуду.

«Взрослые», по его мнению, «не мудры и не просты», как подростки («Отрочески немудра», — бросает он мимоходом). Они не только терпят то, что ненавистно юности, — «старую скуку», как несчастные гимназисты, но и умножают ее. Ни одним атомом не хотел поэт принадлежать этой «старой скуке», подражать которой, как сказал он в 1905 году, «чистым детям — неприлично». В «Исповеди язычника», уже после Октября, Блок с ужасом вспомнил свое отрочество, эту роковую встречу «взрослых» с подростками, когда «дети быстро развращались» от «свирепого», неодухотворенного учения, ибо «во многих свежих сердцах можно было, при желании и умении, написать и начертать что угодно».

В 1908 году он даже проклял свои книги, в будущей славе которых имел уже тогда, в двадцать семь лет, все основания не сомневаться, только за то, что «какой-нибудь поздний историк», написав о нем «внушительный труд»,

...замучит, проклятый,
 Ни в чем не повинных ребят
 Годами рожденья и смерти
 И ворохом скверных цитат.

А что же там, за «опасными годами» зрелого возраста? И в 1912 году Блок отвечает:

«Но в старости — возврат и юности, и жара...» —
Так начал я...

И пусть неведомый джентльмен-собеседник призвал поэта смириться, пусть жизнь «под этим деловым, давно спокойным взглядом» на миг представилась ему «гораздо проще» — вечный юноша так и остался при своем убеждении.

И все, что он в жизни любил, непременно должно было быть юным. Он любил Россию. Но не мог, как все люди, назвать родину матерью. Ведь он слишком конкретно ощущал себя юношей, а мать у юноши никак не может быть юной. Лишь однажды, в стихотворении «Коршун», он изобразил Россию как мать, «в красе заплаканной и древней», но и тут она лелеяла младенца, то есть была юной матерью. Родина для Блока — это блеснувший в дорожной дали «мгновенный взор из-под платка», а остальное («Там старушкой прикинешься ты») — наваждение, мираж. Не отсюда ли загадочное, давно смущавшее меня:

О, Русь моя! Жена моя!

Жена — то есть олицетворение молодости, здоровья, любви. Родина вечно молода, и потому «невозможное возможно», иначе он жить не может. А еще Россия — невеста, хоть на сей раз вместо белоснежной фаты украшается она терриконами угольных шахт:

Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Он любил народ. Он не мог жить без тех, кого римляне называли плебсом, а аристократы — обществом низших по сравнению с ними, вульгарным. «Мелешь без людей, без vulgus'a», — записывает он.

В народе вечно живет и возрождается главное для него, поэта, — музыка, песня:

В толпе все кто-нибудь поет.

Он любил человечество, человека. А если так, то никем, кроме юноши, человек для него быть не может. «Так пел человека еще Софокл, — замечал Блок, — таков он всегда, вечно юный...»

Он любил революцию. Он не просто приветствовал Октябрь — он стал его живой, мятежною и созидающей частицей. И, конечно же, революция была для него не только олицетворением юности, но и самой юностью. Недаром в письме Ю. Анненкову, иллюстратору «Двенадцати», он, восхищаясь рисунками, попросил художника, чтобы у всех героев его революционной поэмы были не «старые» рты, как показалось Блоку, а молодые, — революция была для него юной даже в мельчайших мелочах. Молодыми ртами, юными голосами было сказано сквозь вьюгу:

Шаг держи революционный!
Влизо́к враг неугомонный!
Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

В написанной одновременно с «Двенадцатью» статье «Интеллигенция и революция», той самой, в которой он призвал всех слушать музыку революции, Блок, говоря вроде бы совсем о другом, пожалуй, наиболее подробно изложил свой кодекс вечной юности, который выработывал всю жизнь. «Перед е л а т ь все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

Уже не разберешь, о юности, или о революции, или о той и другой сразу: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь **отдаст** нам это, ибо она — **прекрасна**».

Вот они, заветнейшие убеждения Блока, вот те слова, которые он жаждет положить на музыку революции, слова о вечной юности. Слова, которые сказаны юным голосом зрелого человека.

Искусство он любил больше жизни. И, конечно же, для него оно не только вечно юно, но и чуть ли не в любую минуту готово и способно вернуть юность усталому сердцу:

Сердце ждет.
Только тронь его голосом юным —
Запоет!

Это же подтверждается дневником. Блоку тридцать восемь. Запись от 8 декабря 1918 года: «Весь день читал Любе Гейне по-немецки — и помолодел».

Я уж не говорю о любви к женщине. Возлюбленная — всегда Вечно Юная. «Только влюбленный имеет право на звание человека».

И наконец, юность роднит всех людей. Вот что он мимоходом обронил в «Возмездии»:

С людьми его еще тогда
Улыбка юности роднила.

Значит, чтобы утвердить всечеловеческое братство и мир (на меньшее поэт не соглашался), нужно сберечь улыбку юности навсегда и у всех.

«Муза в уборе весны постучалась к поэту», — написал он в семнадцать лет. Он был земным царем, она — вечно юной посланницей неба. Отлетая с первым лучом зари, она оставила в кудрях юноши желтую розу (потом он напишет: «Влюбленность расцвела в кудрях»). И напророчила:

Пусть разрушается тело — душа пролетит над пустыней,
Будешь навек печален и юн, обрученный с богиней.

Так прожил он всю жизнь печальным юношей. Но мечтал-то он («...мы путь расчищаем для наших далеких сынов») о «веселом юноше», который в грядущем скажет о нем, об Александре Блоке:

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Для этого-то веселого юноши он и работал. Для него создавал и осуществлял свой поэтический кодекс вечной юности.

Блок считал, что новый век, как бы экспериментируя, создает новых людей, в которых причудливо смешаны черты психики мужской и женской, а также, добавим, детской и стариковской, ребяческой и «взрослой», отроческой и юношеской. «Культура, — писал он в 1912 году, — как бы изготовила много «проб», сотни образцов — и ждет результата, когда можно будет сделать средний вывод, т. е. создать нового человека, приспособленного для новой, изменившейся жизни».

Видимо, и себя самого он сознавал небывалым, экспериментальным образцом человека, которому дважды, в раннем детстве и в ранней молодости, привили вечную юность, юность, так сказать, в чистом виде, без примесей. И он уверенно вел свой опыт, всегда ставя точные даты и безжалостно фиксируя все отклонения и ошибки (он называл их изменами), опыт во имя грядущего:

Лелей, пой, таи ту новь,
Пройдет весна — над этой новью,
Вспоенная твоею кровью,
Созреет новая любовь.

И. РОДНЯНСКАЯ



МУЗА АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Не называйте поэтов пророками, потому что этим Вы обесцените великое слово. Достаточно называть их тем, что они есть,— поэтами.

Из письма А. Блока О. А. Кауфман, 1916 г.

Такие поэты, как Блок, рождаются накануне великих перемен — когда их родина вступает на новую дорогу, тесно связанную с судьбами остального человечества. Они приходят, с тем чтобы вобрать в себя культурные, нравственные, исторические усилия многих деятелей, возвести их, как говорили в старину, «в перл создания», наложив отпечаток своего личного дара, сохранить от распыления и утраты и ввести в будущее. Сразу и завершители и зачинатели, они соединяют времена, рано или поздно сами становятся символами и увенчиваются народной благодарностью.

Пришла пора сказать, что Блок для нас равен Пушкину по жребию культурного рождения и национального призвания. Это понимали уже те его современники, которым в начале 20-х годов выпало на долю первым оценить масштаб явления Блока. В одной замечательной статье, написанной спустя год после смерти поэта, вот как определялся его жизненный подвиг: «Открыть для поэтического слова Россию XX века так, как Россия конца XVIII и начала XIX уже была однажды открыта в прошлом».

«Пушкинское» положение Блока удостоверяется простыми средствами глазомера. С середины прошлого века по наши дни Блок стоит как бы в центре поэтического притяжения, стяжения. В нем воскресли и подали друг другу руку поэты гениальные — Некрасов и Фет. В нем нашли свое совершеннейшее художественное оправдание дивные «малые» поэты — Полонский, Апухтин, Ал. Григорьев, В. Соловьев, учитель Блока, по его словам. Великолепный «серебряный век» русской поэзии из нынешней исторической дали уже рисуется нам как блоковская плеяда, ибо и риторика Брюсова, и томная плавность Бальмонта, и певучая боль Ф. Сологуба, и мифологическая тайнодейственность Вяч. Иванова, и анархические диссонансы Андрея Белого — все это отозвалось и зазвучало в Блоке и само меняло строй и очертания близ его пламенника.

Если (как недавно показал современный автор¹) в Пушкине были явлены начатки пришедших после него поэтов — потому что был он неким Единым, хранящим в себе всю дальнейшую множественность путей и достижений, — то такое же чудо «предсуществования» без натуги расслышим и в Блоке. До боли волнуется в нем неожиданный голос Есенина — предсмертный, вольно-тоскливый:

Много нас — свободных, юных, статных,—
Умирает не любя...

¹ Я имею в виду статью В. Непомнящего «Предназначение» («Новый мир», 1979, № 6).

Или: поразительна — на фоне символистско-акмеистской программной вражды — уверенная, вовсе не с ветру подхваченная ахматовская конкретность Блока:

Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольца,
И я — который раз подряд —
Целую кольца, а не руки...

Идя навстречу новому художественному мироощущению, Блок высвободил русскую поэтическую речь из чересчур жестких пут логики (в такой поэзии «все высказывается вслух», замечал он с отталкиванием). Он нарушил границу между «я» и «не-я» и утвердил с миром связь не «партнерскую», а какую-то более слитную, экстатическую, когда перья страуса склоненные «в моем качаются мозгу», а «очи синие бездонные цветут на дальнем берегу», и это все в одном круге, в одном кольце бытия. Причинно-следственную соподчиненность Блок (имея предшественником одного Фета) стал заменять стремительными выдохами перечислений, обьемающими на долгом, «как у Патти» (Ф. Сологуб), дыхании мир и чувство в едином потоке. Тем самым Блок создал новые интонационные очертания поэтического образа — то, что у Мандельштама истончилось в ассоциативные всплески, в ныряния и выныривания ласточек-слов («Россия, Лета, Лорелея» или «Я так боюсь рыданья аонид, тумана, звона и зиянья»), а у Пастернака уплотнилось в предметную толчею и пестрядь мира: «Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы».

Блок «Двенадцати» дал норму, меру и строй русскому поэтическому экспрессионизму, поэтике уличной многоголосицы, припевок, команд и выкриков, поэтике монтажа и, как сказали бы сейчас, поп-арта. Устраивающей силой своего дара ввел ее в область «большого стиля». Бросающее в дрожь хлебниковское «мы писатели ножом» (поэма «Настоящее») родилось уже после «ножичка» из «Двенадцати». И недаром фигура Блока возникает в поэме Маяковского «Хорошо!» своего рода персонифицированным эпитафием или тайным посвящением.

Блок нашел и передал русской поэзии XX века средства оформления словом новой мировой динамики и открыл для нашей поэтической эпохи дорогу классической общезначимости. Русское стиховое слово звали на свой путь Вяч. Иванов с его теоретизирующим талантом, В. Хлебников с его гениальным филологическим безумием; звали на путь священнолагодания, таинственного корнесловия, словесной магии, звали отделиться и стать «языком богов» — или божемы. Но русская поэзия пошла за Блоком — за светочем классического (в широком смысле) искусства — и тем спасла свою художественную честь.

Да, Блок пришел в наш век с пушкинской миссией. Но, несмотря на свой мирообъемлющий дар, не до конца ее исполнил, ибо не так понимал свое посланничество. И лишь «уходя в ночную тьму», объединил он пушкинское и свое призвание в речи о назначении поэта и заговорил о союзе, в веках связующем «сыновей гармонии»...

В бурном письме Андрею Белому от 15—17 августа 1907 года Блок прибегает к вызывающе откровенным самохарактеристикам. В частности, он пишет: «Драма моего мирозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — лирик. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь — и ничего не остается. Веселье и жуть — сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо страшным, от которого меня бережет только моя душа, — я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение» (здесь и далее выделено Блоком, а разрядка моя. — И. Р.). Многое в этом признании расшифровывается в контексте статьи Блока «О лирике» (тот же 1907 год) и тогдашней его причастности к «мистическому анархизму»: веселая жуть провала-полета, демон-лирик с покрывалом на очах, который возвышает и губит людей тоской по невозможному. Через четыре года Блок напишет Андрею Белому: «...отныне Я не лирик», имея в виду готовность жить под ясной звездой ответственности и долга. Но с лирическим полетом «над бездной» он, впрочем, так и не расстанется и, главное, вновь поведет речи о «неведомом и страшном» Направи-

теле и Вожатом этого, казалось бы, «бесцельного» полета. Его свидетельства о такой персонифицированной силе — из числа самых выразительных — стихи «К музе» и «Ты — буйный зов рогов призывных...» (декабрь 1912-го и декабрь 1913 года). Второе стихотворение, менее популярное, цитирую полностью.

Ты — буйный зов рогов призывных,
Влекущий на неверный след,
Ты — серый ветер рек разливных,
Обманчивый болотный свет.

Люблю тебя, как посох — странник,
Как воин — милую в бою.
Тебя провижу, как изгнанник
Провидит родину свою.

Но лик твой мне незрим, неведом,
Твоя непостижима власть:
Ведя меня, как вождь, к победам,
Испепеляешь ты, как страсть.

Эти стихи жили с Блоком около пяти лет (первоначальный набросок относится к июню 1908 года и совпадает с работой над циклом «На поле Куликовом»); в черновике было название «Кому-то», в первой публикации — «Неотступное».

Лирику Блока драматизирует множество полуперсонажей, «призраков бледноликих», неопределенных «кто-то», много «неотвязных», «белых», покрывающих зеркала «необъятною рукою». К третьей книге они сгущаются в более опознаваемых персон традиционной демонологии: «вражью силу», «соблазнителя», даже «чертей» и прочее. Но ни с одним из этих искусительных духов нельзя отождествить Того (или Ту), кого поэт в ряде последовательных образов сближает с зовом, ветром, болотным огнем, посохом, милой, родиной, вождем, страстью. Взаимосключающие сравнения создают вокруг этого символического лица непроницаемую ограду непостижимости, но каждое из них — нить, ведущая к целым лирическим комплексам, смысловым сгусткам в мире Блока, и прежде всего к его стихам о России.

Пройдемся по строфам. В первой подытожен образ «болотной», «задебренной» Руси с «ржавым» потаенным «зачалом рек», Руси равнинной, стылой и колдовской, «необычайной», но и страшной, Руси «заговоров и заклинаний», смуты и чары, где «под заревом горящих сел» «ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах» и вещей конь остерегает сбившегося путника: «В тумане да в бурьяне, гляди,— продашь Христа за жадные герани, за алые уста». Вторая строфа глядится в еще один просиявший в поэзии Блока лик Руси, России: воинский и страннический подвиг, высота нерушимых обетов, жертвенной славы. Прямые переключки со стихотворением «Я вырезал посох из дуба», посвященным Прекрасной Даме в ее сказочно-русском обличье «Царевны», и со второй и третьей главками куликовского цикла: «Помяни ж за раннею обедней мила друга, светлая жена!» и «Был в щите твой лик нерукотворный светел навсегда». В третьей строфе поэт, пораженный несомненным для него совмещением первого и второго видений, отдается во власть неведомому лику с бранной решимостью («...ведя меня, как вождь, к победам») и вакхическим безволием («...испепеляешь ты, как страсть»).

Но Ты, к кому все это обращено, не сама Русь (провижу, как к родину). Это Ты — тот «демон» или «гений», в котором поэты издавна олицетворяли свою чувствость к дыханию, токам, поветриям жизни, свое вдохновение, некое начало на грани объективного и субъективного, связывающее поэта с родным ему миром. Иначе говоря, стихотворение, как можно догадаться, адресовано музе Блока. Это она, неотлучный его вожатый, эстетически преломила в себе русскую судьбу, но преломила ее с «испепеляющей» двойственностью. Поэт покоряется велениям этой музы как голосу свыше — и как голосу из бездны.

После этих напряженных ямбов обратимся на год вспять, к податливо льющимся анагестам. Стихотворение «К музе» привыкли относить на счет «демонических» творений поэта («проклятье заветов священных», «поругание счастья», «...смеешься над верой»). И та, кто «ангелов... низводила, соблазняя своей красотой», вероятно, заслуживает ранга демоницы. Однако о чем вот эти строки?

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?

Все движение Блока от первой книги составленного им лирического трехтомника ко второй — это в границах его же символики, движение с заката в ночь, «из света в сумрак переход». Его Дева, Заря, Купина, его Зоревая ясность, героиня первого тома, — заря в е ч е р н я я, и, если не случится чуда и не откроется «беззакатная глубь и высь», ее должен затопить сине-лиловый ночной сумрак. В таких световых фигурах Блок, оглядываясь назад, изображает свой путь в докладе о кризисе символизма (1910), точно так же живописал он его в стихах. И, как в лад настроенный инструмент, вторил своему другу родной, доверенный человек Евг. Иванов, по чьим словам Блок времени «Распутий» «бодро, решительно двинулся в ночь». Соответственно, в третьем томе (и в стихотворении «К музе», его открывающем) «рассвет», «железный» день — это жестокое отрезвление после ночного пиришества в обществе сине-лиловой Незнакомки; он освещает «унижение» (одноименное стихотворение тоже начинается с рассвета), создает мизансцену раскаяния, возмездия («Шаги командора» — опять рассвет!) и указывает неумолимым перстом на «нищий путь возвратный» как на единственно спасительный исход. Тут-то герой блоковской лирической трилогии, герой-поэт, р а с с в е т а н е в ы д е р ж и в а е т, от «резкого, неподкупного света дня» содрогается; и он просит утешения. У кого же в этой поистине фаустовской ситуации? У демона, конечно. Но это особый демон — демон искусства, а точнее, демон артистизма.

«Я хотел, чтоб мы были врагами» — это правда: демонизм искусства мучил Блока всю жизнь (само сочетание этих понятий принадлежит ему). Муза артистизма дарит мир, но дарит обманчиво: мир становится зрелищем, театральным маревом, которое можно рассеять одним ироническим словом, чтобы перейти к новой панораме. Оттого-то так ударяет строчка: «Луг с цветами и твердь со звездами»: с несвойственным для Блока упором в твердое и недвижимое она очерчивает гармонический состав мироздания лишь затем, чтобы тут же эта красота, попавшая в артистический плен, была названа проклятой! Страсть к артистическому переживанию мира — это «горькая страсть, как полынь»: беспокойная, хмельная, краткая, требующая все новой и новой пищи. Стихотворение «Художник» (тот же декабрь 1913-го) описывает ее этапы с «орлиной трезвостью» (Б. Пастернак о позднем Блоке).

В нем Момент творческого зачатия означен в образах мгновенного набега, налета, стихийного эроса посреди житейского тленья — «в дни ваших свадеб, торжеств, похорон». Сначала (как сказано о веянии любви в другой лирической пьесе Блока) «приближается звук» — «легкий, доселе не слышанный звон». Он расширяется в сверкающий музыкальный вихрь, и знаменательно сходство между этими ласками музыки и приветствием «темноликого ангела» в явно демоническом (с чертами переведенной в патетику «Гавриилиады») стихотворении «Благовещение».

Вихрь ли с многоцветными крылами
Или ангел, распростертый ниц...
Он поет и шепчет—ближе, ближе,
Уж над ней—шумящих крыл шатер...
Но чернеют пламенные дали,
Не уйти, не встать и не вздохнуть...

(«Благовещение»)

С моря ли вихрь? или сирины райские
В листьях поют...
...Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого — нет.

(«Художник»)

«Художник» занимает в творчестве Блока то же место, что «Поэт» («Пока не требует поэта...») в пушкинском. Здесь общая кардинальная тема и даже лирический сюжет тот же (сначала «душа вкушает хладный сон», потом приходит вдохновение — и душа трепещет, предаваясь ему). Но художник Блока и в быте

жизненном все художник: с иронией говорит он о свадьбах и похоронах «детей ничтожных мира» и с горьким задором замечает про них, отведавших его лирической крови, — «песни вам нравятся». Вместе с тем его занятие лишено священной санкции: он не уверен в своих правах и — страстный раб незаконной музыки, ее улад — в просветах меж ними смущаем своей человеческой совестью.

Зато по притязанию и вдохновенному размаху муза эта не чета тому «фантому женоподобному», каким представил ранний Брюсов изысканную эстетскую мечту: «Томился взор тревогой сладострастной, дрожала грудь под черным домино» и прочее. Нет, мы имели возможность узнать, что это муза, «мировое несущая» (в «Художнике»: «...длятся часы, мировое несущие»), муза русской, а значит, и мировой судьбы (Блок верил в это «значит» и писал Андрею Белому: «...мы на флагманском корабле»). Муза исторических ритмов, но взятых в их артистическом преломлении и переживании, которое выше «жалкого»... и, быть может, жалости. Разве не артистическим восторгом продиктован обращенный к России удивительный стих «Тебя жалеть я не умею»?

В предосенние дни 1917 года Блок почует близость великих событий и скажет об этом чуть ли не дословно то же, что о наитии эстетической стихии: «...в их рь зацветал».

Нащупывая узел художественной судьбы Блока, думаю, не зря мы блуждаем вокруг стихов 1912-го и особенно 1913 года. Как раз в это время Блок «дорос до трагедии» и с последней остротой переживал неотъемлемую от трагического задачу духовного самоопределения. «Совесть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне», — заносит он в дневник 23 декабря 1913 года. В том же декабре написаны (притом несколько стихотворений в один день — 30 декабря) шедевры его совестной, самоотчетной лирики.

Что именно из «житейского» подвело тогда душу Блока к тоске и самообвинениям, мы, верно, никогда не узнаем (тем более что он уничтожил дневники за последующих три года). Но одно несомненно: он переживал пушкински высокую точку сознания, «момент истины», подобный тому, когда у Пушкина написались его «Воспоминание». В Блоке открылась пушкинская судящая глубина. Примечательно, как Блок сначала пытается отделаться от мучительных мотивов самопознания «гейнеобразной» иронией («Он нашел весьма банальной смерть души своей печальной»), как это ему не удается и как он все больше сосредоточивается на нарастающей тревоге. Тут уж не Гейне звучит в нем, а Пушкин: «Как растет тревога к ночи! Тихо, холодно, темно. Совесть мучит, жизнь хлопочет. На луну взглянуть нет мочи сквозь морозное окно... Кто-то хочет появиться, кто-то бродит. Иль — раздумал, может быть? Гость бессонный, пол скрипучий...» Ведь это, по существу, мотив пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»: «Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня... Что тревожишь ты меня?... От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь?..» Правда, Пушкин кончает морально активным, собранным: «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу», а Блок — обратным образом: «Ах, не все ли мне равно! Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой... Вновь я буду пить вино!» Решающего поворота в нем так и не происходит...

Дней за десять до этих стихов Блоком была написана суровая исповедь о пройденном пути «Как свершилось, как случилось?». Конечно, это исповедь, лишенная всякой интимности, в ней расставлены не фактические, а символические вехи жизни. Но она на свой лад прямодушна. В начале пути, говорится в ней,

Был я беден, слаб и мал,
Но Великий неких тайна
Мне до времени открылась.
Я Высокое познал.

Здесь, как и во многих других случаях, поэт исповедует неизменную веру в свою «тайну», в свою «Мировую Несказанность» (письмо Евг. Иванову 25 июня 1905 года). Весомы его признания не эпохи ранних «зорь», а последующих трудных лет. «Всю жизнь у меня была и есть единственная «неколебимая истина» мистического порядка» (Андрею Белому 24 апреля 1908 года). «Все ту же глубокую тайну, мне одному ведомую, я ношу в себе — один. Никто в мире о ней не знает»

(письмо жене 18 июля того же года). Он пишет ей и об ужасе перед разрушением «первоначальной и единственной гармонии, с м ы с л а ж и з н и, н а й д е н н о г о к о г д а - т о» (12 ноября 1912 года). Эта тайна, истина в глазах Блока совершенно внедогматична и внефилософична, и он ревниво оберегал ее несказанность, невыговариваемость от экспансии религиозного философствования и «петербургской мистики». Эта тайна — его любовь к «розовой девушке», поднятая врожденной огромностью поэтического переживания до чувства космического, в котором, как в едином живом корне, переплелись мир, родина, дом. Это тайна, ведомая всем великим поэтам; тайна внушенная любовью миро-приятия. Память о ней позволила Блоку вопреки всему, что произошло со времени его «посвящения», написать в 1911 году:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Запись в дневнике 7 ноября 1912 года — в десятилетнюю годовщину решающего объяснения с Любовью Дмитриевной: «В ней — моя связь с миром, утверждение несказанности мира. Если есть несказанное, — я согласен на многое, на все. Если нет, прервется, обманет, забудется, — нет, я «не согласен», «почтительнейше возвращаю билет»...»

Любовь — собирательница, в ней великая стягивающая, центрирующая сила. Любимое лицо она ставит в центр мироздания и отождествляет с некоей божественной основой мира. В 1918 году Блок вспоминает те минуты: «...в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял как Видения (закаты)». Он увидел свою любовь в небесах, небесной зарей. Она же цвела в вечерних далах за зубчатым, похожим на средневековый замок лесом на шахматовском небосклоне. Она распоряжалась природными стихиями и сама являлась как бы стихией стихий: текла вместе со светилами и уносила с собой переменчивый источник света. Она была и сама Русь — не только «душа мира», образ нетронутой, неоскверненной земли, но и душа Руси — русская Невеста, Царевна, в озаренном терему рассыпающая небесные жемчуга (этой тихой нотой «мистической этнографии» зачинаются «Стихи о Прекрасной Даме» — и та же нота зазвучит потом в финале «Двенадцати»). И еще была она тогда милым домашним духом сельской усадьбы, духом уютных комнат, розового клевера и шелестящих овсов.

...Все это навеки таинственно, но вместе с тем и понятно даже без чтения стихов Владимира Соловьева о Подруге вечной и без знакомства с Платоновым учением об эросе (тем и другим юный Блок подкреплял уверенность в своем «откровении»). Понятно, потому что всечеловечно, и, пройдя через этот опыт, поэт получает всечеловеческую отзывчивость, получает через одно — все: «...В одном луче, туман разбившем, в одной надежде золотой...»

Что произошло потом, можно уяснить, только вставив личную судьбу Блока в раму эпохи. Блок не понял смысла этой посвященности, какую знали и верно понимали и Гёте и Пушкин. Он символ принял за факт, призванность к поэтическому служению, смиренно совершающемуся в области слова, в области культурных смыслов, — за обещание «сверхслов» и «сверхобъятий» (взволнованная запись в его тогдашней тетрадке).

Это «сверх», эта идея таинственного преображения коренных условий жизни средствами теургии, «сверхискусства» тревожила умы младших символистов и возбуждала в них почти сектантскую экзальтацию. И Блок знал, что говорил, когда в декабре 1918 года обращался к Маяковскому: «Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира... Над нами — бóльшее проклятье (чем памятники старой культуры. — И. Р.), мы не можем не спать, мы не можем не есть. Когда-то, в 1901—1902 годах, юноша, опьяненный естественным откровением любви, связал свой пафос влюбленности с жаждой перемен, охватившей его культурную среду, освятил эту связь изречениями из стихов Соловьева и из Апокалипсиса и вообразил в себе начало той силы, которая снимет (с избранных ли? со всех?) «большее проклятье» и откроет двери в царство «сверхеды», «сверхбрака», «сверхобщества», в царство некоей сверхжизни, по ту сторону времени, истории, культуры, быта. Известны сокрушенные слова Блока, сказанные им в 1910 году в докладе о состоянии русского символизма: «...были «пророками», пожелали стать «поэтами». Вернее бы сказать обратное: был призван как

поэт, согласился стать «пророком», сектантско-символистским «теургом», пародийным чудотворцем. Упомянутый доклад Блок закончит такими словами: «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком». Но прежде чем Блок дорос до этих умудренных слов, он пережил срыв; «смешение искусства с жизнью» обошлось ему дорого.

Блок, вспоминая знавшие его, не любил тех своих читателей, кто выше прочего ценил поэзию «второго тома». Из нашего символического путеводителя — стихотворения «Как свершилось...» — узнаем, что это была полоса, когда он чувствовал себя окруженным «сонмами чудовищ» и «покинувшим стражу» ради пиршества во вражеском стане — ради того самозабвенного кружения и распыления, в какое ввергается душа, настроившаяся было на вечный, сверхвременной праздник, но столкнувшаяся с упорным течением будней.

Как затем удалось Блоку салонные все же образы «снежного вина», «черного шлейфа» и «тяжелозмейных волос» так мгновенно, в пределах одного увлечения, одного жизненного и творческого цикла, переключить в несоизмеримо иной ряд — рябина, обрыв, река, Фаина, узорный рукав, раскольничий скит, удалая песня? Метаморфоза была обеспечена глубоким отзвуком первой русской революции: с любовным опьянением поэт слил, отождествил «восторг мятежа», с эротической пыткой — «раскольничье» страстотерпчество, со свободой страсти — удаль народной стихии. И тут, в этом стихийном русле, вновь притекла, вернулась к Блоку русская тема как светлая, первоначальная, связанная не с «пиром», а с «домом», с «единственной на свете» и когда-то уже проступавшая в «Стихах о Прекрасной Даме» сквозь все тона рыцарского миннезанга.

Здесь не избежать одного отступления: о блоковской схеме собственного пути, которую он неоднократно пересозидал в порывах самопроверки и самооправдания².

Известно, что Блок свои стихи в совокупности рассматривал как дневник. Еще до 1914 года он разделил корпус своей лирики на три тома — на три этапа «вочеловечения» своего поэтического духа — и уточнял наполнение каждого тома, организацию отделов внутри томов до конца своих дней. Притом, имея потребность оглядываться на свою дорогу, внушать себе с каждым ее поворотом, что «так надо», что «стою на твердом пути», Блок, как мне кажется, злоупотребил этой вторичной творческой волей, волей к самонтерпретации постфактум. Ведь прожитое время не в нашей власти, и новая композиция, созданная из перетасовки листков лирического «дневника», вовсе не дневник уже: в ней художественное задание преобладает над произвольным человеческим самораскрытием. Своим лирическим фондом Блок опять-таки распорядился как артист. И самым, на мой взгляд, радикальным было смещение написанного в 1908 году цикла «На поле Куликовом» к концу третьего тома.

Объединяя в разделе «Родина» стихи 1907—1916 годов, из коих первое еще несет на себе юношеский отсвет «несказанного» и шахматовских закатов, а последнее, «Коршун», резюмирует блоковские «Ямбы» с их «зрелостью гнева» и «обещанием мятежа», ставя этот раздел в непосредственное преддверие поэм «Возмездие» и «Двенадцать», Блок показывал, что конечный плод его пути, его работы над собственным человеческим материалом — это трагический человек, разомкнутый навстречу судьбе и всецело отданный историческим путям своей отчизны на их высотах («И горит звезда Вифлеема так светло, как любовь моя») и низинах («Грешить бесстыдно, непробудно...»), в смиренной прелести («Осенний день», перекликающийся с тючевским «Эти бедные селенья») и в насадном негодовании («Доколе матери тужить?!»). В таком виде раздел «Родина» и подготавливает финал трехчастной лирической симфонии Блока.

Но внутренние, тайные пути духа были закрыты этой компоновкой раздела, точнее удалением «Куликова поля» из хронологического центра блоковского «дневника». Потому что для понимания реального пути Блока важно знать, что прорезавшаяся тогда, в 1908 году, посреди ветровых «татарских» кликов рус-

² См. капитальную работу Д. Е. Максимова «Идея пути в поэтическом сознании Блока» (в его книге «Поэзия и проза Ал. Блока». Л. 1975).

ская тема «стояния на страже», священной брани, доблести и подвига — она-то и разбудила в душе поэта тоску по прежней «неколебимой истине», способной изгнать всяческую нежить. 1909—1913 годы — предрассветные «ночные часы», борьба за высвобождение совести, за спасение ядра личности из воронок анархического дионисийства.

Было долгое томленье.
Думал я: не будет дня.[†]
Бред безумный, страстный лепет,
Клятвы, пени, уверенья
Доносились до меня.
Но, тоской моей гонима,
Нежить сгинула...

[†] Знак того, что она сгинула, — пролог к «Возмездию» (весна 1911 года), где Блоку удалось с новой мужественной энергией подытожить не только мотивы «Ямбов» («Дроби, мой гневный ямб, камень!») и «Куликова поля» («...над нашим станом, как встарь, повита даль туманом и пахнет гарью. Там — пожар»), но и «Прекрасной Дамы», и притом не в прежней вечерней, а в утренней аранжировке:

Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит;
Я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.

...А потом происходит то, о чем мы уже читали в обращении «К музе», — Блок цепенеет под дневным небом в совестной трезвости рассвета:

День жестокий, день железный
Вкруг меня неумолимо
Очертил замкнутый круг.
Нет конца и нет начала,
Нет исхода — сталь и сталь.
И пустыней бесполезной
Душу бедную обстала
Прежде милая мне даль.

В стихах этого времени многократно совершается одно и то же душевное движение: рывок навстречу дневному осознанию себя — ужас перед обетом, видно уже неисполнимым (как он дан в докладе 1910 года: сосредоточенность, ученичество, «простое» существование), потом мучительная заминка («...с трезвой, лживой улыбкой») — и податливая готовность души ввергнуться в новое завихренье. Маятник этот раскачивается все с большей амплитудой, пока не достигает к концу 1913 года того страшного предела, когда еще одно повторение цикла становится невозможным.

Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.

Не правда ли, в этой предпоследней строфе «Как свершилось...» слышится покаянная интонация Раскольникова, целующего при стечении народа землю: «не таюсь...», «посмотрите...». Но в самом конце крутой перелом, отбрасывающий вспять:

Где же ты? не медли боле,
Ты, как я, не ждешь звезды.
Приходи ко мне, товарищ...

Как знаком по «Двенадцати» этот тон братания с такими же отверженными! «Один бродяга сутулится, да свищет ветер... Эй, бедняга! Подходи — поцелуемся...»

Итак, на пути совестном Блоку как бы не хватает последнего усилия, чтобы добела раскалить этическое пламенем поэзии, — и он окончательно избирает

...безумный, неизвестный
 И за сердце хватающий полет...
 Вдохнул, глядишь — опасность миновала...
 Но в этот самый миг — опять толчок!
 Запущенный куда-то, как попало,
 Летит, жужжит, торопится волчок!
 ...Как страшно все! Как дико! — Дай мне руку,
 Товарищ, друг! Забудемся опять.

Это написано в 1912-м, но именно после 1913 года зазвучала в оркестре блоковских тем мысль о запоздалом раскаянии, об опаматовании, которое уже бесполезно. В стихах 1915 года у него «говорят черти»: «Ты, в исступленном покаянии, проклясть замыслишь бедных, нас?» — так нет же, «станешь падать» — тебя толпою подхватим... И разве не та же самая необратимость прожитого определила в 1915 году развязку «Соловьиного сада»? Возвращение на кремнистый, страдальный, нищий, правый путь в этой поэме оказывается напрасным, жертва за душу хватающим полетом — ненужной; жизнь уже не приняла твоего возвращения, отвергла и вытеснила блудного сына.

...Если снова обратимся к признаниям Блока, обнаружится, что бок о бок с «неколебимой истиной» в душе Блока жило еще одно начало, которое он на своем символическом языке именовал то гибелью, то бездной, то полетом.

В письме 22 октября 1910 года Андрею Белому: «Я всегда был последователен в основном... Я люблю гибель, любил ее искони и осгался при этой любви... я последователен в своей любви к «гибели» (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д.)». О том, что «выход в бездне», существует и ранняя дневниковая запись. Вспомним также юношеские строки:

Пусть одинок, но радостен мой век,
 В уничтожение влюбленный.
 Да, я, как ни один великий человек,
 Свидетель гибели вселенной.

Столько же, сколько «идея пути» (а значит, долга, страды, искуса, мужества, «долг — это единственная музыка», пишет он жене), владела духом Блока идея «сверхпути»: паренья, полета — или падения. Только как некий абсолютный сверхпуть, простор на все четыре стороны, можно, должно быть, истолковать загадочный образ сияющего небесного бездорожья в ранних стихах: «Мы помчимся к бездорожью в несказанный свет», «Предо мной — к бездорожью золотая межа», «Сердце переносится в дали бездорожья». И таким же — но не солнечным, не золотым, а синим, астральным — бездорожеством замыкается в 1914 году предвоенная лирика Блока, его последний, «слепо-стихийный» любовный цикл: «Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит... Всё — музыка и свет; нет счастья, нет измен... мелодией одной звучит печаль и радость... но я люблю тебя: я сам такой, Кармен».

Для трех томов лирики Блока в их связи и движении хочется подобрать девизы: «дом», «пир», «мир». Покинув дом, «повеселясь на буйном пире» и не обнаружив дороги назад («...старый дом мой пронизан метелью»), герой третьего тома оказывается лицом к лицу с миром. Но при исходе героя в мир образы совестливого самоотречения (отказ от уюта) и сокрушения сплетаются с образами эстетизированного рока, с мелодией сладкой гибели в «красном облаке дыма». Финальные главы творчества Блока разворачивались под этим двойным знаком.

Свою душу, человечески прямую и правдивую, причастную «добру и свету», сам Блок противопоставлял эстетике роковых стихий, влекущих его по катастрофическим путям. Вспомним еще раз слова из его письма: «...руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа». И далее там же сказано: «Душа моя — часовой несменяемый». Но и высокая его душа таила изменчивое, подвижное, неуследимое начало — и потому не могла долго стоять на часах...

Это была душа русского интеллигента, выпестованная как бы нарочно и показательно всеми десятилетиями становления и надлома интеллигентской психологии. Слишком много идейных вер наслонилось в ней, чтобы быть ей часовым

«единственного». И это была душа поэта, а поэт — Эхо, и он не может не жить в мире многообразно рассеянных отзвуков. Но недаром обрывок пушкинской строки из «Эха» («...свой отклик в воздухе пустом») невольно пришел Блоку на ум, когда перед ним возникло видение рушащегося вниз авиатора:

Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе... пустом!

В Пушкине воздушность, летучесть вездесущего Эха дополнялась человеческой социально-культурной «осадчивостью», оседлостью: «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» — основа «самостоянья», стоянья человека. Та же любовь-привязанность приняла в душе Блока формы мучительные, трагические и подпала отрицанию как недолжная, внедуховная любовь к собственному достоянию, любовь «к своему». Тут человек в нем сорвался с привязи и прынул вслед за поэтом.

В 1911 году Блок записывает в дневник: «**Знаю все, что надо делать:** отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу». А в январе 1918 года он обращается к интеллигенции с тем же, по существу, призывом, с каким к себе семь лет назад: «У буржуа — почва под ногами определенная, как у свиньи — навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это — и все полетит вверх тормашками. У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности невещественны. Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменьше, знание, методы, навыки, таланты — имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи — что же нам терять?» Так в Блоке, не только великом поэте России, но и величайшем поэте русской интеллигенции, пушкинский певец-Эхо подает руку «мыслящему пролетарию» Д. И. Писарева. Оба жительствоуют в воздухе.

Воздух — человеческая и поэтическая стихия Блока, равно как в указанном отношении социальная и культурная его стихия. Он живет атмосферически — в веяниях, навеваньях. Для него идеи, духовные монады, носятся в воздухе, как осенние листья или снежные хлопья; культурно-историческая и природная атмосферы сливаются в смешанную воздушную среду, чреватую влияниями и предзнаменованиями, — по алости зорь он призывает догадаться о причинах участившихся самоубийств. Да и все световые явления «Стихов о Прекрасной Даме» хочется назвать небесной пиротехникой, преломленной сквозь воздушную толщу. Поэтика Блока — поэтика дрожания мира в воздушной струе.

Ю. Тынянов заметил, что Блок дает совершенно новые образы — не предметные и не беспредметные: слитные. И действительно, воздушный слой расположен как бы на полдороге между идеей и материализацией, трепещущий воздушный поток смешивает раздельное. Нет средостения между восприятиями световыми, звуковыми или еще иными (синестезия, слитность пяти чувств: «Как будто вдруг — светло и звучно дышала песнь — и умерла»); нет грани между вещественным и невещественным («И в вечном свете, в вечном звоне церковей смешались купола»), между далеким и близким («Темный мóрок цыганских песен, торопливый полет комет»), между внутренним и внешним («И донеслось уже до слуха: цветет, блаженствует, растет»). Эта черта приводит метафору Блока на опасный край изысканности: «Своей улыбкою невинной в тяжелозмейных волосах», «Сиротливо приникший к ранам легкоперстный запах цветов», — но он, обтекаемый родной ему развоплощающей стихией, не мог видеть и чувствовать иначе.

Я уже говорила о перечислительных рядах блоковского синтаксиса. Стиль его, поэтический его жест выражают в наибольшей степени, кажется, те из них, которые интонационно знаменуют невидимое нарастание, приближение (или удаление) чего-то в воздухе как в проводящей среде: «Высоко первая звезда зажглась, затеплилась, зардела»: «...вдали, вдали звенело, гасло, уходило и отделялось от земли». В мире Блока немало темного, душного, дурманного, но нет ничего грубого. Ведь грубое значит плотное, не просквоженное воздухом.

В каком-то смысле этот мир иллюзорен для чувств и для ума. В нем и поэма нет строгой, «объективной», почти ученой символической двушланности, ка-

кой ждал Вяч. Иванов от своей школы. Планы спутаны, образы-знаки лишены твердых очертаний и меняются на глазах, как облака на ветреном небе. Поэтика воздуха — это поэтика не идейных контрастов, а плавных соскальзываний и замещений. Еще наивный Евгений Иванов, к своему ужасу, замечал, что зори 1900—1903 годов (те зори, от которых душа Блока, по собственным его словам, «ведет свою родословную») в стихах его друга незаметно переходят в зловещее городское зарево, а потом, добавив *оф себя*, в «широкий и тихий пожар» над всей Русью. Алая лента зари — деталь убора «Владычицы вселенной», ее путеводительный вымпел — превращается в красный взвившийся рукав раскольницы Фаины, в узорный плат до бровей ее родной сестры в стихотворении «Россия».

Мне кажется, известная театральность поэзии Блока тоже связана с атмосферической внушаемостью его души и, главное, с потребностью жить и чувствовать в мире светозвуковых феноменов, в мире окутанных дымкой мизансцен, а не полных воплощений. Если несказанного нет, «почтительнейше возвращаю билет». И когда несказанное запаздывало, Блок умел извлекать его для себя из волшебного театрального тигля.

Муза Блока ширию объемлет весь мир, но располагает его как бы среди кулис. Любимых женщин (они и были актрисы) Блок воспринимал сквозь их роли: Офелия, Кармен, сочиненная им самим для Н. Н. Волоховой Фаина (в «Песне судьбы»). Женские образы Блока «костюмированы», спрятаны в воздушный ворох наряда. Как часто Блок обозначает женственное начало легкой деталью «ее» убора: лента, платок, рукав, коса — вплоть до ботинки, перьев и каблука, холодных мехов, соболей, духов, шлейфа и колец. И эти туманные подробности сублимируют страсть в артистический восторг и любование — особая, бередящая душу и ускользающая музыка женственности, хорошо знакомая клану театральных поклонников. В таких образах-ролях природное и непосредственное проведено через культурное и символическое, они значимы не сами по себе, а тем, на что они намекают — где-то «там» или в душе героя.

О «масках» и «ролях» самого Блока много писали и спорили. Собственно, знаменитый вопрос Тынянова в его отклике на смерть Блока: кого оплакивают — человека или поэта (но человека ведь не знал почти никто)? — можно переиначить: кого любили, кому верили — человеку или его ролям? Ясность приходит именно из сферы театральных аналогий. Подобно тому как в ермоловской Иоанне д'Арк любили Ермолову, ее личность, ее душу, ее мирочувствие, как в Норе, исполняемой Комиссаржевской, любили саму Комиссаржевскую — Веру, «обетованную весну», — так и в ролях Блока правильно находили и любили его человеческое лицо.

Личность Блока выражена в его ролях, но она же им отдана, раздарена. Собственное «я» было главным материалом его лирики, но ему как раз не доставало стального лермонтовского эгоцентризма, исключаящего щедрую отдачу своих личных данных в аренду роли. Воплощаться в роли его заставляли воздушные, ветровые, центробежные силы окружающей атмосферы. И это был его способ расширения границ «я». Когда молодой Ф. Сологуб пишет: «Скучные тетрадки надо поправлять, на судьбу оглядки надо забывать», то он как частный человек грустит о своей тусклой учительской доле, и тетрадки здесь настоящие. Когда же сообщает Блок: «Да и меня без всяких поводов загнали на чердак. Никто моих не слушал доводов, и вышел мой табак», можно не сомневаться, что табак у него не вышел и что он просто зажил внутри новой роли, в «предлагаемых обстоятельствах», а подходящий факт собственной жизни (отселение вместе с женой из материнского дома) использовал как манок, наводящий на нужное чувство. Но зато частный этот факт расширился и стал мостком к другому «я», вообще к людям.

Все поэтические роли Блока (их контрастность всегда так любят подчеркивать: рыцарь и шут, пророк и литератор модный, солнечный витязь и пьяный бродяга, обитатель чердака и ресторанный донжуан, мастеровой с гармоникой и светский «мертвец», Христос и Гамлет) суть встречи его души с тем или иным веянием эпохи, культуры, духа. И трагедийное достоинство, в какое облекаются в его стихах эпоха и среда, город и простор, безвременье и мятеж, та окрыленность и вознесенность, с которой сквозь призму его лирической трилогии пережи-

ваются «страшные годы России», во многом обеспечены неподдельной значительностью и феноменальной правдивостью его человеческой личности. Он был любимцем своего поколения, и его легендарная слава кое в чем напоминала славу артистическую. Однако не суетную, не эстрадную, а тот восторг признательности, когда актер дает возможность современникам увидеть собственное их отражение, поднятое благодаря его личному вкладу на огромную человеческую высоту.

Опять-таки не забудем, что миражность и театральность блоковского мира — оборотная сторона его идеенности и духоносности, его вознесенности над бытом и укладом («...его ценности неведественны»). Блок мечтал очертить для себя, для своей души независимое пространство, где, «сердцем вечно строгим мера». можно было бы стоять твердо, думать и чувствовать просто, жить неколебимо. В письме С. А. Богомолу он пишет: «Переносить... тяжесть помогает только обладание своей атмосферой, хранение своего круга... Завоевать хотя бы небольшое пространство воздуха, которым дышишь по своей воле, независимо от того, что ветер все время наносит на нас тоску или веселье, легко переходящее в ту же тоску, — это и есть действие мужественной воли, творческой воли» (1 мая 1913 года; последняя фраза в тот же день вписана в дневник). Время от времени он наводил порядок в своем душевном доме, восстанавливая в нем «собственную атмосферу» — атмосферу безукоризненной порядочности, ответственной строгости, чистоплотной требовательности, граничащей с толстовским морализмом. Трогательны некоторые пометы Блока на раньше написанных стихах, намеренно разрушающие демоническую сложность противочувствий во имя простых правил жизни. «Отвратительный анархизм несчастного пьяницы» — это по поводу романтически громкого, антимишанского стихотворения:

Пусть я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,—
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

Ироническое «вот так лирика!» — на стихах тоже «анархических»: «Я шлю лавину тем ущельям, где я любил и целовал!» Для тех, кто дорожит Блоком по человечески, пометы стоят самих стихов.

Чем-то похожа на такие пометы и запись в дневнике от 4 января 1921 года: «Изолился я так, что согрешил: маленького мальчишку, который по обыкновению катил навстречу по скользкой панели (а с Моховой путь не близкий, мороз и ветер большой), толкнул так, что тот свалился. Мне стыдно, прости мне, господи».

Такого Блока можно назвать Блоком-Бертраном, чье «печальное человеческое лицо» проступает сквозь загадочно светящийся лик Блока-Гаэтана (герои драмы «Роза и крест» — неудачник с любящим сердцем и надмирно-высокий певец). Под всеми дионисийскими и демоническими масками авторитету, которому это лицо, обращались к нему как к нравственному авторитету, доверительно исповедовались в письмах, просили научить, как жить. Да и сами стихи не были бы живы и бессмертны без угадываемой в них гарантии человеческой надежности. Но, с другой стороны, как раз интеллигентско-артистическая «беспочвенность» и «неустойчивость» делали внутреннюю жизнь Блока «местом, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки» (из его дневника), и в сочетании с огромным и вширь и вглубь даром — площадкой для развертывания мировой культурной драмы.

«Крушение гуманизма» — самое глубокое, думается, произведение в пореволюционной публицистике Блока. Мысли о перерождении культуры в цивилизацию и о столкновении последней со встречным юным культурным потоком сложились у Блока до обнаружения предсказаний Шпенглера (статья-доклад Блока и «Закат Европы» появились в одном и том же 1919 году). А характеристика нового культурного движения как антиэлитарного порыва масс дана Блоком за несколько лет до выхода в свет «Дегуманизации искусства» Х. Ортеги-и-Гассета — эссе, в котором знаменитый испанский социолог, обнаруживая те же два культурных полюса, становится на противоположную избранной Блоком сторону и ходит с козырей, которые в глазах Блока давно уже биты. В «Крушении гума-

низма» Блок высказал то, что копилося в нем всю жизнь как в русском и как в европейце, то, что сделало его поэтом революции задолго до того, как он стал таковым де-факто.

На творчество Блока пора взглянуть с точки более отлетной, нежели та, что позволяет обозреть только два десятилетия — пред- и послереволюционное. Например, в поле обзора должны попасть сразу итальянские стихи Гёте и итальянские стихи Блока, а между ними — «Сцена из Фауста» Пушкина. Ибо Блок совершает свое паломничество в средиземноморские кущи искусства, ведомый тем же, что у Гёте, отточенным возрожденческой гуманистической культурой чутьем прекрасного; но странное дело! — на устах у него брезгливая реплика пушкинского Фауста: «все утопить».

Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах —
Весь груз тоски многоэтажный —
Сгинь в очистительных веках!

(Да, Блок, можно сказать, и дословно повторяет фаустовскую реплику, записывая в дневнике, как «несказанно обрадовала» его гибель «Титаника». Для него «Титаник» — тот самый «корабль испанский трехмачтовый» с богатым грузом «шоколата» и другими буржуазными разностями, который так не приглянулся Фаусту в пушкинской «Сцене».) Как случилось, что именно русский Фауст требует потопить то, чем ни он, ни родное его окружение еще не могли пресытиться («О, нищая моя страна!»)?

В известном письме В. В. Розанову 17 февраля 1909 года Блок подчеркивал свою вольнодумно-гуманистическую, искони оппозиционную бекетовскую родословную («Дед мой — А. Н. Бекетов, ректор СПб университета...»). Однако родословная Блока шире им намеченной и обнимает множество проявлений русского интеллигентского идеотворчества и стиля жизни. От 40-х годов: славянофильская уверенность в том, что развитие России не пойдет по европейскому пути и что в народе хранится неповрежденная — на языке Блока «музыкальная» — истина (впрочем, для Блока не имеющая ничего общего с православием); анархизм Бакунина — революционера из стародворянского семейства (последнее обстоятельство привлекло особое внимание Блока — автора статьи о Бакунине). От 50-х годов: почвенничество и гамлетизм Аполлона Григорьева. От 60-х: не-красовская смесь самобичующей рефлексии (интонации «Рыцаря на час») и гражданского гнева, неожиданная сопредельность душевному стилю Чернышевского (новый тип рыцарства, замешанный на женской эмансипации и накладном обязательстве ни в чем не стеснять свободу женщины в браке). От последующих десятилетий: народническая и толстовская покаянная психология неплательщика, которому стыдно перед пахарем (недаром «старички» из «Русского богатства» приняли Блока «как родного внука» после его выступления о народе и интеллигенции), притяжение к народолюбцам-террористам с нимбом обреченности, соловьевские утопии и эсхатологические предчувствия, общение с русскими нищезанцами и неомистиками, взыскующими революции духа. Можно вслед за Блоком, красноречиво описавшим душевную многоголосицу Аполлона Григорьева, подивиться, как может в одном человеке ужиться такая разношерстная компания. Но это было бы опрометчиво. Потому что все далеко расходящиеся ветви блоковской родословной объединены общим началом антибуржуазного пафоса и в этом смысле направлены прочь от реальности европейского «железного» XIX века. «Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа» — сколько непримиримых между собою врагов могли бы хором воскликнуть так вместе с Блоком!

Да, глашатай «крушения гуманизма» был гуманистом старой складки, университетским гуманитарием и человеком, сочувствующим несчастным и обездоленным, стыдящимся своего относительного благосостояния. Однако перспектива сытого самодовольства, плоского, удешевленного существования была для него едва ли не страшней нищеты и горя. Он хотел видеть Россию прекрасной и счастливой (может быть, «великой демократией», а может быть, чем-то более удивительным, потому что «мало ему конституций!»), а главное, не похожей на современную ему Европу. Иначе говоря, сутью блоковского гуманизма была не

защита человеческой жизни и даже не защита человеческой индивидуальности, а защита человеческого духа от всего, что может его прельстить, полонить, отяжелить, остановить на пути к некоей заветной сверхцели. «Крушение гуманизма» у Блока в том и выражается, что он противопоставляет **духовность** как принцип жизненной динамики не только «буржуазному богатству, растущему незримо злу», но даже и **душевности**, «бытовой» сострадательности и призывает собрата-интеллигента сделать выбор в пользу первой («К чему загораживать душевностью пути к духовности?»).

Во всем этом до сих пор трудно отделить истину от того, что сам Блок с неожиданной в этом случае трезвостью назвал великим соблазном антимещанства. Этот соблазн (включающий упоение разрушительством, противобытовой пафос) должен быть понят во всей его сложности, со всеми тонами масштабной исторической правды (без доли правды никакой соблазн не соблазнителен), со всей серьезностью его последствий для художественной культуры вообще и для «серебряного века» русского искусства в частности. Он овладел сознанием русских символистов, сознанием артистическим по преимуществу, но переливающимся за границу собственно артистической деятельности — искусства. Он тесно связан с их утопией творчества красоты не в символах только, а в жизни, не уединенно, а сообща.

На своей рафинированной верхушке художественная культура предъясняет трезвенно-плоскому миру мещанской цивилизации эстетический счет, который этот мир не в состоянии оплатить. Такой счет может быть предъяснен, надо думать, творя. Во-первых, возможна изоляция художника от неусвояемых его искусством уродств действительности (например, совет Ф. Сологуба: «Времен иных не ожидай, — иных времен и я не стою, — и легкокрылою мечтою уродства жизни побеждай»). Этот путь лежит вне русской духовной традиции. Вторым путем представляется попытка найти в действительности, какова бы она ни была, не только темы лирического неприятия, но и своеобразную «отрицательную», «демоническую» красоту, грандиозность, от которой воспламеняется воображение. Это был путь Брюсова, его урбанизма:

**Мы славим, Прах, Твое Величество,
Тебе ведем мы хоровод
Вкруг алтарей из электричества,
Вонзивших копыя в небосвод!**

(Сравните с блоковским, неизмеримо более гипнотичным: «В кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву...») Наконец, в-третьих, не выдержав своего чистого «словесного» поединка с миром антихудожественного, художник может вознамериться пересоздать его на деле в соответствии с высшей нормой красоты. К этой-то теургической утопии толкали символистов и их социально-религиозные искания, и их оппозиционно-общественный темперамент, характеризовавший определенную часть русской интеллигентной среды. Как и всякая утопия, она вдохновлялась пафосом действенно-практического отрицания данности. Но как **собственно эстетическая** утопия она отрицала под своим углом зрения, исповедуя великую гибель всего, что не выдерживает испытания красотой. Вот почему экстремистский эстетизм разрушения даже вопреки «постепеновской», «кадетской» личной психологии кое-кого из теургов стоял, что называется, у колыбели этой утопии. Вяч. Иванов в стихотворении «Кочевники красоты», обращенном к художникам, восклицал: «Топчи их рай, Аттила!» — топчите рай буржуа. Сами «кочевники красоты» — это в одном обличье и бруссовские гунны и те «мудрецы и поэты», которые у Брюсова встречаются кочевой набег «приветственным гимном». Мятёжное начало определяется как начало собственно художественное. И такова же позиция Блока.

Впоследствии Вяч. Иванов, как бы откликаясь на ироническое напоминание Брюсова, обращенное к заробевшим:

**Вам были любви — трагизм и гибель,
Иль ужас нового потопы,—
И вы гадали: в огне ль, на дыбе ль
Погибнет старая Европа? —**

размышлял

Да, сей пожар мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.

О «старой Европе» Брюсов вспомнил в своей революционной инвективе не напрасно. Как раз ее гибель и ожидалась: ведь это ее покинул дух красоты, это ее вены вздулись от «черной, земной крови». Европе противопоставлялась Россия будущего как сосуд красоты, еще не явленной³.

В 900-х годах, накануне и после первой русской революции, символисты очень серьезно и преданно обратились к русской теме. Но Россия бралась прежде всего не как социальная или историческая, не как культурная или религиозная, а, по выражению о ней Блока, как «лирическая величина», как последняя надежда артиста на богоявление красоты, все равно — «тихой» или «разбойной», как надежда на новую художественную музыку. Казалось, надо только освободиться из плена «петербургского периода русской истории», срезать народным плугом весь верхний пласт устоявшейся жизни, в котором под петербургско-бюрократической эгидой уже проросли семена буржуазности (возьмите хоть стихотворение Блока «Петр»: не кто иной, как Медный всадник размахивает «зловонным кадилом», дирижируя вечерней городской оргией), — и тогда эта музыка зазвучит!

Конечно, решающие исторические сдвиги направляются не нервными перстами артистической элиты. Символисты были скорее культурным симптомом революционного времени; в их сердцах уже «отклонилась стрелка сейсмографа». Однако на путях искусства, на путях поэзии они добились поразительной, если оглянуться на зологой пушкинский век, переориентации, которая стала очевидна благодаря тому, что среди них появился великий, эпохальный поэт — Блок. Явление Блока показало, что давно миновало гармоническое пушкинское равновесие между человеком и поэтом, когда сферы человеческого и артистического разумно разделены между собой и косвенно соотнесены в единой высшей правде, питающей целостную личность. Блок раскрыл иную ситуацию: поэт не хочет действовать внутри культуры, потому что культура перестала быть поэтической (на языке Блока перестала быть музыкальной). Поэт не хочет больше жить только жизнью слова и потому мешает человеку жить семьей, домом, бытом и т. д. Или, поэт своим легким словом не в состоянии поднять ввысь слишком отяжелевший мир и потому желает ему гибели — пусть даже ценой собственной гибели как человека, как сына определенных, идущих из прошлого среды и уклада.

Муза Блока — это русская муза, на которой мир (если перефразировать слова Е. Кузьминой-Караваевой, сказанные о поэте) сосредоточил «все свои самые страшные лучи». Ее трагизм должен быть понят в мировой перспективе культурного кризиса: материальная культура, захваченная великим соблазном мещанства, и против нее — художественная культура, захваченная великим соблазном антимещанства. Недаром сам Блок в «Возмездии» соотносит свой путь не только с семейной и отечественной историей, но и с мировой панорамой двух столетий (другие произведения, перекликающиеся с «Возмездием», — «Младенчество» Вяч. Иванова, «Первое свидание» Андрея Белого — не выводят к этой мировой постановке темы).

У Пушкина поэт-Эхо и поэт-Пророк, поэт-Настоящее и поэт-Грядущее совпадают в едином служении, в едином назначении: в поэте отзывается сущий мир — «и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье», — и здесь, в его живом корне, поэт пророчески находит начатки грядущей красоты. На что ни откликается муза Блока, все обращается в красоту, гармонию, напев, но сам поэт отворачивается от красоты настоящего и содрогается при виде «жирных румян» на «лживом» лице жизни. Он становится, таким образом, пророком чистого порыва («Остался один ELAN. Только полет и порыв...» —

³ Позднее, в 1919 году, Блок писал: «Мы работаем для России... а европейская цивилизация в России никогда не привьется и даже будет встречать такое сопротивление и такую вражду, что всем, кто не может или не должен отказаться от нее, придется рано или поздно или погибнуть, или покинуть Россию».

дневниковая запись 20 февраля н. ст. 1918 года). И этот зов Рыцаря-Грядущего, Фауста-Гаэтана поистине «роковой и бесцельный», так как, чтобы наполнить смыслом грядущее, нужно и в настоящем любить вечное... Здесь права остаются только за даром, так сказать, сейсмографическим («...как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России»), за вещей обуянностью той тревогой, какую Блок приписывает Владимиру Соловьеву, но ирисит в себе сам.

Проницательный исследователь блоковского творчества Д. Е. Максимов обронил замечание о преемственной связи в лирической мысли Блока раннего образа Прекрасной Дамы и позднего символа стихии. Действительно, высшее оформление, олицетворение мировой красоты ввиду упорного блоковского неприятия какой бы то ни было статичности, «оседлости» стремится кануть в стихийную дооформленность и расточиться в гениальном всплеске, каковым и была поэма «Двенадцать».

В нее Блок вложил порыв всей жизни, тот «ветер», который нес его сквозь межреволюционное десятилетие. Красногвардейцы «Двенадцати» представляются поэту «сиротливой деревянной церковью», святым островком духа музыки посреди «похабной ярмарки» цивилизации. Они близки автору лично. Поэма поражает редким согласием, слитностью лирического и эпического начал, потому что лирик-повествователь без всякого внутреннего сопротивления вбирает в себя голоса двенадцати, их реплики, точки зрения. (Насмешливо-снисходительное: «Всякий ходок скользит — ах, бедняжка!» — или насмешливо-угрожающее: «Что нынче невеселый, товарищ поп?»). Кто это говорит? Повествователь. Но точно так же — любой из двенадцати. Рассказчик мог бы быть тринадцатым среди них!) Между героями и повествователем существует, конечно, дистанция, определяемая состраданием, ответственностью, чувством личной вины за социальное неравенство: Петька для него «бедный убийца», а в решающей сцене с Катькой на иллюстрации Ю. Анненкова Блок хотел бы видеть присутствующего в «левом верхнем углу», за густым снегом Христа как знак сораспятия и с жертвой убийства и с жертвой-убийцей. Недаром также строка: «Холодно, товарищи, холодно!» — это тоскливый отзвук некрасовской песни из «Кому на Руси жить хорошо», песни о нищих и бездомных. Но еще сильнее в поэме лирические и «метафизические» мотивы притяжения революции. Так, Христос в финале «Двенадцати» появляется не просто перед отверженными и «последними» (во освящение социальной справедливости), а перед теми, кто, как хотелось бы самому Блоку, «ко всему готовы» и кому «ничего не жаль», — перед теми, кто возлюбил порыв больше мира и того, что в мире.

Поэма и по сей день волнует неразгаданными загадками. Все, что Блок увидел и расслышал в те потрясающие дни (а он даже полагал, что «оглох» из-за того, что подслушал величайшую тайну истории), — все это он вложил в поэму, не ища и не давая объяснений. Он увидел, как двенадцать уходят в даль времен. (В одиннадцатой главе поэмы цепочка дозорных, продирающихся однажды «черным вечером» сквозь пургу, превращается в символическое шествие: «И вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет».) Увидел, как плетется позади старый мир — «нищий пес голодный», и стальные винтовочки двенадцати наставлены не на этого пса (ему достаточно пригрозить штыком), а на скрытого впереди, то есть в грядущем, «незримого врага». Кто же он? Некоторые толкователи полагали, что это лицо, являющееся в финале. Но такой ответ, вероятно, был бы буквализацией и огрублением символического языка (тем более что финальный образ имеет народные, низовые обертоны, откуда и просторечное — с голоса самих двенадцати — произнесение имени «Исус»). Думается, «незримый враг» для героев поэмы — вообще всякий покой, всякий гармонизирующий предел стихийной динамики, который тем не менее это движение, эту динамику даже без ее ведома невидимо и «надвьюжно» направляет. Убедителен или неубедителен такой именно ответ, но, как бы то ни было, с вдохновляющей всех нас надеждой Блок ждал небывалых решений и ответов от своей родины. И загадочный апофеоз поэмы побуждает вспомнить слова Александра Блока о художниках: это те, кто «смотрят сквозь тучи и говорят»: там есть весна, там есть заря».

Н. В. ЛОЩИНСКАЯ

★

БЛОК И ЕГО РОДНЫЕ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

По архивным материалам

В рукописном отделе Пушкинского Дома среди автографов и семейных документов из архива Блока хранятся письма А. А. Кублицкой-Пиоттух и Л. Д. Блок, матери и жены поэта, двух равно близких и жизненно необходимых ему людей, на протяжении всего пути связанных с ним крепчайшими узами — кровными, духовными, житейскими.

Письма Александры Андреевны к родным частично публиковались. Как и письма самого поэта, они легли в основу биографических очерков о Блоке. И все-таки можно вновь и вновь обращаться к ним — столь богатый и разнообразный материал дают они, особенно для осмысления последних лет Блока, такого насыщенного, и героического, и трагического периода его жизни. В этом ракурсе письма А. А. Кублицкой-Пиоттух М. А. Бекетовой 1919—1921 годов неocenимы как источник непосредственной информации о душевном состоянии Блока, о событиях и атмосфере тех лет, о быте, который отчасти определял и эмоциональное и физическое состояние поэта, и — что немаловажно — помогают бороться с искажением блоковской поэзии по отношению к революции.

Несколько слов об адресате. М. А. Бекетова, или тетя, как называла ее в письмах мать Блока, — младшая сестра Александры Андреевны (у А. Н. и Е. Г. Бекетовых было четыре дочери: Екатерина, Софья, Александра и Мария; и, кроме второй дочери, все Бекетовы были причастны к литературной работе). Мария Андреевна писала стихи и сказки для детей, изобретала увлекавшие Блока шарады, работала в области популяризации научных знаний, подготавливала так называемые переложения книг для народа.

При склонности к поэзии и музыке, которую Мария Андреевна также занималась всю жизнь, по природе своей она была более рационально настроена, нежели самая, по ее словам, тонко организованная из всех сестер — мать Блока. Мария Андреевна признавала большую, на ее взгляд, одаренность старшей сестры, глубину и исключительность ее восприятий и стремилась, не утрачивая индивидуальности, быть как можно ближе к ней.

Любя Блока и его мать «до крайности», Мария Андреевна признавалась, однако, что они утомляли ее, и «не только капризами своих настроений, но также и вечно приподнятым строем, не допускающим ничего, кроме «звуков сладких и молитв»...». Но и сама Мария Андреевна не отличалась ровным темпераментом, быстро возбуждалась, легко впадала в меланхолию, и сестры, как выразился бы современный психоневролог, генерировали друг друга. Это не мешало М. А. Бекетовой быть частой гостьей у А. А. Кублицкой-Пиоттух и у Блоков, летние месяцы проводить вместе с ними в Шахматове, а после революции она даже жила в одном доме с ними на Офицерской, в комнате, которую нашел для нее поэт.

4 февраля 1919 года Мария Андреевна, заболев в голодном Петрограде,

уехала в Лугу. С отъездом связь между сестрами не прервалась. Личное общение заменяли письма. Александра Андреевна писала часто. «Каждый день вписываю... что-то вроде дневника» — так определяла она, например, жанр своего послания от 16—20 декабря 1920 года. О том, как велика была потребность высказаться и быть понятой родным человеком, свидетельствовали ее настойчивые просьбы к сестре вдумываться «в каждую фразу», «читать между строк». «Тогда и о твоих делах будет тебе ясно, и о наших». Попытаемся и мы взглянуть в эти письма.

Конечно, более всего они полны Блоком. «Когда он (Блок. — Н. А.) приходит и если благожелателен к маме, я все скорби, весь ужас смертельной тоски забываю. Тут, в этом месте, не зарастает живое, бьется. Этим существую», — признавалась Александра Андреевна сестре 17 мая 1919 года. И Сашура, как называли поэта в семье, по-прежнему оставался неисчерпаемой темой для обеих сестер. За строкою писем порой ощущается непосредственное, сиюминутное присутствие Блока.

3 мая 1919 года. 8 часов вечера. Сообщение с пригородами еще не прервано. Только что с деньгами и вестями для младшей сестры уехала от Александры Андреевны верная домоправительница Марии Андреевны — Аннушка, Анна Ивановна Шелгунова, исполнявшая в эти годы роль связной между сестрами. Аннушка за порог, а Александра Андреевна тут же берется за перо, чтобы сообщить сестре важные новости: «...спешу написать тебе опять. Сейчас пришел Душенька¹ и сказал, что объявлено в Петербурге и губернии осадное положение. Вышел приказ все печатание приостановить ввиду отсутствия бумаги, рабочих (всеобщая мобилизация)».

Приказ о мобилизации затрагивал Блока. И это не могло не волновать Александру Андреевну. По возрасту поэт входил в число лиц, подлежащих призыву. Правда, в мае ему была предоставлена отсрочка впредь до особого распоряжения, а 28 февраля 1921 года он был отчислен по достижении предельного возраста. Отношение же самого поэта к военной службе было непростым.

В марте 1918 года, в один из духоподъемных моментов своей жизни, Блок был готов сотрудничать с революцией в любых формах. 1 марта он записал в дневнике: «Главное — не терять крыльев (присутствия духа). Страшно хочу мирного труда; но — открыленного, не проклятого [...] Красная армия? Рытье окопов? «Литература»? Все новые и новые планы. Да, у меня есть сокровища, которыми я могу «поделиться» с народом».

К маю 1919 года настроение поэта несколько изменилось. Он по-прежнему вносил революционный пыл в дело культурного строительства молодой республики, но затянувшаяся гражданская война, сопряженная с кровопролитием, разрухой, голодом, воспринималась поэтом-романтиком как идущая на убыль стихия самой революции.

Положение в стране, и особенно в Петрограде, весной 1919 года было крайне серьезным. С юго-запада к городу вплотную приблизились войска Юденича. Город жил и работал под аккомпанемент «надоевшей», как позднее определил ее Блок, канонады. Одиночные выстрелы, ружейная пальба, взрывы бомб и слухи, бесконечно и со всех сторон ползущие слухи — вот своего рода звуковой фон записной книжки поэта этих месяцев. Например, 8 февраля 1919 года Блок отметил: «Слухи о белогвардейцах в 40 верстах». А весной появились «упорные слухи» «о Маннергейме», об участии Финляндии в готовящемся наступлении Юденича.

13 марта 1919 года, выступая на митинге в Народном доме в Петрограде, Ленин говорил о международном и внутреннем положении Советской республики. Отчет публиковался в газете «Северная коммуна» 14 марта 1919 года. В нем читаем: «Мы вступили в тяжелое, голодное полугодие, когда все наши внешние и внутренние враги [...] пытаются свергнуть власть Советов [...] нам придется пережить полугодие еще более тяжелое, чем только что истекшее [...] Указав [...] на ту продовольственную помощь, которую [...] окажут Дон и Украина, тов. Ленин восклицает: «Это полугодие — последнее тяжелое полугодие!»...»

¹ Так Александра Андреевна называла Блока.

Даже в далекий от политики мир Александры Андреевны врывается с газетной полосы эта ленинская речь. С мужественным стоицизмом сообщая сестре о трудностях жизни — «все дорожает», «пропитание все затруднительнее», — она писала ей о выступлении вождя: «Ленин в одной из своих официальных речей объявил, что теперь наступает самое тяжелое из всех полугодий, но это — последнее...»

И поразительно, как эта маленькая, хрупкая, немолодая женщина, отягощенная многочисленными недугами, находила в себе силы поддерживать не только сестру, но порою и сына-поэта своим пониманием, тем, что умела видеть происходившее его глазами, его сердцем. Она старалась скрыть свою слабость, по мере сил помогать детям и призывала сестру шире взглянуть на происходящее, не требуя для себя никаких привилегий. «Да ты посмотри, как сейчас все вокруг живут», — восклицала А. А. Кублицкая-Пиоттух в одном из писем, видимо, в ответ на жалобы Марии Андреевны. «[...] право, то, что у вас три разрозненных чашки и нет салатника как ты пишешь, не трагично по сравнению с другими обстоятельствами. Это все Аннушкины (то есть А. И. Шелгуновой. — Н. Л.) горести, ее неспособность ни с чем помириться и отделить главное от мелочного», — повторяла она 25 января 1921 года.

Вообще стоит заметить, что для эпистолярного стиля Александры Андреевны вовсе не была свойственна меланхолическая тональность. По своему интонационному строю и лексике письма ее весьма экспрессивны и свидетельствуют о ее сжатой, как пружина, духовной энергии.

И действительно, мать Блока не только сама интересовалась культурными начинаниями Петрограда, но и старалась подробными рассказами о литературных вечерах, лекциях, концертах, театральных постановках восполнить недостаток духовной пищи в жизни сестры, стосковавшейся, по выражению Александры Андреевны, «по интеллигентному». Сообщала она, например, о лекциях во «Всемирной литературе», заинтересовавших Марию Андреевну. В феврале 1919 года при издательстве «Всемирная литература» была открыта Студия художественного перевода, а при ней существовал отдел, устраивавший циклы публичных лекций «Всемирная литература XIX—XX веков». Блок был объявлен в числе участников Студии и позднее выступал на ее вечерах.

Много рассказывала А. А. Кублицкая-Пиоттух о литературном окружении поэта, о его друзьях и недругах, о его работе в театральном отделе, во «Всемирной литературе», в БДТ, в «Союзе поэтов», в Вольной философской ассоциации, о его связях с издательством «Алконост» и о многом другом. Кстати, упоминаемые в ее письмах заботы Блока о рукописях Марии Андреевны в какой-то степени дополняют наши представления о его связях с журнальными, издательскими и театральными кругами.

Сквозь личную интонацию и оценки Александры Андреевны (например, когда весной 1919 года она радовалась сближению Блока с Горьким: «Наконец-то они сговорились и до некоторой степени оценили друг друга») иногда как бы пробивается живой голос Блока, его характерные словечки, чувствуется его реакция на описываемые матерью события. И это был не просто отзвук блоковских рассказов. По ряду существенных проблем мать разделяла позицию сына. В частности, по вопросам о судьбах культуры и интеллигенции в мировом историческом процессе.

В восприятии революционных событий Александра Андреевна, разумеется, во многом отличалась от Блока², и, безусловно, она не обладала ни его ощущением исторической перспективы, ни размахом его творческого созидательного начала. Говоря в одном из писем о своем отрицании искусства для искусства, она заявляла: «И это все глубоко в моей скифской натуре», тем самым подчеркивая в себе разрушительные начала, которые она в значительной степени передала и сыну. Разлагающейся буржуазной культуре, приводящей к крайнему индивиду-

² По свидетельству М. А. Бекетовой, революцию мать поэта «приняла сначала с недоверием и опаской, но мало-помалу увлеклась личностью Ленина и уверовала в его гений и бескорыстие» (в кн.: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л.—М. «Петроград». 1925, стр. 159).

лизму, следствием которого являлся хаос моральных представлений, поступков, оценок, мать Блока противопоставляла свое тяготение к природе. «А природу все страстнее люблю [...] Постоять бы среди цветущего луга, среди шумящего леса, среди деревенского сада...» — восклицала она в письме сестре от 31 мая 1920 года. Свойственный ей максимализм чувств и суждений, внесение «горячей температуры» во «все случаи жизни» — все это было сродни жизненной позиции поэта, стремившегося преодолеть хаос индивидуалистического существования, приобщиться к вселенской гармонии, слиться с музыкой земных стихий, которую в канун 1918 года он ощутил в свободном изъятии воли восставшего народа.

Некоторые антиномии блоковского поэтического мышления были органически присущи и миропониманию А. А. Кублицкой-Пиоттух, хотя, конечно, имели более аморфный и менее идеологизированный характер. К примеру, эмоциональному накалу, характерному для жизнеощущения художников, подвижников, прокрюков, она противопоставляла вялый всеядный либерализм буржуазной интеллигенции, который обозначала обобщающим понятием-символом — кадетство. Причем из ее писем явствует, что в ее понимании кадетство — это не столько конкретная мировоззренческая платформа или же принадлежность к политической партии, сколько определенное состояние духа, точнее отмирание его. И «термин» этот приобретал в ее устах, как и в упогреблении Блока, ярко оценочный характер, служа мерилом ее отношения к тому или иному человеку или событию. Положим, характеризую атмосферу, царившую на пушкинском вечере 13 февраля 1921 года, Александра Андреевна так передавала впечатления свои и сына: «Закрытое первое заседание было, по словам Сашки, торжественнее. И Сашкина речь тогда имела огромный успех. Здесь же публика ужасная и густая атмосфера кадетства. Знаешь, для меня, оказывается, это самое тоскливое, самое мучительное явление — кадетство [...]». А в следующем письме — видимо, в ответ на недоумения сестры — уточняла: «Затем: насчет кадетства. Это вид русского либерализма. С этим рождаются».

Примечательное сопоставление находим мы в письме Александры Андреевны от 25 мая 1919 года. Мать Блока рассказывала в нем о непонимании, «дальше которого идти нельзя», между нею и одной ее давней приятельницей, дружившей также и с Марией Андреевной. «Все больше убеждаюсь, — разъясняла она сестре, — что либерализм — это крест могильный. Сколько тоски, и какой страшней смертной тоски, в его атмосфере: большего тупика, кажется, нет». И противопоставляла этому непониманию настроение вечеров, проведенных с «Сашей и Любкой», или же в беседах с Евгенией Федоровной Книпович, молодым литератором, которую Блок назвал верным другом семьи.

Кстати, появившуюся возле Блока в эти годы молодежь (Е. Ф. Книпович, С. М. Алянский, Н. А. Павлович и другие) Александра Андреевна встречала весьма приветливо. «Я служу чем-то связующим между Надей (Павлович. — Н. А.) и Женей (Книпович. — Н. А.) и моим Душенькой, — писала она сестре, — Женя-то уже совсем своя. Люба ее наконец полюбила и оценила, найдя в ней — понимание живописи, старинного и специально — фарфора». В свою очередь, для Александры Андреевны были особенно важны признание и любовь молодежи из-за присущего ей давнего комплекса вины (перед сыном, самою собой, окружающими), обострившегося с 1921 года. Тому были свои причины. В одном из писем мать поэта сообщала Марии Андреевне свой разговор на эту тему с Ольгой Дмитриевной Форш, с которой дружила со времен сотрудничества в детском журнале «Тропичка», то есть с зимы 1911 года. Все в этом разговоре было примечательно — и предмет беседы и общий строй ее. Напомню, что О. Д. Форш приехала незадолго перед тем из Киева и навещала Блока и его мать, очень ценившую ее как личность. В одну из встреч Ольга Дмитриевна, по словам Александры Андреевны, многое ей объяснила. «Так проникновенно, глубоко, красноречиво и талантливо она меня рассказала [...] Сама себя загубила вторым браком, завязла в своем коконе, не дала ничего от своих богатств, потому что не так жила [...] Мне оправдание — такой сын». Так передавала вкратце мать поэта содержание разговора с Форш и заключила: «Главное — это отделаться от отсебятины, истратиться...» Иными словами — преодолеть эгоцентризм, реализовать себя в активной творческой деятельности. И с тем большим рвением она стремилась помочь сыну в это грядущее для него время.

Александра Андреевна держала корректуры, переписывала его статьи, редактировала для издательства «Всемирная литература» перевод (А. А. Веселовского) средневекового романа «Тристан и Изольда» (в стилизованном пересказе Жозефа Бедье), помогала рецензировать многочисленные пьесы. Причем порученное выполняла «и добросовестно, и талантливо», как, по словам М. А. Бекетовой, оценивал работу матери Блок. «Душенька дает мне кое-какую работку: переписку, своряг кое-что. Все это я делаю быстро, залпом», — писала она сестре 26 марта 1920 года. И с жаром бралась даже за неблагодарную и трудную для нее работу, если это могло быть полезно сыну. Например, с гордостью сообщала, что переписала для подготавливаемого Блоком тома «Избранные стихотворения» Бальмонта «кучу» бальмонтских стихов, но в результате окончательно невзлюбила этого поэта. Или рассказывала, что ей «пришлось взять в руки Лермонтова (для мощи Душеньке)» и что она «была поражена глубиной, гениальностью этого обреченного и знающего свою обреченность» поэта. «Но полюбить его — все-таки» не смогла.

Отношение к работе также сближало Александру Андреевну с сыном. Перелистаем для сравнения записную книжку поэта за 1919 год. В эти труднейшие для Петрограда месяцы каждый день Блока был заполнен до предела. Работа над поэмой «Возмездие», перелелка «Песни Судьбы» для четвертого издания «Театра», подготовка к печати статей и прозаических отрывков, редактирование переводов из Гейне для готовящегося собрания стихотворений, переговоры с Ионовым об издании «Двенадцати» в типографии Смольного, заседания во «Всемирной литературе», редактирование сборника «Репертуар», председательствование в режиссерском управлении Большого драматического театра, выступления перед спектаклями, проведение репетиций, участие в открывающейся Вольной философской ассоциации и многое, многое другое.

В записях о нескончаемой работе тонут скупые, но предельно выразительные упоминания о быте осажденного города: «Небывалое отсутствие еды и небывалые цены», «Свирепствует сыпной тиф», «Все представления запрещены», «Без трамваев»... И при этом упорное желание преодолеть все бытовое, личное, индивидуалистическое и зависимость от того, что Блок называл поганой чувственностью, — от папирос, еды, которые доставляли, по его словам, «несказанное удовольствие, когда это редко и дорого, — и почти никакого, когда доступно».

Постоянно прорываются в его записной книжке и в дневниковых записях тех лет отзвуки политических событий, от которых, считал тогда Блок, поэт был не вправе устраниваться. Даже сам перечень его творческих начинаний и дел в годы революции в значительной мере может служить опровержением того, что Блок будто бы «оскудел» после «Двенадцати» и «Скифов». На это указывал еще в 1936 году один из первых исследователей, получивших доступ к архиву Блока, — П. Н. Медведев.

При этом работа, всегда служившая одним из способов гармонизации внутренней жизни и испытанным, по словам Блока, средством борьбы с «личными трагедиями» и подстерегавшим его «хаосом», продолжала и в эти годы морально поддерживать поэта. Даже весной 1921-го, уже серьезно больной, он много писал, и Александра Андреевна в числе причин, по которым она не могла немедленно уехать в Лугу, называла свою помощь сыну. «Все ему переписываю — порядочно. Он ведь пишет статьи — одну за другой, очень интересные», — сообщала она сестре 12 апреля 1921 года. Но силы Блока убывали, перепады настроений, связанные не только с внешними впечатлениями, но и с подступающей болезнью, становились резче. Все реже возникали проблески светлого настроения.

В одном из писем мать поэта сообщала, с каким «милым видом» Блок предложил проредактировать пьесу Марии Андреевны по сказке Н. Д. Ахшарумова «Ветрова хозяйшкa» и послать ее для постановки в Первый государственный театр для детей в Москве. И тут же Александра Андреевна в отчаянии восклицала: «Но теперь он больше мрачный и страшно худеет [...] Писать стало невмочь [...] все бы отдала, только бы он был здоров и так не мучился».

Была еще одна причина усугублявшейся мрачности Блока, и Александра Андреевна ее хорошо понимала. Это обострившийся конфликт между нею и Любовью Дмитриевной. В какой тугой трагический узел затянулись их и до того сложные взаимоотношения, если в марте 1921-го, еще не сознавая отчетливо,

сколь близок был к гибели сам поэт, Александра Андреевна писала в Лугу: «Положение такое, что мне необходимо уехать от Саши. И не только на лето. Вообще. Я уже говорила об этом и с Любой, и с Сашей. Саша волнуется, сердится и говорит, что ничего этим не поправишь, — только смерть одного из нас трех может помочь. Это его слова». После смерти Блока в разговоре с одним из наиболее близких ей духовно людей — Андреем Белым — Александра Андреевна вспоминала эти слова сына, с горечью признавая, что он оказался прав: когда его не стало, отношения ее с Любовью Дмитриевной выровнялись, ссоры прекратились.

Трудно, почти невозможно разобраться в этом запутанном клубке отношений. И если мы затрагиваем эту тему, то только потому, что без нее многого не понять в настроениях Блока последних лет жизни. Вспоминая о «великом пламени любви», которое он «носил в себе» в молодости, поэт говорил, что чувство его приобрело такой небывалый смысл оттого, что носителями его были Любовь Дмитриевна и он — «люди необыкновенные». Но та же незаурядность поэта, его матери и жены обусловила глубину и трагический исход семейного конфликта.

Неоднозначные отношения складывались между Александрой Андреевной и Любовью Дмитриевной на протяжении почти десятиков лет. Одни исследователи и мемуаристы определяют их как явную недоброжелательность; другие полагают, что Александра Андреевна, втайне не любя невестку, все же не могла не испытывать влияния мистического отношения к ней сына; третьи пишут об уважительных отношениях, но отсутствии подлинной сердечности между ними. Незадолго до смерти жена поэта, познакомившись с резкими высказываниями в ее адрес в дневниках М. А. Бекетовой и в письмах Александры Андреевны к сестре, признавалась, что первым ее порывом было сжечь эти письма, но следующая мысль другая: нельзя. И надеялась, что со временем литературоведы «научно» разберутся «во всем этом». Однако и сейчас, спустя много лет после разыгравшейся семейной драмы, исследователи не берутся всесторонне и с полной мерой объективности рассматривать все причины трагедии в семье поэта. Не будем пытаться сделать это и мы. Но попробуем хоть немного дополнить наши представления о взаимоотношениях матери и жены поэта в этот тяжелый для него и для них период.

Прежде всего стоит отметить, что даже в послереволюционные годы, пока Александра Андреевна жила отдельно от Блоков, ее отношения с невесткой, по крайней мере внешне, были вполне доброжелательными. Любовь Дмитриевна помогала свекрови, ухаживала за ней во время болезни. «Люба мне помогает, — писала мать поэта сестре 17 декабря 1919 года. — Душенька тоже». При этом Александра Андреевна стремилась подметить все положительные стороны во взаимоотношениях поэта и его жены. Например, сообщая: «Саша с Любой постоянно по театрам», — она заключала: «Это очень хорошо. Это их еще сближает». В другом письме радовалась тому, что Блоки привели в порядок свою квартиру после переноса в нее мебели Марии Андреевны. И вновь поэт и его жена воспринимались ею нераздельно: «У них краса. Я вчера любовалась, как они с Любой все умеют устроить». Она рассказывала Марии Андреевне, какой «пир и веселье» начинались для нее, когда к ней приходили пить чай «Саша с Любой» или же когда она сама поднималась вверх «к детям» отогреваться душой и телом — в столовой у Блоков было гораздо теплее, чем в квартире матери. Когда же после смерти Франца Феликсовича заболевшая Александра Андреевна временно поселилась у сына, то заверяла сестру: «Саша заботится обо мне очень. И Люба хороша». А в следующем письме от 5 февраля 1920 года добавляла: «Как только я заболела, Люба стала ухаживать [...] за мной, кормить меня яйцами, белым хлебом, и все это с силой, доброй улыбкой [...]. И вот уже три дня — ни тени раздражения. А ведь Душенька тоже болен и лежит неделю». Даже повествуя о трудностях совместной жизни, она оправдывала раздражительность невестки бытовыми неурядицами и призывала сестру: «Будем же беречь друг друга, чтобы сберечь детей». «Саша ведь без Любы уже не может», — вынуждена была признать Александра Андреевна в письме от 25 января 1921 года.

Действительно, в первые послереволюционные годы поэт находил в жене необходимым ему поддержку и заботу. По его записным книжкам и дневникам, по письмам А. А. Кублицкой-Пиоттук М. А. Бекетовой, по мемуарной литера-

туре можно судить о все возрастающей в те годы потребности Блока в постоянном общении с женой. Поэт делился с ней творческими планами, прислушивался к ее советам, с ее помощью начинал работу над новой пьесой, вечерами читал ей в подлиннике Гейне... Помимо работы в театральном совете, выступлений с чтением «Двенадцати» и другой общественно-культурной деятельности Любовь Дмитриевна приходилось заниматься всеми хозяйственными делами. И нельзя не отметить, что благодаря ее стараниям питались в доме Блоков, по свидетельству Александры Андреевны, «иногда прямо роскошно для времени». Об этом подробно писала мать Блока в письмах Марии Андреевне. Она сообщала, что Любовь Дмитриевна ходит «за пайками, которых 2 теперь, очень хороших... Тяжело Любе носить, но она носит», или что «У Саши и у Любы карточки «горячие» — такое название. Поэтому бывает и мясо, и сахар, и масло. Денег же у них мало. — И добавляла: — Все делается, чтобы ему (Блоку. — Н. Л.) достать масло и сахару — 2 главные вещи». «Чтобы Блок мог не голодать, исполняя свою волю и долг — служба Октябрьской революции не только работой, но и своим присутствием», жена поэта безропотно рассталась с коллекциями кружев и старинных шалей, с вещами из своего актерского гардероба. Блок же если и хлопотал о хлебе насущном, то, как правило, не для себя, а для тех друзей, которые, на его взгляд, особенно нуждались. И, как явствует из писем А. А. Кублицкой-Пиоттух, Блоки щедро делились всем, что у них было, с близкими и знакомыми.

Осенью 1920 года Любовь Дмитриевна поступила в Театр народной комедии под управлением С. Э. Радлова, размещавшийся в так называемом Железном зале Народного дома на Кронверкском проспекте (ныне проспект М. Горького). В увлеченности жены поэта новым театром таились особые сложности, ибо режиссерские замыслы Радлова, всецело захватившие Любовь Дмитриевну, принципиально расходились с идеями «театра высокой драмы», которые Блок воплощал на сцене Большого драматического театра. Поэт сознательно ориентировал этот театр на противостояние театрам «опытов и исканий», к каковым относилась и радловская труппа.

Это было уловлено театральной критикой, порою противопоставлявшей Театр народной комедии Большому драматическому театру. В одной из рецензий на радловскую постановку «Виндзорских проказниц» Шекспира, озаглавленной «Настоящий Шекспир», писалось: «Мы наконец увидели подлинно шекспировский спектакль — яркий, звучный и стремительный, не осложненный тяжелой артиллерией современной сцены», — причем последние слова явно относились к шекспировским постановкам в БДТ. Автор другой рецензии выразился еще резче: «Шекспир в Железном зале был поставлен бесконечно правильной и талантливой, чем похороны Шекспира в иных театрах под балдахинном с перьями». Видимо, подразумевая эти и подобные им высказывания, Александра Андреевна с горечью писала сестре 14 декабря 1920 года: «В газетах ругают Большой драматический с его пышным Шекспиром, постановки Бенуа, Добужинского, Щуко, и хвалят Народный». И добавляла, что «пышные» постановки Шекспира в БДТ — это по современным понятиям «мертво», «похороны Шекспира с перьями», а «соответствующим современности» признан театр Радлова, «где Люба». Однако надо иметь в виду, что в той же газете, в которой была опубликована рецензия, содержащая скрытые выпады в адрес БДТ, печатались перед тем и положительные отзывы о постановках Шекспира, осуществленных возглавляемым Блоком коллективом. Не вдаваясь в разбор театральной полемики, отметим другое — как конфликт, сопряженный с разностью эстетических установок поэта и его жены, преломлялся в семейной жизни поэта.

Предваряя ситуацию, возникшую осенью 1920 года в его собственном доме, и словно предвидя страстные речи Любови Дмитриевны в защиту радловских идей, Блок, всегда предостерегавший актеров БДТ от «опасных», на его взгляд, путей экспериментального театра, обращался к ним в мае 1920 года с такими словами. «Вы скажете: ничего, что этот путь опасен, все равно им следует идти. Не спорю, не хочу спорить; есть и такой путь, и тот, в ком есть ненасытность, в ком очень раздражена и очень бушует кровь, рано или поздно бросятся на этот путь. Может быть, бросятся на него и некоторые из нас». И когда таким ненасытным, алчущим нового человеком, бросившимся на путь исканий, оказалась жена поэта, он, как и в предыдущие годы, не считал себя вправе мешать ей в ее по-

пытках творческого самоопределения. Недаром письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух, в котором говорилось об увлечении Любови Дмитриевны Театром народной комедии, заканчивалось следующей репликой: «Душенька не хочет мешать, но не рад этому». В письме от 22 октября 1920 года она делилась с сестрой мнением по поводу Театра народной комедии: «...этот театр — черт знает что. В «Виндзорских кумушках» будут участвовать клоуны, человек-змея и т. д. Сокращено сильно. Репетиции несерьезные, костюмы карикатурные». Нетрудно представить, какое действие могли оказывать на Любовь Дмитриевну подобные высказывания Александры Андреевны и как это обостряло их и без того напряженные отношения.

К началу 1921 года обстановка в доме все более омрачалась ссорами, взаимными упреками, перетягиванием Блока то на одну, то на другую сторону. Мучительность ситуации остро ощущалась Александрой Андреевной. «В твоём письме мне странно, как ты нас хвалишь троих. Любить — это я понимаю — можно всяких. Но хвалить-то нас не за что. Тяжелые мы все трое и все обидчики [...]. Твой буколический тон очень не соответствует такому „ритму“», — выговаривала она сестре 2 ноября 1920 года. И все-таки обе женщины, видимо, не отдавали себе отчета в том, до какой степени губительно действовал разлад на поэта, и без того находившегося на грани физических и душевных сил. Ведь ему по-прежнему были необходимы и дороги обе женщины.

Понимание между матерью и сыном, по наблюдению современников, имело почти телепатическую природу, порою возникая помимо слов. Издатель «Алконоста» С. М. Алянский признавался, например, что он скептически относился к рассказам Марии Андреевны о способности Блока и его матери «предвидеть какие-то события и на расстоянии» чувствовать «тревогу и волнение друг друга», пока сам не убедился в существовании подобного контакта между ними. Он вспоминал, как однажды в начале апреля 1921 года, дожидаясь Блока, беседовал с его матерью. Внезапно голос Александры Андреевны начал падать, она стала безучастной к разговору и вдруг, обратившись лицом к двери, воскликнула: «Сашенька, что случилось с тобой?» А через несколько минут, рассказывал изумленный Алянский, входная дверь действительно хлопнула, «резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович», угнетенный тяжелыми впечатлениями дня — выползавшими «из всех щелей» звуками «омерзительной пошлости», теми приметамипа, которые столь болезненно воспринимались поэтом, видевшим в них возвращение «теней» старого мира³. Это смятение сына Александра Андреевна уловила на расстоянии. И, конечно, подобное телепатическое свойство, будучи двусторонним, имело и свою оборотную сторону: материнская тревога, передаваясь поэту, усиливала его собственное депрессивное состояние.

Негативную сторону материнского воздействия на Блока жена поэта почувствовала с самого начала совместной жизни. И объясняла позднее свою «взрывчатость» подсознательно ощущаемой ею неприязнью свекрови, обусловленной нежеланием «отдать» сына. Сама же Любовь Дмитриевна стремилась, по ее словам, противодействовать материнскому влиянию, увлечь Блока в стихию собственного душевного здоровья, помочь его «беспомощным попыткам» вырваться из любимой семьи, причинявшей ему немало страданий.

Поэт, как мы знаем из его писем жене и дневниковых записей, действительно нуждался в ее «деятельной любви». В письмах молодой Любови Дмитриевны жениху, а затем мужу при всей декларируемой ею нелюбви к словесному выражению чувств и оговорках о неумении передать свое мироощущение мы видим отражение присущего ей радостного приятия солнечного, «земного» бытия, черты своеобразной личности. Тем не менее на их отношениях отрицательно сказывалось то, что Любовь Дмитриевна не хотела признавать глубину и живительность семейных корней, питавших поэта, не учитывала того, как органически был он связан и с материнским миром, как нуждался в его напряженной духовности, ведь недаром Блок говорил о матери как о своей совести. Слишком далека была жена поэта от пограничного, по ее определению, состояния психики родных Блока и, как сама признавалась, даже в зрелые годы не могла понять Бекетовых. Противоборство двух семейных начал делается особенно заметным в письмах

³ См.: С. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М. «Детская литература», 1972, стр. 116—117.

А. А. Кублицкой-Пиоттух 1921 года. По мере того как атмосфера в доме накалялась, мать поэта все резче высказывалась в адрес всего менделеевского семейства и писала Марии Андреевне о том, что Любовь Дмитриевна враждебно настроивает Блока по отношению ко всему бекетовскому (письмо от 25 января 1921 года). С болью душевной сообщала она сестре, что узнает в речах сына язык и понятия невестки — ее, как она теперь определяла, «дурное влияние».

Между тем именно в последний период, когда сжималось вокруг поэта кольцо темных впечатлений, он все более нуждался в стихийном жизнелюбии жены, в ее способности, как она писала, «выпирать из души все тягостное». Причем, говоря о том, что Любовь Дмитриевна не во всем могла понять Блока и его мать, мы вовсе не подразумеваем, что она не сознавала, сколь необычна была его психика художника. Но прочувствовать всю глубину и опасность овладевавшей им депрессии она, видимо, не могла вследствие своего природного оптимизма и известного эгоцентризма. Не случайно уже во время предсмертной болезни поэта она писала А. А. Кублицкой-Пиоттух о своей неспособности попасть ему в тон: «...все плохое раздувается до мучительных размеров, и он часто очень страдает [...] Мне с ним говорить в тон почти невозможно — я всегда ловлю все лучшее, всегда надеюсь и жду хорошего».

Как свидетельствовали близкие к семье поэта люди, Блок в пору болезни не допускал к себе почти никого. И Любовь Дмитриевна надеялась, что, оставшись с ним вдвоем (Александра Андреевна уехала в Лугу к сестре), она сможет спасти Блока. В одном из писем, относящихся к началу его болезни, жена поэта сообщала его матери: «Лечит Сашу Пекелис; лекарства мне удастся доставать даже редкие [...] Пекелис рекомендует обязательное санаторное лечение, желательно в Финляндии, и об этом будет хлопотать Союз писателей в Москве (но это с е к р е т от Саша, он не хочет ехать пока ⁴)». Любовь Дмитриевна самоотверженно ухаживала за мужем, извещая А. А. Кублицкую-Пиоттух о ходе болезни, но прося ее не приезжать в Петроград, поскольку посещения матери слишком волновали Блока и вызывали у него сердечные приступы, сопровождавшиеся резким повышением температуры и общим ухудшением состояния.

Как вспоминал С. М. Алянский (один из немногих людей, кого хотел видеть поэт в эти тяжелые месяцы), Любовь Дмитриевна совсем сбилась с ног, пытаясь выходить Блока. «Ей самой приходилось раздобывать нужные продукты, готовить питание для больного, следить за тем, чтобы не упустить время приема лекарства». При этом она проявляла незаурядное мужество и выдержку и до последних дней надеялась на выздоровление поэта. В одном из писем Александре Андреевне, написанном незадолго до кончины Блока, она сообщала: «Вчера Саше было очень плохо, сегодня легче — что же как не все наши молитвы? Пекелис твердо надеется, я тоже вымаливаю себе надежду [...] Сейчас не надо еще говорить о Вашем приезде — именно [потому] ч[то] положение тяжелое и нельзя ничего «пробовать». А потом все будет хорошо: неужели я могу остаться той же, что и до его болезни? Если Бог спасет его — ему будет хорошо со мной. Вам тоже». Письмо было написано 2 августа 1921 года, а через пять дней Россия потеряла великого поэта.

Один из современников Блока точно заметил, что его трагедия состояла в том, что он равно глубоко воспринял и позитивную и негативную сторону революции и с потрясающей силой пережил то, что она несла в себе и созидательного, скрывающего, и трагического. Это не могло не оказаться губительно для столь обостренно чувствующего поэта. Не случайно современные исследователи, разбирая причины все углублявшейся депрессии поэта, напоминают читателям о письме В. И. Ленина М. Горькому от 31 июля 1919 года, в котором говорилось о неблагоприятной для писателя обстановке, сложившейся в Петрограде в годы гражданской войны. «Петербург — один из наиболее больных пунктов за последнее время. Это и понятно, ибо его население больше всего вынесло, рабочие больше всего наилучших своих сил поотдавали, голод тяжелый, военная опасность тоже», — пи-

⁴ Нежелание поехать в заграничный санаторий было связано у Блока с резко отрицательным отношением к русской эмиграции. Когда друзья стали настойчиво уговаривать его согласиться на поездку, поэт в разговоре с Алянским заметил: «Как вы думаете, может быть, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий? — И добавил: — Говорят, там нет эмигрантов».

сал Ленин, подчеркивая, что в таких условиях и в окружении «осаждающей» писателя буржуазной интеллигенции, «растерянной, отчаивающейся, стонущей, повторяющей старые предрассудки, запуганной и запугивающей себя», Горький как художник «ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике»⁵ наблюдать и изучать не сможет.

Позиция Блока по отношению к революционным преобразованиям была неколебима, хотя в окружавшей поэта в 1920—1921 годы действительности максималистски настроенный поэт не всегда умел уловить ростки новой жизни. В апреле 1920 года, давая суровую отповедь тем деятелям, которые настойчиво распространяли молву, будто он отказался от своих «революционных поэм», поэт в «Записке о «Двенадцати» писал: «Недавно я говорил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простившему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года», потому что, по словам поэта, все, что создавалось им «в ту исключительную [...] пору, когда пронсящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства», «было писано в согласии со стихией». В своих граждански страстных выступлениях Блок по-прежнему призывал поэтов «великой эпохи» прислушиваться к самому «сердцу жизни» — голосу революционной стихии. Вдыхая «разреженный воздух, пахнувший морем и будущим», он с надеждой вглядывался в грядущее, завещая потомкам идеалы духовной свободы и высшей правды — верности «духу музыки» и «музыке революции».

⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 23, 25, 26.

«...СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ ЕСТЬ РЕВОЛЮЦИОННАЯ СТИХИЯ»



Александр Блок в переписке с деятелями русской культуры

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА З. И. ГРЖЕБИНУ И П. О. МОРОЗОВУ *

Одной из отличительных черт, роднящих многих писателей рубежа XIX—XX веков, оказывается их тяготение к историко-литературной и переводческой деятельности. Немало сил отдал ей и Блок. И хотя диапазон деятельности Блока-переводчика и Блока-литературоведа был много уже, чем, например, Брюсова, примечательна тесная, непосредственная связь этой сферы блоковского литературного труда с его индивидуальными творческими исканиями. Переводившийся и редактировавшийся им Гейне, издававшиеся им Лермонтов и Аполлон Григорьев, переведенные им драма Грильпарцера и мифическое средневековое творение Рютбёфа — все это не побочное занятие, а неотъемлемая часть творческого пути и творческого наследия самого Блока.

В 1907 году ему был заказан для только что организованного Старинного театра перевод «Действа о Теофиле» Рютбёфа, французского поэта XIII века. Срок исполнения заказа (октябрь 1907 года) совпал со временем организации издательства «Пантеон», и работа над переводом средневекового литературного памятника не могла не стимулировать интерес Блока к задачам этого издательского начинания. Основателем «Пантеона» был Зиновий Исаевич Гржебин (1869—1929) — художник, с 1906 года успешно занявшийся издательской деятельностью. Организовав в 1906 году вместе с С. Ю. Копельманом издательство «Шиповник», Гржебин наладил выпуск «Северных сборников», в которых печатались переводы новейших скандинавских писателей, завоевавших к тому времени в России широкую популярность.

Направление деятельности издательства «Пантеон» было сходно с задачей «Северных сборников», представлявших русскому читателю наиболее интересные и характерные произведения в избранной области, но безмерно шире и масштабнее. «Книгоиздательство «Пантеон» стремится собрать шедевры мировой литературы и сделать их достоянием русского читателя», говорилось в проспекте издательства (1908).

Блок горячо откликнулся на предложение Гржебина участвовать в переводах и редактировании будущих книг «Пантеона», тем более что издания предполагалось осуществлять в основном силами писателей-символистов и близких к ним критиков и ученых: было объявлено, что томики «Пантеона» будут выходить при ближайшем участии Е. Аничкова, И. Анненского, К. Бальмонта, Ю. Балтрушайтиса, А. Бенуа, М. Волошина, С. Городецкого, Ф. Зелинского, Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, Г. Чулкова, К. Чуковского и других, чьи литературные взгляды были тогда созвучны блоковским. Письма Блока Гржебину позволяют судить о широте планов, которые стремился реализовать поэт в ходе своей работы в «Пантеоне». Однако лишь немного ему удалось осуществить: в 1908 году Блок перевел трагедию австрийского драматурга Франца Грильпарцера «Праматерь» («Die Ahnfrau», 1816), которая в том же году была выпущена «Пантеоном» отдельной кни-

* Публикация, предисловие и примечания С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова.

гой. Заказанные Блоку том переводов из Метерлинка, готовившийся им в 1908 году, и «Книга песен» Гейне, к переводу которой он приступил в 1909 году, не были им завершены и доведены до печати (перевод 12 стихотворений Гейне Блок позднее включил особым разделом в свой сборник «Ночные часы»). Сходной, впрочем, оказалась судьба большинства изданий, объявленных «Пантеоном». Всего было подготовлено и выпущено в свет около десятка книг, и в 1910 году издательство прекратило свое существование.

Деловые отношения между Блоком и Гржебиным развивались и в последующее время. В издании журнала «Отечество», выпускавшегося З. Гржебиным и П. Щеголевым в 1915 году, увидела свет книга Блока «Стихи о России», а в 1920 году в издательстве Гржебина вышел том избранных сочинений Лермонтова под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями Блока.

Широко известно, что после Октябрьской революции, которую Блок горячо принял, он одним из первых включился в работу по созданию новой культуры. В этом отношении едва ли не самым ответственным и трудоемким делом явилось его плодотворное сотрудничество в петроградском издательстве «Всемирная литература», основанном в сентябре 1918 года по инициативе М. Горького. Блок вошел в состав редакционной коллегии экспертов «Всемирной литературы». Учредители издательства видели свою цель в том, чтобы в течение нескольких лет выпустить в квалифицированных переводах лучшие произведения мировой литературы, снабженные необходимыми предисловиями и комментариями. По существу, поставленные задачи были схожи с планами издательства «Пантеон», но осуществлялись они уже совсем на иной почве и в иных исторических условиях. Блок с огромным воодушевлением принял за организацию и редактирование нового собрания сочинений Генриха Гейне, дореволюционные переводы которого на русский язык считал «либеральным суррогатом». Работу во «Всемирной литературе» Блок совмещал с заведованием репертуарной секцией театрального отдела Наркомпроса, главной задачей которой были подготовка к печати и издание лучших пьес мирового репертуара для революционного театра. С деятельностью этих учреждений и связаны письма Блока Петру Осиповичу Морозову (1854—1920) — одному из авторитетнейших в то время историков литературы и театра.

Регулярное общение Блока и Морозова началось с осени 1917 года. С этого времени имя Морозова часто упоминается в дневнике и записных книжках Блока. В 1918—1919 годах они из месяца в месяц постоянно встречаются во «Всемирной литературе» и на заседаниях театрального отдела Наркомпроса. О характере их отношений свидетельствует надпись Блока на отдельном алконостовском издании поэмы «Двенадцать» (1918): «Петру Осиповичу Морозову от его читателя и почитателя — с глубоким уважением. Александр Блок. 1 марта 1919 г.». Блок привлек Морозова к участию в собрании сочинений Гейне, поручив ему переводы двух больших прозаических произведений немецкого поэта. На рубеже 1919—1920 годов предполагалось издание трех пьес немецкого поэта XVI века Ганса Сакса в переводах Морозова, Блока и Е. Полонской.

Творческое общение Блока с Морозовым было прервано смертью ученого. 11 сентября 1920 года Блок записал после чтения с женой книги Гейне «К истории религии и философии в Германии», которую надеялся увидеть изданной в переводе Морозова: «Благословляю еще раз память переводчика П. О. Морозова».

БЛОК — ГРЖЕБИНУ

7 марта 1907. СПб.

Дорогой Зиновий Исаевич.

Очень жалею, что Вы не застали меня. Большое спасибо за новеллу Якобсена¹, которую стараюсь перевести как можно скорее. На следующей неделе надеюсь зайти к Вам в редакцию. Пожалуйста, передайте поклон Соломону Юльевичу²

Искренне Ваш Александр Блок.

¹ Якобсен Енс Петер (1847—1885) — датский писатель.

² Копельман С. Ю. (1881—1944) — совладелец и главный редактор издательства «Шиповник».

2 ноября 1907.

Дорогой Зиновий Исаевич.

Уже третьего дня я написал Брюсову обстоятельное письмо о «Пантеоне» с просьбой указаний по французской литературе. В частности, просил его выбрать стихи Мюссе и, конечно, взять из Верхарна то, что он найдет нужным¹. За собой оставляю пока «Декабрьскую ночь» (в которой 208 строк)² и Метерлинка (на выборе из него еще не остановился³). У меня очень много планов, которых не исчислить Вам в письме, потому надеюсь вскорости увидаться с Вами, чтобы поговорить — все о «Пантеоне». Кроме того, надеюсь завтра поговорить с Вами в «Шиповнике»⁴.

Пока напоминаю Вам только, что очень охотно буду работать для «Пантеона», только дайте побольше работы и мне самому и под моей «редакцией». Хотел бы больше всего — в русском и французском отделе, а стихи — всякие — от греческих и латинских до немецких и итальянских.

Вячеслава Ивановича⁵ я не видал. Вспоминаю, что у Городецкого есть хорошие переводы из Теннисона⁶.

Ваш Александр Блок.

¹ В. Брюсов взялся переводить для «Пантеона» драму Эмиля Верхарна «Филипп II».

² Поэму Мюссе «Декабрьская ночь» Блок не перевел.

³ Блок предполагал включить в намеченное издание не только пьесы Метерлинка, но и его философско-эстетические трактаты и стихотворения.

⁴ Имеется в виду контора издательства «Шиповник».

⁵ И в а н о в Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, критик, теоретик символизма.

⁶ Т е н н и с о н Альфред (1809—1892) — английский поэт.

11 января (1908).

Дорогой Зиновий Исаевич.

По поводу переводов под моей редакцией — вот что хотелось бы: выберите, пожалуйста (сообща с В. Я. Брюсовым¹), что-нибудь из следующего:

Зола:

La faute de l'Abbé Mouret.
L'Assomoir.
Gérminal.
La Bête Humaine².

(Эти романы, пожалуй, очень характерны, особенно первый. Но, может быть, — и какой-нибудь другой?)

Додэ (очень характерно):

Jack, Risler aîné, Nabab³.
Erckmann и Chatrian, самое
характерное:
Maison Forrestière⁴.
Stendhal: La chartreuse de Parme, Rouge et Noir⁵.
Новеллы.

Еще могу предложить Вам стихотворения в прозе Боделера (кажется, еще не переведенные на русский язык⁶). Пожалуйста, выберите отсюда, что найдете возможным. Большая часть из перечисленного — большие вещи, но ничего не предлагаю: они характерны. А может быть, предложите еще что-нибудь, что найдете нужным. Очень прошу Вас, ответьте поскорее и дайте работу на какой угодно срок. За качество перевода и аккуратность доставки ручаюсь. Жму Вашу руку.

Ваш Ал. Блок.

Галерная 41, кв. 4.

¹ Пересылая это письмо Брюсову, Гржебин писал ему 20 сентября 1908 года: «А. Блок хочет редактировать переводы. Его письмо я пересылаю Вам для сведения. Ваш ответ передам ему».

² Романы Эмиля Золя «Проступок аббата Муре» («La faute de l'abbé Mouret», 1875), «Западня» («L'assomoir», 1877), «Жерминаль» («Gérminal», 1885), «Человек-зверь» («La bête humaine», 1890). В переводе А. А. Кублицкой-Пиоттух был издан роман Золя «Дамское счастье».

³ Романы Альфонса Додэ «Джек» («Jack», 1876), «Фромон младший и Рислер старший» («Fromont jeune et Risler aîné», 1874), «Набоб» («Le Nabab», 1887). Из произведений Додэ А. А. Кублицкой-Пиоттух были переведены «Джек» и «Письма с мельницы».

⁴ Э р к м а н-Ш а т р и а н (Erckmann-Chatrian) — литературное имя двух французских писателей, работавших в соавторстве.— Эмиля Эркмана (1822—1899) и Александра Шатриана (1826—1890).

⁵ Романы Стендаля «Пармская обитель» и «Красное и черное».

⁶ «Стихотворения в прозе» («Petits poèmes en prose», 1869) Шарля Бодлера к тому времени полностью в русском переводе не издавались.

БЛОК — МОРОЗОВУ

1 мая 1919.

Глубокоуважаемый и дорогой Петр Осипович.

Выручите! Большой Драматический Театр, в управлении которого я состою¹, решил ставить в буд[ущем] сезоне пьесу Сем-Бенелли «Рваный плащ»². Пьеса хорошая, в стихах, 4 акта. Существует перевод Амфитеатрова³, настолько плохой, что играть нельзя. Мне казалось, что переводчик не только не владеет стихом, превращая его по неумению и по небрежности в прозу, но, что хуже, искажает самый замысел автора вульгарностью языка и каким-то залихватским тоном. Он по-буренински измелчил большую мысль, да еще без буренинской литературности⁴.

Поэтому я предложил просить Вас взять на себя труд прочесть пьесу и решить, хотите ли Вы перевести ее заново (что, по-моему, и надо сделать) или — согласитесь исправить перевод (в последнем случае имя Амфитеатрова придется сохранить).

Если Вы согласны, мы сейчас же доставим Вам и перевод и подлинник и будем просить Вас сделать работу в короткий срок (месяц-полтора): режиссер и художник пока будут работать без текста, но актерам летом придется раздать роли⁵.

Денежные условия зависят от Отдела Театров и Зрелищ. Я спросил, какие они могут быть, чтобы сообщить Вам. Мне сказали, что за новый перевод (если Вы отдадите его в собственность театру) можно получить тысяч восемь (считали очень приблизительно — более 2000 стихов). Если не ошибаюсь, эта пьеса понадобится и для «Всемирной Литературы».

Не откажите ответить с посланным, и утвердительно. Ваше имя — первое и единственное, которое пришло мне в голову.

Преданный Вам Ал. Блок.

¹ Блок являлся председателем управления Большого драматического театра с 24 апреля.

² Сем Бенелли (1877—1949) — итальянский драматург и поэт, близкий к неоромантикам. Речь идет о его исторической «поэме в 4-х действиях» «Il Mantellaccio» (1911), высоко оцененной Блоком.

³ Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — прозаик, драматург, публицист.

⁴ Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — фельетонист, пародист, публицист, драматург, переводчик, снискавший всероссийскую известность нападениями на прогрессивные веяния в литературе.

⁵ Морозов не работал над текстом пьесы. Премьера «Рваного плаща» в Большом драматическом театре состоялась 20 сентября 1919 года.

9 мая 1919.

Глубокоуважаемый Петр Осипович.

Простите за недоразумение, которое вышло¹. Я был уверен, что оригинал пьесы Сем-Бенелли найдется, но его не оказалось ни у Горького, ни у Волынского², ни у Амфитеатрова. Придется, по-видимому, подправлять пьесу домашними средствами.

Преданный Вам Ал. Блок.

¹ Ответное письмо Морозова на письмо Блока от 1 мая в архиве поэта не обнаружено.

² А. Л. Волынский (псевдоним Акима Львовича Флексера, 1863—1926)—литературный критик, публицист, искусствовед, переводчик, принимавший участие в работе издательства «Всемирная литература».

22 июля 1919.

Глубокоуважаемый Петр Осипович.

Сейчас говорил с М. Ф. Андреевой¹, вернувшейся из Москвы. Вкратце — дело вот в чем: есть возможность сохранить часть здешней организации ТЕО при Отделе Театров и Зрелищ². Для этого необходимо сопоставить все положения о Секциях в частном предварительном совещании. М. Ф. просит меня пригласить всех сведущих лиц на частное совещание завтра, в Отделе Театров и Зр[елищ] (Литейный, 46), часов в 6 вечера. Я думал бы, что хорошо бы собраться всем заведующим секциями — исторической, научно-теоретической и репертуарной, т. е. Вы³, Эрберг⁴ и Соловьев⁵.

Очень прошу Вас ответить мне срочно, до вечера сегодня, можно ли это сделать. Если не могут другие, может быть, соберется один Вы? Нельзя ли это сделать завтра в 6 часов вечера? Если да, не можете ли захватить с собой положения о Секциях? Хорошо бы, чтобы были и Вы, и Эрберг, и Соловьев.

Очень прошу ответить с посланным⁶.

Преданный Вам Ал. Блок.

¹ Андреева Мария Федоровна (настоящая фамилия Юрковская, 1868—1953) — актриса, общественная и партийная (член РСДРП с 1904 года) деятельница. В 1918 году М. Ф. Андреева вместе с Блоком была одним из основателей Большого драматического театра. В 1919—1921 годах она работала заместителем народного комиссара просвещения по художественным делам в Петрограде, заведующей отделом театров и зрелищ областного наркомпроса Союза коммун Северной области.

² Театральный отдел Наркомпроса (ТЕО) был учрежден в августе 1918 года для осуществления культурно-просветительных задач новой власти в сфере театра и зрелищ «на началах социализма». В письме говорится о предполагавшемся слиянии петроградского отделения ТЕО с петроградским театральным обществом.

³ П. О. Морозов был заведующим исторической (историко-театральной) секцией, а также коллегией по управлению делами петроградского отделения ТЕО.

⁴ Конст. Эрберг (псевдоним Константина Александровича Сюннерберга, 1871—1942) — теоретик искусства, критик, поэт; заведовал научно-теоретической (педагогической) секцией ТЕО.

⁵ Соловьев Владимир Николаевич (1887—1941) — театральный критик, режиссер; 1 марта 1919 года сменил Блока на посту заведующего репертуарной секцией, принимал также активное участие в работе исторической секции.

⁶ 23 июля Блок записал: «Письмо Морозову (ответа я не получил)».

А. БЛОК — А. РЕМИЗОВ *

Взаимоотношения Блока и Ремизова сравнительно редко привлекали внимание исследователей. Между тем эти многолетние (Блок познакомился с Ремизовым в 1905 году) отношения, в 1911—1913 годах принявшие характер дружеской близости, весьма существенны для творчества обоих художников.

Творчество Ремизова не сразу привлекло внимание Блока. Так, 8 марта 1904 года в письме С. Соловьеву он пренебрежительно отзывается о напечатанных в альманахе книгоиздательства «Гриф» (М. 1904) произведениях Ремизова («Молитва», «Последний час», «Иван Купал»).

Однако в эту же пору Блок вступает с Ремизовым в деловые отношения, начинает ощущать яркую индивидуальность его творческой манеры. Посвящение Ремизову стихотворения «Болотные чертенятки» (январь 1905 года) и первой редакции стихотворения «Легенда» позволяет понять, как именно представлял себе Блок ремизовское поэтическое мироощущение. Оно связывалось с поисками того художественного метода, который сам поэт характеризовал как «мистицизм в повседневности» и который для него (как и для Ремизова) был связан со стремлением синтезировать символистскую поэтику и реалистические традиции. Можно

* Переписка А. Блока с А. Ремизовым, вступительная статья, примечания в полном виде печатаются в 92 томе «Литературного наследства» — «Александр Блок. Новые материалы и исследования». Некоторые из писем А. Блока, вошедшие в настоящую подборку, публиковались в мало доступных современному читателю изданиях 30-х годов. Вступительная статья Э. Г. Минц. Публикация и примечания А. П. Юловой.

сказать, что весь цикл «Пузыри земли» создан в той или иной степени «под знаком Ремизова».

К 1905 году относится начало их переписки. Первые письма Блока (и переписка этих лет в целом) падают на летние месяцы, когда Блок живет в Шахматове. Зимой контакты двух петербуржцев не носят в основном эпистолярного характера, однако, по всей вероятности, они чаще встречаются.

В письмах Ремизова Блоку с самого начала бросается в глаза соединение искренней теплоты тона и подспудно идущей линии своего противостояния Блоку и даже некой скрытой «учительности». Постоянное восприятие творчества Блока в зависимости от того, как отразились в нем русские национальные начала, составит один из важнейших мотивов не только переписки, но и взаимоотношений художников в целом.

Оценка творчества Ремизова Блоком становится все более высокой.

В статье «Литературные итоги 1907 года» (ноябрь—декабрь 1907 года) Блок впервые высказывается о Ремизове как критик. Он подчеркивает постоянный рост Ремизова-художника, «мятежные» поиски «своего стиля и языка».

В 1909—1910 годах отношения Блока с Ремизовым переживают некоторый спад: нам не известно ни одного письма Блока, отправленного Ремизову между 31 октября 1908 года и 11 января 1911 года; Ремизов, судя по сохраненной Блоком подборке его писем, после отъезда Блоков в Италию писал ему за эти годы только трижды, то сетуя на утрату связей, то обращаясь с маленькими деловыми записками. Спад этот вызывался, видимо, многими причинами: общей депрессией, охватившей Блока в разгар и в последние годы столыпинской реакции (1909—1911), утратой им в это время множества литературных и личных связей. Имелись, однако, по крайней мере у Блока, и причины творческого характера. Блок 1909—1911 годов стремится к искусству, «оформляющему» и гармонизирующему «хаос» действительности. На этом пути Блоку, закономерно, встречается «классик» Брюсов и, столь же естественно, сравнительно редко попадается Ремизов 900-х годов с его глубочайшей убежденностью в том, что единственная возможная реальность—это хаос и неразбериха, всегда страшная, хотя порой и забавная.

Блок и Ремизов начиная с 1911 года часто встречаются, навещают друг друга. В дневниковых записях Блока 1911—1913 годов имя Ремизова упоминается почти ежедневно, соперничая по частоте с именем ближайшего друга Блока этих лет Вл. Пяста.

Отношения Блока и Ремизова покоятся на высокой взаимной оценке творчества. Связывают их также попытки общей литературно-организационной деятельности и, разумеется, известная мировоззренческая и творческая близость. При этом Блок и Ремизов теперь почти никогда не полемизируют друг с другом. В частности, характерно полное исчезновение скрыто «педагогических» интонаций в письмах Ремизова. Благословив Блока «от имени Лескова» как писателя национального, приняв, разумеется, особенно близко все, что связано в блоковском творчестве с темой родины, Ремизов признал и особый, столь непохожий на его собственный способ художественного решения этой темы, центральной в 1910-х годах для обоих.

И хотя в лирике Блока 1910-х годов, в том числе и в цикле «Родина», в отличие от «Пузырей земли» «ремизовские начала» прямо не отразились, общение с Ремизовым дало толчок многому в его размышлениях и творчестве этого десятилетия.

Сложные отношения Блока и Ремизова, по существу, не изменились и после Октября. Конечно, их восприятие революции было совершенно разным, во многом противоположным, и оба об этом знали. Однако для Блока политические нюансы взглядов Ремизова, видимо, давно уже были менее важны, чем его кровная связь с Россией. Верный своей установке этих лет привлекать интеллигентов к сотрудничеству с революцией, Блок пытается использовать опыт Ремизова (одновременно поддерживая его материально) для репертуарной секции Наркомпроса. Ремизов и Блок сотрудничают в издательстве «Всемирная литература», в книгоиздательстве «Алконост», участвуют в заседаниях «Вольфилов», обсуждают возможность публикаций своих произведений и т. д. и т. п. Восстанавливается и вся «асимметрия» их отношений. Блок по-прежнему деятельно занимается дела-

ми Ремизова: помогает или пытается помочь изданию ремизовских вещей, достает ему 11 августа 1919 года ордер на «предметы первой необходимости», 15 февраля 1919 года пытается хлопотать через Луначарского об освобождении арестованного Ремизова и т. д. Ремизов, слабый, больной, по-прежнему пишет Блоку стилизованные письма, с горькой иронией сообщает о своих недугах, продовольственных и других трудностях.

Блок и после Октября высоко ценит творчество и художественный вкус Ремизова. Ремизов так же живо интересуется творчеством Блока.

Поэма «Двенадцать» не случайно заинтересовала Ремизова. В ней — хотя и преображенно и даже (объективно) полемически — отразилось многое, связанное для Блока с ремизовской Россией. Россия народная, сложная, противоречивая, предстала в поэме изображенной столь же ярко и полно, как в цикле «Родина», но в «огнях» революции, в динамике «боя», который теперь не прошлое («На поле Куликовом») и не будущее («Новая Америка»), а русское сегодня. Ремизову, конечно, должна была быть близка и опора Блока на современный фольклор и связь поэмы с народной речевой стихией. Наконец, с творчеством Ремизова — хотя, разумеется, дореволюционным — созвучна и мысль о тайне претворения «черной злобы» в «святую злобу», о связи ликов разбойника («На спину б надо бубновый туз») и Христа, насилия и святости. Тем не менее широко понятая концепция России у Блока и Ремизова во многом противоположна. Все ценное русской земли для Ремизова — в прошлом, для Блока — в ее сегодняшнем страдном и праздничном пути, в ее надеждах на новую жизнь.

В последней статье Блока — «Без божества, без вдохновенья» (апрель 1921 года) — дана оценка Ремизова, которой суждено было стать итоговой. Ремизов назван в числе представителей молодой «синтетической культуры» России, в которой «неразлучимы [...] живопись, музыка, проза, поэзия», а также «философия, религия, общественность, даже — политика». Ремизов здесь стоит в одном ряду с Глинкой, Чайковским, Гоголем, Достоевским, Рерихом.

Для Ремизова, прожившего после смерти Блока еще тридцать шесть лет, встреча с Блоком осталась одним из знаменательнейших событий. В книге воспоминаний «Ахру» он писал, создавая итоговый символический образ своего и блоковского творчества:

«Из разных краев, разными дорогами проходили наши души до жизни и в жизни, по крови разные — мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня о взбаламученной, вздыбившейся России, а мне — погребальная над красноречивой отошедшей Русью.

Где-то однажды, а может, не раз мы встречались — на каком перепутье? — вы закованный в латы с крестом, я в моей лисьей острой шапке под вой и бой бубна [...].

Судьба с первой встречи свела нас в жизни и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России через вой и вихрь прозвучали наши два голоса — России —

на новую страдную жизнь
и на вечную память».

Эти два образа России действительно определили все и в творчестве художников (особенно в 1910-х годах) и в их отношениях. Они видны и в публикуемой переписке.

БЛОК — РЕМИЗОВУ

28 апреля 1908. Петербург.

Дорогой Алексей Михайлович.

Очень хочу Вам и Серафиме Павловне¹ прочесть пьесу, которую наконец кончил. Рад был бы если бы Вы и Серафима Павловна пришли ко мне на Га-

лерную в четверг 1 мая, часу в 9-м. Если не пугает Вас длинное чтение, приходите, пожалуйста, буду ждать в 9-м часу вечера. Называется «Песня Судьбы», очень за нее боюсь.

Любящий Вас Ал. Блок.

¹ Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1876—1943) — жена А. Ремизова.

РЕМИЗОВ — БЛОКУ

3 октября 1908. Петербург.

Дорогой Александр Александрович!

Есть у меня к Вам дело: есть писатель Иванов-Разумник¹, который написал четыре книги — История русской обществ[енной] мысли СПб 1908 1 т. и 2 т.², Что такое «махаевщина» СПб. 1908. — 50 к., О смысле жизни (Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов) СПб 1908. — 1 р. В настоящее время Разумник Васильевич Иванов занимается исследованием писателей от Волынского до нас с Вами. Книгу свою он хочет выпустить с портретами³. Я взялся достать ему Ваш портрет с автографом на портрете или под портретом: «Александр Блок». Пожалуйста, Александр Александрович, пришлите на мое имя (Казачий пер.) свой портрет. И хорошо бы это сделать не очень вымедляя.

Скоро ли Вы придете? Я написал «Трагедию об Иуде — принце Искаротском»⁴, которую хотел бы Вам показать и Ваших мнений послушать.

А. Ремизов.

¹ Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич, 1878—1945) — критик и публицист.

² В 1908 году вышло 2-е, дополненное издание книги «История русской общественной мысли». Первое издание — 1907 года.

³ Замысел не осуществился.

⁴ «Трагедия об Иуде — принце Искаротском» (1908). Впервые — «Золотое руно», 1908, № 1.

БЛОК — РЕМИЗОВУ

6 октября 1908. Петербург.

Милый Алексей Михайлович, вот Вам портрет для Разумника, последний, оставшийся у меня, и потому — в блузе. Ваше письмо мне переслали уже сюда¹, а я приехал только 4-ого утром. «Трагедию об Иуде Искаротском» очень хочу услышать от Вас, когда захотите. Серафиме Павловне кланяюсь низко и остаюсь любящий Вас

Александр Блок.

А я почти ничего не писал.

¹ Из Шахматова в Петербург.

РЕМИЗОВ — БЛОКУ

27 октября 1908. Петербург.

Дорогой Александр Александрович!

Я с Вами согласен: читать не нужно¹. А почему не нужно, я совсем по-другому думаю, и не думаю, а на этот счет чувствую. Так что сказать не могу, почему я нахожу читать не нужно. Когда я читаю, я никого не вижу, ничего не слышу, и вижу свою книгу и слышу свой голос, произносящий русские слова. А так как я люблю русские слова, то мне приятно произносить их. Так что, кажется, выходит по всему, что мне нужно читать, раз мне приятно это, а в то же время, уходя с вечеров, я испытываю какое-то неприятное чувство, словно бы я сделал что-то такое, чего мне не следовало бы делать. Но тут-то я ничего уж не могу сказать. Те люди, которые идут на вечера, они в глубине

своего сердца прекрасно знают, зачем они идут. И когда слышат, скажем, мои русские слова, они остаются к ним совершенно безразличны, как оставались бы безразличны к словам Достоевского, Толстого, Пушкина...

В четверг 30 октября в 9 ч. буду читать Вячеславу Ивановичу, к которому пойду в 8 ч. Он спрашивал, не пригласить ли кого. Если у Вас время будет, приходите к нему. Мне замечания послушать очень полезно.

А. Ремизов.

¹ Ответ на статью Блока «Вечера искусств», напечатанную 27 октября 1908 года в газете «Речь».

БЛОК — РЕМИЗОВУ

3 марта 1912. Петербург.

Дорогой Алексей Михайлович.

Вспоминаю Вас и соскучился о Вас. Любовь Дмитриевна¹ собиралась к Вам на этой неделе, что-то задержало; а я в это время почти никого не видал. Не посылайте мне книг, на которые я смотрю часто в витринах, — лучше — до свидания. У меня давно лежат Ваши «Литературные шаги»² и кроме того II-ая книга стихов, которую я не хочу дарить без III-ей, а III-я задержалась, теперь скоро выйдет, я все корректуры исправил. Кланяемся обоим Вам, до свидания.

Ваш Ал. Блок.

Любовь Дмитриевна скоро к Вам зайдет.

¹ Менделеева-Блок Любовь Дмитриевна (1881—1939) — жена Блока.

² Имеется в виду собрание автобиографий современных русских писателей (составил Ф. Фидлер).

22 сент. 1912. Петербург.

Дорогой Алексей Михайлович.

Глаза у таксы красные — среднее между рубином и гранатом. Это обстоятельство для меня неприятное, — потому и нельзя выразиться короче; если бы глаза были по характеру, можно было бы их назвать одним словом.

А. Блок.

2 июня 1913. Петербург.

Дорогой Алексей Михайлович!

Сейчас сижу и жду Михаила Ивановича, который вечером поедет в Киев. Уже два дня мы не виделись с ним.

Приедет из Киева и еще нас застанет. Мы с Любовью Дмитриевной все не можем решить, когда и куда ехать. Вероятно, поедем прямо в Италию, сначала — в Венецию¹.

Однажды в Летнем саду встретил я Чулкова, который опять переселился в Петербург. Бальмонт, видевший его в Москве, просил его передать мне «неофициально», что его контракт со «Скорпионом»² кончился и он был бы очень не прочь, если бы «Сирин» предложил ему издаваться у себя.

А. Белый с женой были у меня три раза — и до Гельсингфорса и после. Говорили все больше о Штейнере³. Оба они — худые, некормленные, странники.

Если бы знали о Штейнере только от А. Белого, можно бы было подумать, что А. Белый сам его сочинил; говорит он все то же и так же. Анна Алексеевна⁴ мне понравилась, она — простая.

Печальное письмо Ваше получил, и Михаил Иванович рассказывал про свое — тоже все печальное. Мне и самому так. До свидания, кланяйтесь Серафиме Павловне.

Ваш Ал. Блок.

¹ 12 июня 1913 года Блок и Любовь Дмитриевна уехали во Францию. Вернулись в Петербург 3 августа.

² «Скорпион» — издательство символистов (1899—1916).

³ Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий теософ-мистик.

⁴ Тургенева Анна Алексеевна — художница, жена А. Белого.

24 декабря 1918. Петроград.

Алексею Михайловичу Ремизову¹.

Покорнейше прошу Вас не отказать сообщить в письменной форме в ближайшее время список пьес, которые Вы нашли бы возможным напечатать спешно, не снабжая эти пьесы никакими особыми примечаниями.

Прошу Вас при этом не стесняться рамками каких бы то ни было наших списков, а принять во внимание только следующее: 1) чтобы пьесу было легко поставить (поменьше декораций и действующих лиц, попроще сюжет и язык и т.д.), 2) чтобы текст этой пьесы был более или менее бесспорен (единственный печатный или рукописный текст, удовлетворительный перевод, отсутствие опечаток и т.д.) Не откажите отметить при этом, какой именно текст надо приобрести или переписать, следует ли его проверить, нет ли готовой краткой (или могущей быть сокращенной) статьи, которая послужила бы предисловием или послесловием к данной пьесе, нельзя ли срочно заказать статью и кому именно: по возможности желательны указания о числе действующих лиц и декораций.

Обсудив Ваш список в одном из заседаний Бюро, мы немедленно стараемся добыть соответствующие тексты, после чего будем просить Вас привести рекомендованные Вами пьесы в надлежащий вид для сдачи в печать, т.е. снабдить надписями для обложки и титульного листа, исправить опечатки (все это может быть поручено кому-либо из Ваших сотрудников под Вашей редакцией), словом — дать в типографию и в руки корректору такой экземпляр, который может быть воспроизведен точно (не считая перевода на новую орфографию, который производится автоматически).

Не откажите, кроме того, сообщить Ваше мнение о том, желательно ли такие несовершенные издания делить на серии, нумеровать и т.д., кои мы предполагали делить со всей библиотекой «Репертуар», и не находите ли Вы нужным дать другое название всей библиотеке.

Позволю себе прибавить, что очень желательно, чтобы среди пьес было названо некоторое количество произведений, принадлежащих к т.н. «классовой литературе» и, разумеется, удовлетворяющих при этом хотя бы минимуму литературных и театральных требований.

Председатель Репертуарной секции Ал. Блок.

¹ Письмо связано с работой Блока (начало 1918 — февраль 1919 года) в репертуарной секции при театральном отделе Народного комиссариата просвещения и подготовкой к изданию сборника «Репертуар».

РЕМИЗОВ — БЛОКУ

29 декабря 1919. Петроград.

Дорогой Александр Александрович!

Прошу за Радловых Анну и Сергея¹, Анна Дмитриевна и Сергей Эрнестович Радловы, Васильевский Остров 1, линия 40, кв. 4, произвести их в члены Дома искусств и выдать членские билеты.

И еще прошу: не могу докликаться Алконоста², скажите ему (залетает небось!), чтобы экстренно прислал мне рассказы мои: «Два старца», «Змея» и другие³ (пусть в отделе на Литейной в ком. 22 у А. Д. Радловой оставит) и рукописи с дубликатами книги моей «Скрижали»⁴.

Передайте ему, что не хочу я никаких фото — лито — меццо — кварто, не хочу я переписывать ничего: нет у меня никаких сил и времени нет.

Алексей Ремизов.

¹ Радлова А. Д. (1891—1951) — поэтесса и переводчица. Радлов С. Э. (1892—1958) — драматург и режиссер.

² Алконост — Самуил Миронович Алянский (1891—1974), владелец книгоиздательства «Алконост».

³ Рассказы Ремизова «Два старца», «Змея» вошли в его книгу «Шумы города» (Ревель, изд-во «Библиофил», 1921).

⁴ Книга А. Ремизова «Скрижаль» должна была выйти в издательстве «Алконост» в 1920 году. Издание ее не осуществилось.

С. ГОРОДЕЦКИЙ — А. БЛОК *

Среди не дошедших до нас писем Блока одними из наиболее интересных были многочисленные письма С. М. Городецкому. Судя по ответным письмам Городецкого, Блок затрагивал в них важнейшие вопросы литературной и общественной жизни.

По материалам, сохранившимся в домашнем архиве С. М. Городецкого, можно установить, что у него находилось около 100 писем Блока. Уезжая в 1916 году на Закавказский фронт, Городецкий оставил часть своего архива, в том числе письма Блока, на одном из петроградских складов. Вернулся в Петроград Городецкий уже после революции и не нашел ни склада, ни архива.

Блок и Городецкий познакомились в 1903 году в аудитории Петербургского университета на лекциях по сербскому языку профессора П. А. Лаврова. Знакомство перешло в творческую дружбу, нашедшую отражение в их переписке.

О глубоком интересе Городецкого к пути А. Блока, помимо писем, говорят и печатные его выступления. В частности, статья о поэме «Двенадцать», опубликованная в 1918 году в газете «Кавказское слово».

«Нам доставлен корректурный оттиск новой книги Александра Блока «Двенадцать», — писал Городецкий, — в которую вошла эта новая поэма, или, точнее, цикл стихотворений, и кроме того большое стихотворение «Скифы»... Если бы даже эта поэма и не была посвящена изображению современной России, все равно она возбуждала бы большой интерес как произведение одного из сильнейших наших лириков, долго притом молчавшего и давно уже ставшего любимцем читателей. Но интерес удваивается оттого, что, по доходящим сюда сведениям, Александр Блок примкнул к большевикам, и, таким образом, в его поэме соединяется интуиция свободного поэта с пристрастием партийного человека.

Многим казалось странным, как мог романтик, певец Прекрасной Дамы, трубадур, стать большевиком. Но при ближайшем рассмотрении дело становится совершенно ясным. С одной стороны, в большевизме очень много свободной романтики. С другой стороны, известно, что Блок во время первой революции ходил с красным флагом впереди демонстрантов, что им написаны стихи о рыцаре Зимнего дворца, опустившем меч; а те, кто ближе знаком с его лирикой, знают, что максимализм вообще в природе Блока... в Блоке жило всегда любопытство к народной, в частности фабричной, среде: в результате его близость к большевикам вполне объяснима именно из его коренных качеств и свойств».

Создание «Двенадцати» Городецкий расценивал как подвиг художника, сумевшего достичь слияния старой, пушкинской культуры и новой, пролетарской. «Блок, — писал он, — спаял золотой язык прошлого века с языком нашей улицы».

Блок подарил Городецкому поэму «Двенадцать» с надписью, в которой выразилось чувство любви и дружбы, связывавшее их на протяжении многих лет: «Милому Сергею Городецкому с нежным поцелуем. Ал. Блок 20 июля 1920 года». Открывая в качестве председателя Петроградского Союза поэтов поэтический вечер С. Городецкого и Л. Рейснер, Блок сказал: «Мы давно их не слышали и не знаем еще, какие они теперь, но хотим верить, что они не бьются беспомощно на поверхности жизни, где столько пестрого, бестолкового и темного, а что они прислушиваются к самому сердцу жизни, где бьется пусть трудное, но стихийное, великое и живое, то есть что они связаны с жизнью; а современная русская жизнь есть революционная стихия».

В статье «Литература и революция», опубликованной в «Известиях Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов» в августе 1920 года, Городецкий писал о Блоке: «Радостно видеть, что поэты, честные и простые, опять

* Вступительная статья, публикация и комментарии В. Л. Емишера.

видятся в литературе и на работе... В общем, поэзия стояла за себя. И как венец ее, как первый поэт наших дней медленно, но верно растет Блок. Его «Двенадцать», написанные в атмосфере саботажа, поистине подвиг».

Ниже печатаются избранные письма Сергея Городецкого. В настоящую публикацию также включено два письма Блока Анне Алексеевне Городецкой (частное собрание), связанных с временной размолвкой между поэтами. В процессе работы были использованы материалы, хранящиеся в личном архиве С. М. Городецкого. Автор выражает искреннюю признательность дочери поэта Р. С. Городецкой, предоставившей для работы архив своего отца и всемерно помогавшей в подготовке этой публикации.

Более полный свод писем С. М. Городецкого А. Блоку будет напечатан в 92 томе «Литературного наследства», куда входит и настоящая публикация.

ГОРОДЕЦКИЙ — БЛОКУ

12 декабря 1904.

Мне жаль, как упавшего в воду камня, этого вечера, который мог быть и не был. Не потому, что он не повторится, а потому что, сколько бы их ни повторялось, всегда будет одним меньше, чем могло быть. Накануне завтра хорошо было бы говорить с Вами, чтобы еще раз прочитать Вашу книгу¹ в выражении лица, отдельных фразах и проверить себя.

Вы, вероятно, уже получили тезисы². Пишу, чтобы исправить ошибку в них, которая искажает смысл. В повестках напечатано: «Внешняя форма его (или образ): Прекрасная Дама и т. д. Должно быть: Внешняя форма его (размеры, рифмы, словарь). Стремление к свободе в ней. Внутренняя форма (или образ): Прекрасная Дама». Как видите, пропущен конец одной главы и начало другой...

Ваш С. Городецкий.

¹ Первый сборник стихов Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., изд-во «Гриф», 1905). Сборник вышел в конце 1904 года.

² Городецкий выступил в Петербургском университете с рефератом о творчестве Блока.

28 июня 1906. Лесной.

Дорогой Александр Александрович!

Ваше письмо — самое важное, что совершилось за последнее время в литературе. Его будут воспроизводить в истории литературы. Вы — последнее, что надо было своротить с места во что бы то ни стало. Это письмо то, что я неминуемо ждал после «Балаганчика», подведшего итоги. Только я ждал сразу в поэзии, но так еще лучше, решительнее...

Наступает великое время, выходит народ. И этому времени свое искусство, тоже великое. Я не знаю, что такое символизм, но что какой-то круг завершен, это слишком ясно. Уже плотники выводят крышу и зовут хозяев, а они придут и прежде всего сломают дом. Каждый чувствует приход и пророчит на своем языке. Г. Чулков с мистическим анархизмом. В. Иванов с теориями миротворчества. В них большая доля правды. Он говорит, что символ неминуемо приводит к мифу. Доля правды в следующем. Миф — это наибольшая ложь. А вольная ложь — это существенный признак той большой, здоровой поэзии, которой так теперь хочется. Л г и п о п р а в д е — вот формула, т. е. так, чтоб тебе поверили. Выдумывай, сочиняй, и это будет самая необходимая поэзия. С точки зрения поэтического опыта эти мысли есть отрицание литературы в лирике (лирика должна быть 100-й пробы), исполнение завета Петрарки всем лирикам: свое чувство скажи так, чтоб оно стало всеобщим. Все, что я говорю, неясно, но иначе быть не может. Новое искусство только начинается, и едва

едва можно указать некоторые его признаки: 1) сохранение, 2) наибольшая общедоступность.

Теперь о Вас, т. е. не о Вас, а о Блоке. Оставляя восторженную аудиторию Блока в стороне, я возьму мнения людей, видящих дальше переживаемого момента. Здесь часто встречаешь такую мысль: Блок=блок, Б=б, где Б — потенция, а б — совершение. Я всегда сражался против этой формулы и приводил свою: $B=b+X$, т. е. что совершенно далеко не исчерпало потенции. Этот X еще мелькает искорками (Сольвейг¹), но несомненность его очевидна. Он мне представляется громадным, сосновым, с запахом смолы, и в предчувствии этого запаха — тайное оправдание заглавия «Нечаянная Радость». Вчера Иванов сказал мне: «Смотрите, как Блок идет к реализму». Сегодня Вы пишете: «Искусство должно изображать жизнь», «Фома² — последнее нужное произведение» (напомню только одну фамилию — Леонид Андреев). Может быть, для Вас действительно дорога к большому искусству лежит через «реализм»...

Очень хотелось бы от Вас:

1. Более подробного выяснения «секрета» Горького.

2. Более подробного выяснения тезиса, что «искусство должно изображать жизнь» (поскольку Вы согласны с формулой: явление жизни — семя художественного произведения) и проповедовать нравственность (и то и другое слово очень далеки мне).

3. Есть ли какая-нибудь возможность получить «Нечаянную Радость» раньше ее выхода, в виде ли корректуры или в виде рукописи?

Все это при условии, что у Вас будет охота писать. Крепко целую Вас, кланяюсь Вашим.

Сергей Городецкий.

¹ Стихотворение Блока, посвященное Городецкому (сб. «Нечаянная Радость»).

² «Фома Гордеев» — повесть М. Горького. Блок высоко ценил это произведение (см. статьи Блока «О реалистах», «О драме»).

3 августа 1906. Лесной.

Дорогой Александр Александрович!

Собрался отвечать Вам, уже потеряв до некоторой степени нить переписки. Постараюсь восстановить ее со всей тщательностью и любовью. Опять беру и перечитываю Ваши черные буквы. И опять, когда перечитал, хочется возражать горячо, из самой сути моей. Вот главные мои положения: 1) процесс художественного творчества весь исчерпывается апперцептивной эмоцией творить и осуществлением велений этой эмоции. Никким образом недопустима примесь каких-нибудь возбуждающих идей (вроде. чтоб получить гонорар, чтоб было нравственно, чтоб понравилось Петру Иванычу и т. д.); 2) поэзия есть познание интуитивным путем многообразия явлений жизни, познание в образах, а не понятиях (наука), идущее иногда дальше науки, мож[ет] быть, игнорирующее иногда формы человеческого восприятия: время и пространство. Как видите, я отмежевал себе крепость, из которой и отбиваю все набегу; нравственности — кругом много: и церковная проповедь, и моральные трактаты, если на них еще будут ходить. Это все я говорю вообще против примесей, а против нравственности и специально имею. Ведь посмотрите, на какой путь Вы становитесь! Вам предстоит или стать Буддой, Магометом, Иисусом, т. е. создать новую моральную систему (Вы это очень точно выражаете формулой: чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня). Уж если Россия услышит Вас, то, конечно, и вся земная поверхность услышит... В первом случае Ваше творчество станет (силою) Вашей морали.

Относительно Пушкина и Толстого вот что. Если Пушкин и не сказал пошлости, то, во всяком случае, сказал улыбочное место, и не знаю, не улыбался ли сам, втискивая свое значение в эти слова¹. А от Толстого крылья растут постольку, поскольку он не толстовец, а художник...

Еще раз перечитывая письмо, размечтался о поездке к Вам². Решительно нельзя. А вдруг? Нет. Так разговариваю сам с собой. Хотелось бы еще написать что-нибудь о себе, но все очень туманно или чересчур ясно. Литературные происшествия (уход Соколова из «Руна») рассказывать не хочется именно Вам, жихарю зеленотишья.

Целую Вас крепко и жду письма. Ваш Сергей Городецкий.
Кланяюсь Александре Андреевне и Любви Дмитриевне.

¹ Видимо, речь идет о словах Пушкина «и чувства добрые я лирой пробуждал» («Памятник»), которые, возможно, Блок привел в письме Городецкому как пример борьбы за нравственность силами искусства.

² Лето Блок проводил в Шахматове.

19 декабря 1906.

Дорогой Александр Александрович!

Вот и вышла «Ярь»¹, сам сегодня сvez в два магазина. Как далеко от того, что хотелось, даже от укороченной мечты.

Грустно. Это все, что чувствую.

Книжечка жалкенькая по виду и двойственная по содержанию — такова и должна быть моя «Ярь». Когда-нибудь будет настоящая, не моя, конечно.

Москва оставила неизгладимо тяжелое впечатление...².

Целую Вас крепко, как люблю.

Сергей Г.

¹ «Ярь» (СПб., «Кружок молодых», 1907, стихи лирические и лиро-эпические) — первая книга Сергея Городецкого. В нее вошло 66 стихотворений — далеко не все, написанное поэтом к тому времени. Книга получила очень высокую оценку. Блок отметил в записной книжке: «Большая книга... Городецкий — весь полет... Может быть, «Ярь» — первая книга в этом году — открытие, книга открытий, возбуждающая ту злость и тревогу в публике, которую во мне великое всегда возбуждает».

² Городецкий был в Москве в связи с изданием «Яри». Он встречался с московскими литераторами, в частности с В. Брюсовым.

10 ноября 1909.

Я и не ожидал иного отношения к этой книге от петербуржцев¹. Но их мнением я не интересуюсь и твоей рецензии читать не буду. Также не буду с тобой и ссориться, потому что не придаю значения тебе как критику и общественному дельцу². Люблю тебя как лирика и ненавижу все иные виды...

«Песни и думы» — только первый выпуск «Руси», а будет второй, третий, четвертый, в 910, 11 и 12 гг.³, и только тогда ты мог бы судить о замыслах и соответствиях. Издание, по-моему, очень изящное, особенно которое для дам. А цена такая, какую могут платить все, кто хотел меня читать и до сих пор не мог. Имею уже свидетельства, ценнейшие всего, что сумеют сказать литераторы. От всей души желаю тебе получить возможность издаваться именно так.

Огорчил ты меня очень.

С. Городецкий.

Листопад. 10 д. 9 г. Лесной.

¹ Книга Городецкого «Русь» («Песни и думы», М., изд-во Сытина) вызвала отрицательный отклик Блока. Он писал в рецензии: «Это — книга переходная, полунаписанная, а потому — достойная внимания только как страница биографии талантливого автора».

² Городецкий со временем пересмотрел свое отношение к прозе Блока и в «Воспоминаниях о Блоке», опубликованных в 1922 году, одним из первых сказал о большом значении его прозаических работ.

³ «Песни и думы» — первый, по словам Городецкого, выпуск «Руси» — продолжения не имели.

13 ноября 1909.

Я исполнил твое желание и прочел рецензию и поэтому беру на себя ответственность за письмо А.¹ Но всецело переношу ее на тебя и этим исчерпываю наконец конфликт. Действительно, в рецензии по внешности все прилично. Но внутренне она скверна передо мной. Говоря образно, ты налагаешь в ней на меня бархатную лапу декадентизма, из-под которой я давно вылез. Пахнет Вячеславкой². Говоря просто, умаляешь то, что ты-то уж, конечно, знаешь. Кому пот, а кому лет, и не все верхком смеряешь, хотя бы пушкинским. Книжки же ты просто не прочел толком, не посмотрел года и не увидел ее души. За что не надо поругал, а за что надо хвалить свыше меры, промолчал...

Из оскорбления образа — письмо А.

В нем, насколько я знаю, кроме непосредственного взрыва чувств, было еще только мнение о «П. С.»³.

И на то и на другое ответить ты ничем не можешь, если б и хотел.

Я уверен, что ты, заговорив языком своей глубины, когда-нибудь сможешь восстановить образ свой в А. Теперь же она не может слышать твоего имени. Но это только знак прямоты и подлинности чувств, которыми ты по недоглядке пренебрег.

Вот и все, милый.

Позволь мне эту нежность, в которую влагаю все, что собралось за долгую разлуку и что берег для первой встречи.

С. Г.

Листопад. 13 д. 9 г. Лесной.

¹ Анна Алексеевна Городецкая, жена поэта, написала Блоку резкое письмо по поводу его отрицательной рецензии на «Русь».

² Городецкий имеет в виду Вячеслава Иванова.

³ «Песня Судьбы», пьеса Блока.

БЛОК — ГОРОДЕЦКОЙ

31 октября 1910.

Глубокоуважаемая Анна Алексеевна!

Ваше письмо очень дорого мне¹ — самый факт его и то, что в нем сказано. [Зачеркнуто]², конечно, я, может быть, совершенно не прав в том, что [зачеркнуто]³. Знаю, однако, доподлинно одно Ваше качество: крупное самолюбие. Говорю это не к тому, что при этом условии особенно ценен для меня факт Вашего письма, ведь Вы поступаете самолюбием, верю этому, конечно, не только ради Сережи, конечно, не ради меня, а ради истины. Позвольте высказать Вам мою глубокую благодарность и мое глубокое уважение.

Не примите моего письма за официальный ответ. Если я сейчас буду говорить только о факте «ссоры», а не о том многом, что читаю в Вашем письме, то только потому: 1) что письмо растянулось бы до нелепости и о том, что Вы пишете, можно, в сущности, только говорить; 2) что сейчас очень занят и важным и неважным⁴.

Так мне хотелось только сказать Вам: я был зол на Вас за то, что Вы заподозрили меня в нечестности и низких намерениях. И только за это — это была очень большая неправда. Правда в том письме была тоже — живая (вне литературы, ее «холода»). Теперь же хочу сказать Вам и то, что моя неправда тогда заключалась в том, что я написал то, что написал, в 1) газетной 2) рецензии (хотя и после долгого взвешивания).

Больше ничего не прибавлю сейчас. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за письмо и почтительно поцеловать протянутую Вами руку.

С. Шахматово Моск. губ.

¹ Ответ на письмо А. А. Городецкой, в котором она предлагает Блоку помириться после ссоры, вызванной рецензией Блока на сборник Городецкого «Русь». Блок получил его в Шахматове и 31 октября сообщил матери: «Письмо хорошее от А. Городецкой — она мирится со мной».

² Вычеркнуто адресатом.

³ Вычеркнуто адресатом.

⁴ Осенью 1910 года Блок занимался хозяйственными делами в Шахматове, составлял сборник «Ночные часы», вел активную переписку.

Анна Алексеевна.

Сереже я посылаю послание Николая Клюева¹, прошу Вас, возьмите его у него и прочтите и радуйтесь, милая, Христос с Вами и Христос среди нас. У меня болит сейчас о Вас сердце. Целую Вас в уста, как сестру. Сделайте так, чтобы мне можно было иногда прийти к Вам обним, посидеть тихо — и легко и свободно говорить о внутреннем и болтать о внешнем. Вы сильная и прекрасная, верю Вам и простите меня.

А Вы можете так сделать.

А. Б.

Если Вам неприятно, что я так неумело пишу, или Вы совсем о другом думаете сейчас, прошу Вас, подумайте об этом только минуту, потому что я пишу Вам не за себя и не за Вас, а во имя нашего общего, чтобы всем нам стало легче.

¹ Письмо Клюева, полученное Блоком 5 декабря 1911 года, произвело на него сильное впечатление. 6 декабря он записывает в дневнике: «Я над клюевским письмом. Знаю все, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу». Через три дня (9 декабря): «Послание Клюева все эти дни — поет в душе». Блестяще написанное письмо Клюева, метафоричное, наполненное фольклорной образностью, замысловатое, резко обличало Блока, призывало его отдать все, идти в народ. В заключении письма Клюев писал: «Если найдете удобным, то покажите это С. М. Городецкому...» Блок незамедлительно выполнил просьбу Клюева.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Изд. 2-е. 726 стр. Цена 2 р. 60 к.

Б. Соловьев. Поэт и его подвиг. Творческий путь Александра Блока. Изд. 4-е. 784 стр. Цена 3 р. 80 к

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2-х тт. Т. 1. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарий В. Орлова. 552 стр. Цена 2 р 10 к.

А. Блок. Собрание сочинений в 6-ти тт Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1398—1906 гг. 511 стр. Цена 2 р. 10 к.

«НАУКА»

Образное слово А. Блока. Сборник. Ответственный редактор А. Н. Кожин. 216 стр. Цена 75 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Блок. Избранное. Стихотворения и поэмы. Пермь Книжное издательство. 540 стр. Цена 1 р 50 к.

А. Блок. Избранные произведения Стихотворения, поэмы и статьи. Лениздат. 640 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. Блок. Стихотворения и поэмы Минск. «Народная асвета». 191 стр. Цена 75 к

А. Блок. Стихотворения и поэмы. Мурманск Книжное издательство 406 стр. Цена 1 р. 50 к

Н. Кузьякина. Леся Украинка и Александр Блок Литературно-критический очерк. Киев. «Радянський письменник». 167 стр. Цена 70 к.

С. Лесневский. Путь, открытый взорам. Московская земля в жизни Александра Блока. Биографическая хроника. «Московский рабочий». 303 стр. Цена 1 р. 60 к.

П. Сербин. Изучение творчества Александра Блока. Киев, «Радянська школа». 112 стр. Цена 15 к.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6, Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 27/VIII 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 10/X 1980 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,0 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (24,2 усл.-печ. л.)
А 03506 Тираж 320.000 экз. Зак 2862.

Набрано и сматрицировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР» Москва, Пушкинская пл. 5
Опечатано в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Украина»,
Киев 47 Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04984.

Цена 70 коп.

70636